



А.Н.ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ

ДВОРЕЦ
И
МОНАСТЫРЬ



А. К. Шеллер-Михайлов Дворец и монастырь //Советский писатель, Олимп,
Москва, 1991
ISBN: 5-265-02655-X
FB2: "rvvg", 01.08.2012, version 1.1
UUID: FBD-247C2D-68B1-2E42-5388-82F0-261B-F9A8D5
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Константинович Шеллер- Михайлов

Дворец и монастырь



А. К. Шеллер-Михайлов (1838–1900) — один из популярнейших русских беллетристов последней трети XIX века. Значительное место в его творчестве занимает историческая тема.

Роман «Дворец и монастырь» рассказывает о событиях бурного и жестокого, во многом переломного для истории России XVI века. В центре повествования — фигу-

ры царя Ивана Грозного и митрополита Филиппа в их трагическом противостоянии, закончившемся физической гибелью, но нравственной победой духовного пастыря Руси.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0006
ГЛАВА I	0006
ГЛАВА II	0035
ГЛАВА III	0064
ГЛАВА IV	0093
ГЛАВА V	0119
ГЛАВА VI	0141
ГЛАВА VII	0171
ГЛАВА VIII	0198
ГЛАВА IX	0224
ГЛАВА X	0242
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0280
ГЛАВА I	0280
ГЛАВА II	0307
ГЛАВА III	0326
ГЛАВА IV	0361
ГЛАВА V	0390
ГЛАВА VI	0422
ГЛАВА VII	0443
ГЛАВА VIII	0465
ГЛАВА IX	0487
ГЛАВА X	0514

А. К. Шеллер-Михайлов

Дворец и монастырь

Исторический роман-хроника

времен Великого князя

Василия Ивановича и царя

Иоанна Грозного

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

На дворе была уже поздняя осень 1525 года, но дни в Москве стояли сухие и теплые. В один из таких дней великий князь Василий Иванович собрался поохотиться на зайцев. Это было одно из любимых его развлечений, да и вся тогдашняя знать любила эту потеху. Каждый боярин имел свои псарни, обучал соколов, кречетов и ястребов для охоты и отводил особые места для зверинцев, где содержались медведи, волки или зайцы, предназначавшиеся для травли. Иногда зверей не только травили здесь псами, но и устраивали борьбу зверей с людьми. Такие зверинцы были и у великого князя. Под самой Москвой находилась слегка огороженная со всех сторон местность, поросшая густым и крупным кустарником, где разводилось множество зайцев, предназначавшихся собственно для великокняжеской охоты. Под страхом наказания здесь никто не смел истреблять кустар-

ника и ловить косоглазых. Несмотря на то, что их было тут и без того очень много, ко дню великокняжеской охоты их еще свозили сюда из разных мест, держа наготове в мешках. Чем больше набивали этого зверя, тем веселее считалась охота.

Великий князь выехал на охоту по обыкновению с большой свитой в несколько сот человек, точно отправляясь в поход: боярские дети, князья, княжата, охотники, челядинцы составляли целое полчище, поражая посторонних зрителей пестротой и разнообразием одежд и вооружения. Великий князь ехал впереди. Он был особенно нарядно одет: на голове у него была круглая шапка с небольшими козырьками с двух сторон, над ними поднимались, как перья, золотые покачивавшиеся при малейшем движении пластинки; его шелковый терлик [1] был роскошно вышит золотом; на ногах были цветные сапоги, не достигавшие колен, тоже вышитые серебром, золотом и жемчугом, с серебряными гвоздями на подошве; на его богатом поясе висели два продолговатые ножа и кинжал в дорогой оправе; сзади, под поясом, болталась

коротенькая палка с куском кожи, на конце которой прикреплялась железная булавка с золотыми узорами. Наряден был и великокняжеский конь: обитое бархатом, отороченное золотыми узорами седло, серебряные и золоченые цепочки и уздечки, дорогое ожерелье, болтавшееся на груди, — все блестело и позванивало при малейшем движении грациозного животного. Особенно поражало глаз в физиономии великого князя то, что у него была сбрита борода, тогда как почти у всех окружающих его немолодых бояр бритва никогда не касалась бород, и все они, не в меру дородные, казалось, гордились именно этими расчесанными окладистыми бородами. Вследствие этого он, не отличавшийся притом и дородством, казался моложе своих лет и, видимо, старался смотреть молодцом, составляя резкую противоположность с окружающими его бородатыми людьми. Никто, смотря на него, не сказал бы теперь, что этот человек, женившийся далеко не в первой молодости, состоял уже около двадцати лет в супружестве и перенес немало забот, тревог и опал, сначала добиваясь всеми средствами

престола, а потом стараясь самодержавно управлять государством и сурово обуздывая всех и каждого, кто осмеливался перечить ему, не терпевшему советников и делавшему все по своему произволу, опираясь уже не столько на родовитых бояр, сколько на выдвинутых им из ничтожества дьяков. С правого бока великого князя ехал изгнанный казанский царь Шиг-Алей, которого так сильно хотелось великому князю видеть на казанском престоле; с левой стороны великого князя находились два его младшие брата, князья Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий. Один из князей держал секиру из слоновой кости, а другой шестопер. У Шиг-Алея были привязаны два колчана; в одном были стрелы, в другом лук. Великий князь и вся его свита, натянув на руки перчатые рукавицы [2], держали прекрасно выдрессированных больших меделянских и других породистых охотничьих собак, весело и громко лаявших и повизгивавших от нетерпения в ожидании травли. Все охотники из приближенных великого князя и его младших братьев сидели на красивых дорогих аргамаках. Конюшни то-

гдашних бояр всегда были полны конями, делившимися на верховых, санников, колымажных и страдных лошадей. Несмотря на то, что охотиться предполагалось, главным образом, на зайцев, а не на птицу, про всякий случай в свите великого князя находились и сокольники со множеством ястребов и кречетов белого и ярко-красного цветов. Умные птицы, как изваяния, неподвижно сидели на руках охотников, как на насестах. Вся эта пестрая и живописная толпа медленно двигалась по широкой, мягкой дороге, позванивая лошадиного сбруею и поднимая столбы пыли.

Не доезжая немного до места охоты, великий князь и его свита были встречены значительным отрядом вооруженных людей, из которых одни были в черной, другие в желтой одежде. Тут же виднелись всадники, наблюдавшие за тем, чтобы не разбежались зайцы. Между густо разросшимися кустарниками, еще сохранившими почти вполне свою зелень, тогда как старые деревья давно уже покраснели, пожелтели или даже сбросили все свой летний убор, прятались люди, державшие запасных зайцев в мешках и готовые

по первому знаку выпустить косоглазых в случае надобности.

Охота началась тотчас же по прибытии охотников на место травли. Все они рассыпались по полю, спуская своих собак, которые, точно вихрь, носились за метавшимися среди кустов перепуганными зайцами. Собаки лаяли, кони ржали, везде позванивали лошадиная сбруя и охотничье оружие, охотники одушевлялись, и то и дело раздавались их возгласы одобрения, хлопанье в ладоши и громкий крик великого князя:

— Гей! Гей!

Ответом на этот крик служило то, что из кустов выпрыгивали выпущенные из мешков и будто ошалевшие зверьки, делавшиеся тотчас же жертвой псов. Затравленных и убитых зайцев сваливали шнырявшие тут же челядинцы в огромные кучи, и каждый охотник хвастал своими трофеями.

Наконец, великий князь захлопал в ладоши и крикнул:

— Довольно. Славно натешились!

Приказ, передаваемый из уст в уста, пронесся по всему полю, и охотники стали соби-

раться со всех сторон к великому князю, довольные охотой и еще более радовавшиеся предстоящему пиру.

Раздались отдельные замечания:

— Я ныне, поди, чуть не сотню косоглазых затравил!

— Нет, а мне незадача!

Великий князь, раскрасневшийся и оттирающий с лица пот, хвалил охоту:

— Хороший денек выдался, вволю поохотились. Теперь бы в Колп либо в Волок Ламский махнуть. Там вот так охота.

Через несколько минут вся ватага свернула на мягкую дорогу, поднимая столбы пыли и направляясь к раскинутым недалеко от места охоты роскошным шатрам.

Главный великокняжеский шатер был очень велик и просторен, как помещительный дом, другой шатер, поменьше, был предназначен для Шиг-Алея, далее стояли шатры для бояр, для боярских детей, для вещей и челяди. В великокняжеском шатре было седалище из слоновой кости; здесь поместился великий князь; Шиг-Алей сидел справа после него; младшие князья уселись слева; ниже велико-

го князя заняли места на лавках бояре и советники великого князя, приглашенные на пир. Прежде всего начали подавать сласти, варенья из кишнеца [3], аниса и миндаля, потом орехи, миндаль и целую пирамиду из сахара. Слуги, поднося эти сласти, склоняли колена перед великим князем, Шиг-Алеем и князьями. Затем стали разносить напитки, малвазию, греческое вино, мед. Серебряные и золотые кубки и чаши затейливых форм и узоров, с выпуклыми пупышами [4] и углубленными ложками, с узорчатыми венцами и изображениями цветов, плодов, листьев, зверей, то и дело разносились гостям, которых жаловал великий князь. Кому он оказывал свою милость, тот вставал, кланялся и осушал государеву чашу, то есть пил за здоровье государя. Чаши и кубки были велики, разносились поминутно присутствующим и хмель начинал быстро разбирать их. Веселый пир, по тогдашним понятиям, означал пьяный пир. Тучные и грузные бояре начинали ослаблять потихоньку кушаки и растеривать пуговицы терликов и кафтанов, отирая с лица катившийся из-под шапок и колпаков крупны-

ми каплями пот. В шатре становилось душно...

Пировали и в других шатрах, и особенно весело было! в том из них, где собралась молодежь, более или менее близкие ко двору великого князя и младших князей боярские дети и княжата. Все они были одеты пестро, в кафтаны ярких цветов, сшитые из дорогих материй; кафтаны были подпоясаны шелковыми кушаками, украшенными разными золотыми и серебряными бляхами, с жемчугом и драгоценными камнями; не менее драгоценны были пуговицы на кафтанах. Выпущенные из-под кафтанов пальца на два воротники шелковых рубах, так называемые ожерелья, были вышиты золотом, жемчугом, камнями и застегивались дорогими пуговицами. Такие же пуговицы виднелись и на дорогих откидных воротниках, красовавшихся на некоторых кафтанах. Эти дорогие пуговицы виднелись на множестве разрезов платья, были даже на шапках. У некоторых щеголей по величине они равнялись яйцам. Сапоги, не доходившие до колен, были у всех цветные — красные, желтые, зеленые, голубые, лазоре-

вые. Они составляли предмет особенных забот щеголей и были расшиты золотыми и серебряными изображениями единорогов, цветов и листьев. Среди золотого и серебряного шитья виднелся жемчужный бисер. Подошвы этих сапог были подбиты серебряными гвоздями. Среди этой молодежи некоторые были плотно острижены, чуть не выбриты по-татарски и уже успели обрасти бородками и усиками. Другие, напротив того, отличались длинными волосами, сильно подвитыми в локоны, которые порой бывали и привязными, если волосы казались недостаточно густыми. Эти молодые, отъявленные щеголи того времени, вынянченные и взрослые в женских теремах, блистали женственной красотой и нежностью. Волосы над верхними губами, на щеках и подбородках были у них не сбриты, а тщательно выщипаны, чтобы кожа не грубела. Их щеки блистали искусственным румянцем, брови были искусно подчернены, манеры ленивы и жеманны. Выхоленные руки их были обременены до последней степени дорогими перстнями с большими камнями и печатями, и в каждом движении этих

рук, в особенной манере расставлять пальцы замечалось стремление к вычурности. Особенно поражала их походка: сапоги их были до боли тесны и малы, так что щеголи ходили с трудом. У многих из них, как это делалось и старыми боярами, желавшими казаться подороднее и повыше, были подложены под кафтаны особые, приспособленные к тому подушечки, делавшие формы их тела красивее и виднее, а в сапоги были вложены внутренние каблуки-утицы. Они с особенными жестами склоняли набок головы, выставляли напоказ маленькие, щегольски обутые ноги, расставляли пальцы и томно подмигивали во время разговоров глазами, полулежа около столов. Восточная лень и восточное стремление к неге сказывались здесь во всем.

По мере того как пилось вино, речи становились откровеннее, разнузданнее и двусмысленнее, некоторые из пирующих полусонно уже склоняли свои отуманенные головы на плечи своих соседей.

— А ныне охота и пир вышли на славу! — заметил кто-то, осушая чашу вина.

— Впереди не такие охоты и пиры будут, —

сказал другой из присутствующих.

Это был молодой и статный красавец-щеголь, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. В его глазах светился ум, но смотрел молодой князь как-то особенно, вызывающе и несколько нагло, задорно приподнимая свою коротко стриженную черноволосую голову. Все в нем говорило, что он не только кичится своею родовитостью, но и знает цену своей красоте. Наружность в то время ценилась одинаково мужчинами и женщинами, стариками и молодыми. Женщины стяги вали до боли волосы, чтобы быть круглоголовыми, оттягивали уши, чтобы они были продолговатыми, красили лица, брови и даже глаза; старики-бояре заботились о своем дородстве, как о главном признаке родовитости и сановитости; молодежь приносила в жертву всякие удобства, чтобы только казаться грациознее, и ради этого затягивала непомерно свои талии или терзала свои ноги узкою обувью.

— Какие пиры? — спросил лениво кто-то из полупьяной молодежи.

— Как венчаться государь будет, — отве-

тил молодой князь Овчина.

Раздался смех.

— Перелил ты, Иван, раманеи! Чай, государь-то и так женат.

Князь Иван усмехнулся.

— Нешто не слыхали, что государь с боярами о неплодии государыни с коих пор говорит? Отпустить великую княгиню Соломони-ду Юрьевну хочет.

— Не говори пустяшных речей, — заметил ему сидевший рядом с ним товарищ и опасно огляделся кругом, зная, что шпионов в Москве на каждом шагу найдешь. — До ушей государя дойдет — не похвалит. Не нашего ума это дело, про это Бог да государь ведают.

Подвыпивший князь Иван вспылil и заговорил в сильном возбуждении:

— Какие такие пустяшные речи я говорю? Говорю то, что знаю. Вся Москва об этом знает. Вчера государь сизнова с ближними боярами советовался. Отец сказывал.

Все, хотя и были хмельны, немного оживились, услышав неожиданную новость или, вернее сказать, то, что все угадывали и о чем не смели покуда говорить громко, а только

перешептывались, вздыхая и охая, как при всяком новшестве. Раздались голоса подгулявшей молодежи, кричавшей уже наперебой:

— Говори, говори, что знаешь!

— Вот-то чудеса!

— Да ты только не ври!

Князь Иван Федорович был всегда дерзок и смел, принадлежал к числу тех людей, про которых говорят, что им не сносить головы. Теперь же, сильно подвыпивший, он и подавно не остановился бы ни перед чем. Он откинулся немного назад и, кашлянув, стал смело рассказывать о том, что слышал:

— В последний объезд еще в прошлом году, сказывают, на ум это государю пришло. Ехал это он в своей позолоченной колеснице среди своих воинов, увидал птичье гнездо на дереве и прослезился. «Тяжело мне, сказывал, кому уподоблюсь я? Ни птицам небесным, потому что они плодовиты; ни зверям земным, потому что и они плодовиты; ни даже водам, потому что и они плодовиты, с волнами играют, рыбы в них плещутся. Господи, говорит, и земле я не уподоблюсь — земля принесет пло-

ды во всякое время, и благословляют они Тебя, Господи».

— Что ж, оно и правда, что от государыни великой княгини Соломонида нечего ему уж детей ждать, — вставил один из собеседников. — Двадцать годов не было, теперь и по-давно не будет...

— То-то оно и есть! — согласился князь Иван Федорович. — Потому-то князь и стал с боярами советоваться. «Кому, сказывал, царствовать после меня в Русской земле и во всех городах и пределах? Братьям ли отдам их? Но они и своих уделов не умеют устраивать!» Бояре и решили: «Неплодную смоковницу отсекают и выбрасывают из винограда».

Неожиданно раздалось довольно резкое и задорное замечание:

— Никогда ничего такого не бывало!

Все обернулись в сторону сказавшего это. Это был очень молодой человек, с несколько строптивым и суровым выражением лица. Оно было немного грубовато, покрыто сильным загаром и сразу обличало, что молодой человек не очень-то заботится о своей наружности. Он почти не принимал участия в пире,

казался здесь чужим всем и отличался от остальных боярских детей более скромною, может быть, даже неизысканною одеждою.

— Мало ли чего не бывало, а теперь будет, — свысока заметил князь Иван Федорович, искоса бросив на него презрительный взгляд. — Молод ты еще о таких делах толковать.

Но молодой человек не смолк и задорно решительным тоном сказал:

— Владыка, митрополит Даниил не позволит!

По губам князя Ивана Федоровича скользнула лукавая усмешка.

— Много ты знаешь! — коротко проговорил он.

Он с высокомерным видом отвернулся от спорящего, ничего не возражая ему более. Один из его соседей спросил его:

— Кто это?

— Колычев! — небрежно и досадливо ответил князь Иван.

— А, так вот он какой! — проговорил спрашивавший и начал с любопытством рассматривать незнакомца. — Много толкуют про

него; чуть не звезды с неба, видишь ли, хватает, а видеть его не доводилось...

— Да ты, верно, про сына Степана Ивановича Колычева говоришь, про Федора? — спросил князь Овчина,

— Ну да, а то про кого же? Его все славят да возносят, особенно старики наши. Им только и тычут в глаза нашему брату. И умен-то, и покорлив, и благочестив...

— Так это не он! — перебил князь Иван. — Это из новгородских Колычевых...

— Все они, почитай, новгородские...

— Да, новгородские, только не из Степановичей, а из Владимировичей. Гаврилой звать. С князем Андрей Ивановичем здесь на побывке...

Он усмехнулся насмешливо:

— Рубит слова, как все Колычевы, а по виду — так, здешние не такая деревенщина, как он, пообтесаннее.

И не распространяясь более о Колычеве, он продолжал делиться с приятелями новостями. Наполнив и осушив чашу вина, он заговорил теперь, однако, несколько таинственно, почти с опаской:

— Кажись, у государя и невеста намечена.

Раздались вопросы:

— Да смотрин же не было?

— Мало ли что!

— Да кто такая? Из какого рода?

Князь Иван Федорович таинственно поднял указательный палец правой руки, украшенный большим перстнем с сердоликовой печатью, и погрозил им:

— После объявится! Теперь нельзя!

Но хмель сильно разбирал его, и он, смеясь, добавил:

— Видали, бороду князь сбрил? Даром не сбрил бы. Верно, молодой боярышне безбородые лучше нравятся, чем наши бородачи.

Он подмигнул лукаво присутствующим.

— Может, где-нибудь насмотрелась либо наслушалась о том, что в чужих землях бороды бреют.

Он наклонился к ближнему своему соседу, почти ткнувшись в него отяжелевшей головой, и, не вытерпев, шепнул:

— Батюшка сказывал, Елена Глинская, дочь покойного князя Василия Львовича, приглянулась государю...

— Ну! Глинские-то изменники да перебежчики, почитай, что и не православные. Князь Михаила и посейчас в тюрьме.

— Тсс! Ты помалкивай! — остановил его князь Иван.

Помолчав немного, он снова не выдержал и разоткровенничался:

— А уж и красавица же писаная княжна Елена Васильевна! В храме Божиим я ее впервые увидел. Глаз отвести не мог. Молиться стал — иконы ровно туман застлал, а в тумане-то ее лицо носится, глазами темными на меня смотрит и ровно лукаво подсмеивается...

Приятель пошутил:

— А ты бы отбил ее у великого-то князя государя!

Князь Овчина задорно ответил:

— И отбил бы, кабы девичья воля была выбирать женихов. Ты думаешь, баярышням-то красота молодецкая не дороже венца царского со старым мужем впридачу?

И, оборвав свою речь, он задумался и хмуро проговорил:

— А то бывает и так: ничего иной не надо,

кроме почестей и богатства. Кто поймет девичью душу! Вот и княжна Елена: иной раз смотришь на нее, кажется, только любви да ласки она и просит, а то поглядишь — очи лукавством светятся, словно вышутить тебя хотят да насмеяться над тобой...

— Ты за лукавство ее и полюбил, что ли? — засмеялся товарищ князя.

Князь Овчина нахмурился.

— За все полюбил, — отрывисто ответил он и осушил одним духом чашу.

В это время перед шатром слышались какие-то нестройные звуки музыки и пения. Семидудочная свирель, трехструнные гудки, звонкие бубны, меднострунные гусли, — все это гудело, визжало, сопело. Все общество заволновалось, услышав от одного из прислужников, что перед великокняжеским шатром собрались бродячие скоморохи. Проходили они по дороге в Москву, доложили о них великому князю, и он, потехи ради, приказал их остановить. Привыкли они потешать князей и бояр, которые не раз зазывали их к себе с улицы во время пьяных пиров, устраиваемых по случаю разных семейных праздников.

Молодежь, уже распоясавшаяся, растегнувшаяся и полупьяная, стала подниматься с мест, оправляться и прихорашиваться. Некоторые лежали уже под столами, и их расталкивали приятели ногами.

— Оставь! Не трожь! Чего пристал? Ну тебя к лешему! — слышались пьяные возгласы этих заснувших гуляк.

Один из юных щеголей, совсем распоясавшийся, растегнувший даже ворот рубахи, так что виднелась его белая выхоленная грудь, спал на плече своего соседа, Улыбаясь во сне.

При начавшемся шуме он томно открыл глаза и сладко начал потягиваться. Его сосед с особенной заботливостью наклонил к нему голову и проговорил:

— Сладко выспался?

— Ах, так бы и не просыпался! Сны светлые снились! — ответил он, томно улыбаясь и не без удивления видя непонятное волнение среди пирующих. — Что они всполошились? Чего еще надо? Поля потребовал кто, что ли?

— Скоморохи пришли! — пояснил его товарищ.

— А, скоморохи! Я люблю скоморохов! На-

до идти! — проговорил он, поднимаясь и пошатываясь.

— Постой! Охватит холодом. Застегни ожерелье. Пояс повяжи. Долго ли занедужить. Экий ты!

Он стал заботливо охорашивать юношу. Запахнул его кафтан, застегнул ожерелье, подпоясал его пояс. Тот спяна сладко улыбался, точно за ним ухаживала его старая матушка в женском тереме, где он, подобно другим своим сверстникам, провел и все детство, и всю юность среди молодых и старых женщин и окончательно обабился сам.

Мало-помалу шатер опустел. Все спешили поглазеть на толпу бродячих скоморохов, которых было более полсотни.

Скоморохи были одеты в пестрые, причудливые, иногда разодранные в лохмотья наряды, с волосами из пакли и мочалы; некоторые были переряжены бабами; у других были надеты безобразные хари; третьи вырядились козами и медведями, выворотив шубы наизнанку и приделав козлиные бороды и рога. У одного из скоморохов была; прикреплена к головному убору доска с подвижными фигу-

рами, стоявшими в комических и двусмысленных положениях. Среди этой пестрой толпы виднелись дрессированные собаки и медведи, проделывавшие разные штуки. Одни из скоморохов били в бубны, домры [5], накры [6], другие играли на гудках, третьи подплясывали, четвертые пели песни или отпускали остроты. В каждом телодвижении козы, плясавшей с медведем, в каждом слове глумотворца были цинизм, сальность, грязные, намеки. Никто не стеснялся ни словами, ни телодвижениями, все сквернословили, все отдавались вполне разнузданности.

Великий князь и его свита, едва стоящие на ногах, хохотали, радуясь неожиданному развлечению, заставшему их среди однообразной гульбы, и в воздухе неслись ободрительные восклицания в форме крупной брани, имевшей характер поощрения бродягам.

— Валяй, собачий сын, вовсю! — поощрял кто-то одного из пляшущих.

— Вишь ты, подлая, как разбодалась! — отозвался другой зритель про козу, бодавшую медведя.

— А ты, черт косматый, задери ее лапами

по-своему! — поощряли третьи медведя, топтавшегося около бодливой козы.

Со скоморохов давно уже лил градом пот, но они продолжали выбиваться из сил, чтобы потешить великого князя и бояр, зная, что им выпало неожиданное счастье: шляясь по деревням и городам, собирая скудные подаяния за свои кривлянья на площадях, они случайно наткнулись теперь на таких слушателей и зрителей, которые, конечно, дадут им своими щедрыми подачками возможность пропьянствовать целую неделю либо две, не прибегая даже к ночным разбоям и грабежам, которыми они сменяли нередко с голодухи свое дневное скоморошество.

В то время как происходила эта потеха, в опустевшем шатре, где только что пировали боярские дети и княжата, остался один Гавриил Владимирович Колычев.

Он сидел у стола, охватив голову руками. Что-то вроде выражения дикой злобы отражалось на его грубоватом, но приятном молодом лице. В его голове носились мысли о том, что его окружает грязь, распутство, цинизм. Он от всей души ненавидел Москву и москви-

чей, как большинство новгородцев того времени. Но издали московские люди казались ему беспощадными губителями всякой свободы, лукавыми предателями, достойными ненависти и злобы. Теперь же, приехав впервые с князем Андреем Ивановичем Старицким на побывку в Москву и увидав придворных людей, он почувствовал к ним не ненависть, а презрение. Особенное презрение возбуждали в нем изнеженные, обабившиеся среди безделья щеголи юноши. Пьют и бражничают эти равные с ним по роду, по положению в свете люди, а кругом народ гибнет от страшных нужд и поборов. Они пьют и едят на серебре и золоте, одеваются в шелк и жемчуг, пожирают за одним столом до сорока кушаньев, а деревенский бедняк ходит наг и бос и ест хлеб из соломы или лебеды, коренья или древесную кору, идет от родной избы в лес на грабеж и разбой. Все, стоящие у власти, служилые люди кормятся на счет народа. Да хоть бы правда где была, так и той нет. Справедливо говорят, что на Москва правды нет. В суде нельзя выиграть правого дела без взяток и подарков. Все стремятся пустить по миру

ближнего, лишь бы самим жить широко, в изобилии, тратясь на наряды, на игру в шахматы, в зерн [7], в тавлеи [8], на содержание псовых охот, соколов и кречетов, на попойки и возлюбленных. Ничему в Москве не верят: ни дружбе! ни слезам, а верят только в то, что тот и счастлив, кто побольше нагребил. Попал он случайно на эту великокняжескую охоту сегодня, и тошно ему среди этих нарумяненных лежебок, а что бы было с ним, если бы ему пришлось занять определенное место при дворе великого князя, если бы пришлось не раз в году бражничать с этими людьми, а каждодневно делать то, что они делают. Да, прав Федор Колычев, что от великокняжеского двора как от огня бежит. Зараза это! Уйти от нее надо, пока не задохся. При этой мысли он поднялся с места, огляделся кругом, точно в полусне. За шатром продолжался хаос звуков, музыки, пения, свиста, криков пьяной толпы, ругательств и сквернословия. Скомоорохи, опьяненные и разнуздавшиеся до последней степени, уже не только пели и плясали, но ругались и дрались между собою, потешая и этим зрителей, как потешали их пени-

ем и пляской. Их подзадоривали и хохотали, видя окровавленные лица дерущихся.

Колычев почти выбежал из шатра и прошел к коновязям. Прислуги здесь почти не было, так как и она побежала глазеть на скоморехов, и Колычев скоро отыскал своего конюха, сурового на вид, сильно загорелого, сухого как жердь старика. Старик, пригорюнясь, сидел на каком-то пеньке и клевал носом, с трудом одолевая охватывавший его сон.

— Что, дремлешь? — спросил его Колычев и, не дожидаясь ответа, наскоро приказал подвести себе лошадь.

Старый конюх, почесывая в затылке, поднялся с пенька и любовно и заботливо заметил своему господину:

— Как бы не заприметили, что ты уехал с пира! Государь великий князь, да и наш князь могут разгневаться.

Молодой человек ответил:

— Не по себе мне, Ермолай, голову разломило. Старик покачал седою головою.

— Разломит тут голову, как все нечистые, тьфу ты, Господи, во все голоса воют...

Он с лаской посмотрел на молодого человека и с опаской повторил:

— Только бы вот не заприметили...

— Ну, кто заприметит! Никто и себя, чай, теперь не помнит тут. А заприметят — подумают, что без задних ног лежу где-нибудь.

— Оно, пожалуй, что и так, — согласился старик, взясь около коня. — Иные уж давно под лавками лежат, ровно черту, тьфу ты, Господи, душу отдали...

Он вздохнул.

— Видно, не ко двору мы тутотка, ты по молодости, я по старости лет. В деревне-то мы с тобой теперь седьмой сон, поди, видели бы...

— Ну, сон не сон, а все же не эту мерзость видели бы, — ответил Колычев.

— Уж истинно мерзость, тьфу ты, Господи. Боярыне бы нашей, матушке твоей, порассказать — ни в жисть не поверила бы... «Ты, — наказывала, — Ермолай, береги его». Обережешь тут... И как это только Федор Степанович приладится тут, когда время придет — ума не приложу. Уж и теперь-то он, ровно свеча воска чистого, перед Господом горит, а в лета войдет — еще степеннее станет, еще тя-

желее будет ему в омуте-то этом...

Молодой Колычев уже ловко вскочил на своего коня, старик не без труда, согнувшись и карабкаясь, влез на своего, и оба, незаметно, свернули в сторону от шатров, походивших теперь на пьяный цыганский табор, точно беглецы, спасающиеся из вражеского стана. Старик, не умолкая, ругал Москву и москвичей, сожалел о покинутой Деревне, радовался, что они снова скоро уедут из Москвы в новгородские земли и с сокрушением соболезновал о молодом Федоре Степановиче Колычеве, троюродном брате Гавриила Владимировича. Федору Степановичу, как он ни вертись, придется жить при великокняжеском Дворе, а он человек — такой человек, что другого такого старик и не видывал. И приветливостью, и умом, и красотой, всем Господь его наделил. Старик, казалось, мог бы до белого утра, не уставая, выхвалять любившегося ему юношу...

Уже начинало смеркаться, и они скоро скрылись в сероватой тяжелой мгле осеннего вечера, сквозь которую; на краю неба, как красный налитый кровью шар, едва видне-

лось заходящее солнце...

ГЛАВА II

Гавриил Владимирович Колычев и его старый слуга направились по дороге к Москве, чтобы там пробраться к палатам боярина Степана Ивановича Колычева, у которого на время остановился Гавриил Владимирович в качестве дальнего родственника.

— А и много же храмов понастроил в Москве государь великий князь, — заметил молодой Колычев, всматриваясь вдаль на мерцавшие в вечерней мгле своею позолотою купола Благовещенского собора. — Любит строиться, нечего сказать, и изукрасил Москву.

— Храмов много, да благочестия мало, — ответил ворчливо старый Ермолай, за все и про все придиравшийся к Москве. — Молиться лень, а бесов, тьфу ты, Господи, каждый рад тешить.

— А где благочестия-то ныне много, старик? — проговорил молодой Колычев. — На счет этого и у нас в Новгороде не лучше. В церковь, как на базар, ходят, чтобы свои дела

обделать, дешево купить, дорого продать, и стоят-то иные с покрытыми головами, на посохи опираясь да одеждой своей бахвалясь.

Он махнул рукой.

— Нет, благочестия везде мало! Не одна Москва в этом грешна.

Они замолчали, взглядываясь в окружающую их местность и стараясь не сбиться с пути. Для них все было ново на дороге к мало-знакомой им Москве.

Въезжая в нее, можно было подумать, что въезжаешь в большую деревню. Это впечатление больших деревень производили тогда все русские города. Сначала тянулись под Москвой длинными рядами избы кузнецов и железников, между этими избами, отстоявшими далеко друг от друга на случай огня, лежали луга и поля. Сами избы с волоковыми окнами, служившими скорее для отвода дыма из изб, чем для пропуска в них света, были закопчены, точно после пожара. Далее шли заречные слободки тоже с курными избами. Кое-где мелькали тут купола монастырских церквей, находившихся вне города. Затем начались обывательские дома, окруженные ого-

родами и садами, где теперь уже почти не было зелени и стояли только полуголые деревья да чернели взрытые и уже пустые гряды с следами капустных кочерыг. Все эти дома подходили один на другой. В большинстве случаев основой дома служил трехконный сруб, к которому потом делались пристройки с боков и сверху, иногда соединявшиеся с главным срубом массой переходов, сеней и крылец. Неправильно расположенные улицы Москвы тонули либо в пыли, либо в грязи, от которой спасали только деревянные мостки, и то в одних лучших частях города. При въезде в улицы виднелись бревна, которыми к ночи загромождали улицы, оберегаемые по ночам сторожами. По берегам Яузы возвышались мельницы. Такие же мельницы виднелись и над рвами крепости, наполнявшимися водой из Неглинной. Эта река, бравшая начало из болот, была так запружена около верхней части крепости, что образовала озеро. Наконец, открывался и Кремль, раскинутый на высоком холме.

Подъехав к нему, человек уже чувствовал, что он находится в городе. Кремлевские сте-

ны были уже выложены из кирпича. За этими стенами находились, кроме обширных построенных итальянским зодчим каменных палат государя, палаты митрополита Даниила, дома князей и вельмож, хотя и деревянные по большей части, но просторные и затейливые, с резными украшениями и пестрой раскраской. Церквей в Кремле было много, но из больших каменных выделились особенно две — расписанный внутри чудной живописью Успенский собор и церковь Архангела Михаила. В первом были погребены митрополиты Петр, Иона, Фотий, Киприан, во второй покоились уже перенесенные сюда кости умерших князей московских. Другие каменные церкви, как Спас-на-Бору и Церковь Чудова монастыря, были не велики. Монастырей в Кремле было два — мужской Чудов и женский Вознесенский. Только эта часть города и была похожа на город, поражая даже великолепием и красотой некоторых построек, созданных почти исключительно итальянскими зодчими.

Когда наши путники добрались до дома боярина Степана Ивановича Колычева, в возду-

хе уже окончательно стемнело и в колычевских палатах царствовала полнейшая тишина, говорившая, что обитатели этого жилища уже покоились сладким сном. В комнатах было совсем темно, и только кое-где мерцали неугасимые лампы перед иконами. Не спал только сторож, сидевший у массивных ворот, закутавшись в темную овчинную шубу и казавшийся в полумраке какой-то громадной черной каменной глыбой.

— Ишь, добрые люди спать полегли, Богу помолясь, — проворчал старик Ермолай, кряхтя и слезая с лошади, — а там, поди, тьфу ты, Господи, еще бесов тешай пир во полупире, а бражники вполсыта наелись, в поя пьяна напились...

Он стал расталкивать задремавшего сторожа, полушутя, полусердито ворча:

— Смотри, с шубой украдут!

Сторож вскочил, не поняв сразу, кто его будит, и бормоча в испуге:

— С нами крестная сила!

— Ишь, заспался, своих не признал! — проворчал Ермолай. — Ну, ну, отворяй ворота, не разбойники напали, а свои едут.

Сторож совсем уже очнулся и заторопился, вынимав засовы и гремя замком. Тяжелые ворота заскрипели и распахнулись.

Колычев, ничего не говоря, проворно соскочил с коня, прошел по темным путанным и сложным переходам и сеням дома и поднялся по лестнице в отведенный ему покой наверху, в повалуше. Он быстро разделся, помолился перед иконами, широко крестясь, и, отбив несколько земных поклонов, выпил большую закрытую крышкой кружку холодного квасу. Потом он улегся на застланную ему на ночь широкую лавку у стены, сладко зевая и вытягиваясь во весь свой богатырский рост.

Слышанные им сегодня вести не давали ему, однако покоя.

Великий князь хочет развестись, чтобы жениться на другой. Детей, наследников хочет иметь, а между тем среди новгородцев многие надеялись именно на то, что я великого князя не будет прямых наследников и что железная воля московских великих князей, только что собравших в одно целое все государство, ослабевает. Братья Василия и со свои-

ми уделами плохо справляются, и кто бы из них ни сел на московский престол, власть великокняжеская непременно ослабеет. Тогда новгородцы и псковичи, сильно подавленные и предвидевшие окончательную гибель всех своих старых порядков, вздохнут снова свободнее. Эту надежду тайно лелеяли тогда многие лучшие люди в новгородских областях, не любя и боясь великого князя Василия Ивановича. Эту же надежду питали и в старобоярской партии в Москве, где какие-нибудь надменные и кичливые князья Шуйские все еще не могли примириться с самодержавием Москвы, помня свое происхождение от независимых удельных князей. Новые слухи о разводе великого князя разбивали эти надежды и обещали, что престолонаследие перейдет по прямой линии. Но молодой Колычев, раздумывая об этих слухах, успокаивал себя тем, что духовенство не позволит великому князю попирать православные законы. Полновластный и неограниченный он самодержавец во всем, но не в том, что касается церкви. До сих пор еще никто из московских правителей не рисковал нарушать ее постанов-

ления. Она со своими законами и уставами стояла покуда выше власти московских великих князей. Так было всегда, так будет и теперь.

Эти мысли немного успокоили его, и он, утомленный, усталый, скоро заснул молодецким сном.

В палатах Колычевых поднимались утром с петухами, по обычаю того времени. Уж с самого раннего утра должна была начинаться обычная работа многочисленной дворовой челяди, и во всех пристройках, окружавших барские палаты, народ обыкновенно спозаранку сновал, подобно муравьям. В конюшнях, в коровьих и свиных хлевах, в птичниках, в кладовых и амбарах, на псарне и на кухне, везде было не мало дела для всех, начиная с ключника и дворецкого и кончая простыми птичницами и скотниками.

Еще все спали, когда в одних из сеней с двух сторон появились две женские фигуры — одна женщина была еще не стара и, судя по одежде, была госпожою, другая была уже старою, и одежда ее была очень проста.

— Это ты, матушка? — спросила женщина

помоложе.

Я, я, матушка боярыня! — ответила, немного шамкая, старуха и низко поклонилась боярыне. — Иду в крестовую палату, лампы да свечи затеплить. Чай, вставать пора.

— И то, пора; девушек побудить иду, — сказала госпожа. — Пока свечи да лампы затеплишь, и Степан Иванович встанет.

— То-то, то-то, родная, — заторопилась старуха. — Холопы-то наши уж поднялись... Сейчас и на молитву, придут...

Они разошлись. Боярыня Варвара Колычева и эта старуха, вынянчившая саму боярыню Колычеву и детей Колычевых, вставали прежде всех в доме. Они будили всех домашних, так как в те времена хорошие боярыни-хозяйки считали стыдом вставать позже слуг. Мало-помалу весь дом уже на ногах, и все стали собираться в крестовой комнате, наподобие часовни, сплошь уставленной образами, перед которыми уже отдернулись занавеси, затеплились лампы и свечи. Все, начиная с сыновей боярина Колычева и кончая последним его холопом, были уже в сборе, когда сюда вошел хозяин дома Степан

Иванович Колычев. Поклонившись степенно на все стороны, он встал впереди всех и начал вслух читать молитву. Здесь, так как у Колычевых не было домашней церкви, он, окруженный всей семьей, обыкновенно каждый день читал вслух утренние молитвы, и в это время курили ладаном. В праздничные дни здесь читались заутрени и часы, причем присутствовавшие пели хором, но в будни довольствовались одними утренними молитвами. На работу шли после этих молитв, и всеми хозяйственными работами заведовала жена Степана Ивановича; Колычева, боярыня Варвара. И на этот раз, по обыкновению, она после молитвы, поцеловав своих ненаглядных сыновей, удалилась вместе с мужем в свои покои, чтобы переговорить с ним, как и что нужно сделать в этот день по хозяйству в доме. Прислуга тоже разбрелась по дому, чтобы приняться за обычную работу. В крестовой палате осталась только старуха-мамка, Она загасила свечи и лампы и стала задерживать застенки, бормоча:

— Господи, помилуй нас, грешных!

У некоторых икон были отдельные занаве-

си, все же вместе закрывались одним общим застенком. Окончи свое дело, мамушка, крестясь, вышла из комнаты, бережно затворив ее двери, и прошла в девичью, где десяти девушек уже сидели за пядьцами. Боярыня Варвара Колычева уже просматривала их работы и наскоро задавала им уроки. Увидав старуху-мамку, она обернулась к ней.

— Мамушка, приготовь кошели да что есть из съестного, чай, на дворе собрались уж за подаванием...

— Все, все, родная, приготовила, тебя только жду, — ответила старуха.

— Ну, пойдём!

Они пошли оделять нищих. Будничный день вступил для всех в свои права...

Степан Иванович был одним из близких лиц при великом князе Василии Ивановиче, как его отец был близким лицом при Иване III. Он был искренним, глубоко убежденным и бескорыстным приверженцем московского самодержавия, действовал решительно и смело, стропотные стези до конца стирая, и был исполнен ратного духа, деятельно служа самодержавной власти московских великих

князей. Но всюду сияя высотой сановною, в частной жизни он мог служить примером простоты и скромности для каждого: он был прост, обходителен, нетребователен, вел трезвую жизнь, отличался строгими правилами, любил и знал священное писание. Жена его, боярыня Варвара, хотя и вела обычную теремную жизнь и проводила большую часть за вышиванием церковных воздушов и пелен среди многочисленных девушек-прислужниц, проявляла свои душевные качества в заботах о дворовой челяди, в широкой благотворительной деятельности. Уже с самого раннего утра двор колычевских палат наполнялся просителями и просительницами: разные горемыки получали здесь подаяния, бесприютные находили кров, брошенные дети призревались в доме, для больных были готовы ложе и уход, и вся эта широкая благотворительная деятельность совершалась под непосредственным наблюдением хозяйки дома. В то же время дворовая челядь была одета и обута, сыта и здорова, тогда как у других, даже очень набожных по виду бояр, челядинцы походили на нищих и часто попадались в гра-

бежах и убийствах.

В то время как боярин Степан Иванович с утра отправился во дворец великого князя, а боярыня Варвара хлопотала по хозяйству, в одной из комнат с завешанными коврами стенами, с узкими цветными окнами, с Узорчатый дубовым потолком, с разноцветною изразцового печкой, со множеством икон в богатых ризах, полузадернутых завесою, опустился на лавку, покрытую пестрым полавочником, молодой человек лет девятнадцати и углубился в чтение рукописной книги. Подобными книгами были загромождены вся резная тяжеловесная полка у стены и весь огромный дубовый стол, у которого сидел юноша, опустив на него локти и поддерживая; голову обеими руками. Тут были, кроме священного писания, творения Иоанна Лествичника, Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, Симеона Нового, Григория Великого, Августина, жития святых, история Александра Великого и царей, почти вся тогдашняя библиотека русского человека. При одном взгляде на эти фолианты в темных кожаных переплетах, с серебряными и медными застежками, с заклад-

ками из широких лент и полос тафты, можно было легко догадаться, что эти фолианты читались часто и много. Нижние углы некоторых из этих книг потемнели и обтрепались, а сами книги точно распухли от частого перелистывания их страниц. Действительно, эти книги, переходившие, как самая великая драгоценность, из рук в руки, иногда из рода в род, в последнее время читались и перечитывались десятки раз в этой скромной комнате, занимаемой молодым Федором Степановичем Колычевым, старшим сыном боярина Степана Ивановича.

Этот стройный, статный, цветущий здоровьем, скромно одетый в светлый растегнутый кафтан юноша, с правильными и тонкими чертами лица, с красиво очерченными темными бровями, с вдумчивым и серьезным взглядом проникающих в душу глаз, предназначался к высокому положению при дворе. Его отец горячо желала именно этого и соответственно с этим желанием воспитал сына. Он получил высшее по тому времени образование в монастырском училище и, кроме книжного обучения, по желанию отца, занимался под

руководством приставленных к нему отроков и дядек военным делом, то есть упражнялся в верховой езде на избранных и урядных конях, учился бегать, стрелять в цель из пищалей и лука, владеть копьем и саблей. Без этого не мог обойтись дворянин того времени. Из него же готовили блестящего придворного и воина, достойного преемника деда и отца. Но его тянуло, главным образом, к книжному учению, за которым он и проводил целые часы, иногда целые дни, сторонясь своих сверстников, блестящей, но разнуздайной придворной молодежи. Он мог довольно близко познакомиться с нею и во время сбора войск под Коломною в 1522 году, и на празднествах у знакомых и родственников. Это знакомство заставило его бежать от этой молодежи, от ее пиров и разгула в тот тихий уголок, где можно было отдаться чтению книг и думать о прочитанном, о жизни, о таинственных и неисповедимых путях Господних. Когда другие знали только лицевую сторону жизни — богатство, веселье и гульбу, он присмотрелся к изнанке этой жизни, сопутствуя своей матери в посещении бедняков и вникая

при исполнении отцовских поручений в быт черного народа в новгородских деревнях, где не было часто не только правды, но и насущного хлеба.

— О чем призадумался? — неожиданно раздался над его ухом вопрос.

Он поднял голову и увидел своего троюродного брата, Гавриила Владимировича Колычева.

— Читал поучения нашего владыки, митрополита Даниила. На этих днях раздобыл, — ответил Федор Колычев, вторично приветливо здороваясь и целуясь с братом, которого он уже видел на молитве. — Вот где правда. Ты послушай.

Он оживился, его бледноватые щеки вспыхнули ярким румянцем, серьезные глаза засветились огнем. Он торопливо стал передавать смысл поучений проповедника.

— Да, прав он, владыка наш, — горячо закончил юноша, выяснив своему родственнику главные мысли поучений митрополита. — Все так живут, сам я все это своими глазами видел. А так жить нельзя дольше. Нужно конец этому положить...

— Легко сказать: конец нужно положить! — проговорил Гавриил Колычев, в раздумьи ходя по комнате. — А как же жить?

— Как жить? Владыко и на это указывает. Ты слушай, — опять заговорил хозяин и стал объяснять мысли митрополита Даниила.

По мере того как он в увлечении говорил о словах митрополита Даниила, перелистывая страницы рукописного сборника и вычитывая из него некоторые места, его слушатель ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за свой цветной пояс, и, казалось, давно не слушал его. Было видно по его лицу, что он погрузился в свои собственные думы и не особенно интересовался подробностями того, что передавал ему увлекающийся юноша-хозяин.

— Да! Он-то и не благословит на развод! — наконец проговорил вслух Гавриил Колычев, как бы продолжая думать вслух. — Это верно!

Федор с недоумением взглянул на него проницательным взглядом.

— О каком разводе говоришь? — спросил он, ничего не понимая.

— Про развод великого князя с государыней Соломонией.

— Шутки ты шутишь либо пригрезилось тебе, что не поймешь тебя, — сказал Федор, пожимая плечами.

— Ты, видно, тоже ничего не знаешь, как я не знал ничего до вчерашнего дня, — проговорил Гавриил Колычев и стал рассказывать, что слышал на пиру.

Федору Колычеву, как юноше, было вполне неизвестно все то, о чем уже давно шепталась вся взволнованная необычайною новостью Москва. С молодежью, бывшею при дворе, кутившею и беспутствовавшею, с этими отроками доброзрачными, он не якшался вовсе и не мог слышать от них придворных сплетен; старики же, с которыми он так любил беседовать, не считали возможным посвящать юношу в закулисные тайны двора и особенно в тайны такого щекотливого свойства, как развод великого князя с женою, в возможность которого не хотелось верить до конца самим этим старикам. В Москве все знали, что великий князь уже обращался по поводу своего развода и к восточным патриархам, и на Афон и получил в обоих случаях отрицательный ответ. Отрицанием же ответили князю

инок Вассиан Косой, бывший князь Петрикев, и известный своею ученостью монах Максим Грек. Славный покоритель Перми и Югры, князь Семен Федорович Курбский, ведший с давних пор постническую жизнь, не евший мяса и только три раза в неделю вкушавший рыбу, тоже резко высказался в этом смысле. Старобоярская партия вся примкнула к этим людям и в намерении великого князя увидала уже не простое проявление самодержавной воли, но посягательство светской власти на религию. При дворе великого князя знали обо всем этом, и великая княгиня Соломония вместе со своими родственниками проявляла сильную тревогу. Видя, что государь разлюбил ее, она прибегала ко всяким средствам, чтобы вернуть его любовь. Ее брат Иван Юрьевич Сабуров то и дело отыскивал и присылал к ней через свою жену Настасью женок и мужиков, которые могли бы ворожбою привлечь к ней снова любовь мужа. В те времена разные мужики и женки, разные потворенные бабы, под видом странников и торгующих людей, проникали в женские терема и обдeldывали самые темные делишки,

особенно по части любовных интриг. Одна старая женка Стефанида, рязанка, то есть уроженка рязанская, решила после осмотра Соломонии, что у нее детей не будет, но дала ей наговорную воду. Эту воду нужно было умываться и дотрагиваться мокрою рукою до белья великого князя, чтобы вернуть его любовь. Великая княгиня исполняла приказание ворожеи, но толку не было. Тогда какая-то безноса черница дала государыне наговоренного масла или меда, приказала натирать им и уверяла, что и великий князь полюбит государыню, и дети у нее будут. Но все было напрасно, — и противоречия защитников ненарушимости церковных правил, и хлопоты государыни о ворожбе. Митрополит Даниил, ловкий угодник великокняжеской власти, дал свое согласие великому князю, а великий князь отдал в руки митрополита ненавистных последнему Вассиана Косого и Максима Грека. Среди старобоярской партии шел ропот, и такие лица, как попавший в опалу боярин Иван Никитич Беклемищев-Берсень, говорили такие речи, каких давно не слыхивали уже в покорной воле великого князя

Москве.

— Ныне у вас цари басурманские и гонители, — говорил Берсень Максиму Греку, — и вам нынче от них пришли тяжелые времена, а как вы при них проживаете?

Максим сказал ему:

— Цари у нас злочестивые, а у патриархов и у митрополитов в их суд вступаются.

Тогда Берсень заметил:

— Хотя у вас цари злочестивые, а ходят так, потому у вас Бог еще есть.

Это был намек на то, что в Москве уже забыли Бога, хотя правят Москвою и не злочестивые цари.

Когда Максим спросил его, был ли он у митрополита, Берсень ответил:

— Я этого не ведаю, есть ли митрополит в Москве.

— Как митрополита нет? — сказал Максим. — Митрополит на Москве Даниил.

— Не ведаю, митрополит ли он или простой чернец, — ответил Берсень. — Учительного слова от него нет никакого, и не печалуется ни о ком. Прежние святители сидели на своих местах и печаловались государю о сво-

их людях.

Далее Берсень жаловался прямо на нестроение, на перемену старых обычаев, на нелюбовь князя к «встрече», то есть к противоречию, на стремление все делать без советников. Все эти толки, все эти противоречия побудили великого князя отдать врагов в руки митрополита Даниила. Обо всем этом знала вся сановитая Москва; всех родовитых людей это сильно тревожило, как начало новых отношений великого князя к церковным постановлениям, как нарушение старых преданий. Но ничего этого не знал еще Федор Колычев, увлекшийся поучениями митрополита и не воображавший, что и у этого человека слово — одно, дело — другое. Услыхав рассказ Гавриила Владимировича Колычева, он горячо вступился за проповедника:

— Никогда не допустит владыка этого беззакония! И так он сокрушается, что люди на Москве не по закону живут.

— Дай Бог, дай Бог! — сказал в раздумьи Гавриил Колычев. — У нас только и надежды на то, что после смерти великого князя у него наследников не будет.

— Не в этом дело, — горячо возразил Федор Колычев, — а в том, чтобы против законов церкви государь не шел...

Интересы Новгорода его занимали гораздо менее интересов церкви, которая должна бы быть, по его мнению, неприкосновенной. Тогда как другие Колычевы были истыми новгородцами, семья Федора была предана душою московским порядкам.

— Ну, ты этого не говори! — заметил Гавриил Владимирович. — Будут у великого князя дети — останется власть в их руках, все пойдет иначе. Перейдет власть к братьям великого князя — поводья по всем статьям ослабнут и нам вольнее вздохнется, и у нас не нынешние порядки будут.

Этот разговор сильно возбудил Федора Колычева. Ему не хотелось верить, что любимый им проповедник покривит душой, что великий князь нарушит церковный закон. Человек строгой нравственности, никогда не отделявший слова от дела, он требовал того же и от людей, особенно от тех, которые поставлены выше других.

Но обстоятельства сложились так, что

разочарование его было полным.

В двадцатых числах ноября, когда уже выпал снег, из великокняжеских палат, с половины великой княгини, выехал таинственный крытый каптан [9]. Его сопровождали придворные боярыни. Судя по каптану, по нарядной сбруе лошадей, по многочисленной свите, было не трудно угадать, что это едет поезд великой княгини. Он направился по дороге к Рождественскому девичьему монастырю. Но великая княгиня Соломония Юрьевна ехала не на богомолье. Каптан и свита возвратились во дворец, а великая княгиня осталась в монастыре. Она не осушала глаз, зная, какая участь ожидает ее, но крепилась куда и не протестовала.

Настало 25 ноября, и в Рождественский монастырь стало собираться духовенство. Великую княгиню вывели из ее кельи. Духовенство, с Никольским игуменом Давидом и с митрополитом во главе, близкий советник князя дьяк Иван Шигона Поджогин и еще несколько лиц из свиты великого князя окружили несчастную женщину. До этой минуты она все еще как будто надеялась на что-то, на

какое-то чудо и бодрилась, но, увидав этих людей, она вдруг упала духом. Она стала горько плакать и заголосила, когда начали стричь ей волосы. Наконец, когда удалось остричь ей волосы, митрополит поднес ей монашеский кукуль. В ее душе поднялась страшная буря. Горе, гнев, обида, все перемешалось вместе в эту последнюю решительную минуту. Великая княгиня не выдержала — вскочила с места, вырвала кукуль из рук Даниила, швырнула его на землю и начала неистово топтать ногами. На минуту произошло смятение. Первым очнулся Шигона Поджогин.

— Так ты еще смеешь противиться государю и не слушать его повелений! — крикнул он, бросаясь к великой княгине, и хлестнул ее плетью.

Соломония взвизгнула от боли и в исступлении начала дико кричать:

— Как ты смел руку поднять? Кто тебе дал право меня бить!

— Государь приказал! — сурово ответил Шигона Поджогин, грозя ей плетью.

Соломония, совсем обезумевшая от оскорбления, закричала:

— Перед всеми свидетельствую, что не желаю пострижения! Не желаю! Силой на меня надевают кукуль! Пусть Господь отмстит за такое оскорбление!

Она стала биться и продолжать кричать, но ее уже не слушали и, употребляя грубое насилие, обличали в монашеские одежды, торопясь окончить внешнюю часть обряда, чтобы поскорее разделаться с насильно постриженной монахиней.

Монахини в монастыре были перепуганы и в то же время как-то присмирели. Ничего подобного до этой поры им еще не приходилось видеть. Они прятались по кельям да тихо шептали в переполохе:

— Вот дела-то!

— Ах, грехи наши тяжкие!

— И за что Господь наказывает!

Однако переполох был непродолжителен: тотчас же после пострижения Соломонии, получившей имя Софьи за ней снова приехал крытый дорожный каптан и ее отправили в Покровский Суздальский монастырь.

В Москве заговорили о предстоящей свадьбе великого князя. Невестой уже громко и

смело называли княжну Елену Васильевну, дочь умершего нововыезжего князя Василия Львовича Темного-Глинского. На нее большинство бояр смотрело враждебно. Все знали, что он происходит из рода знатного, но иноземного, литовского, который, изменив литовскому королю, вскоре изменил было и Москве в лице своего главы, князя Михаила Львовича Глинского. Ее называли литвянкою, чуть на басурманкой. Все знали, что ее дядя, Михаил Глинский сидел еще в тюрьме за попытку изменнически бежать в Литву. Все рассуждали о том, что Елена привыкла к иноземным обычаям и не походит на московских женщин, держит себя свободно и независимо. Были толки и о ее горячности и вспыльчивости, хитрости и лукавства. Добра от нее не ждали.

В доме преданных великокняжескому престолу Колычевых эти новости сообщались коротко и отрывисто точно в смущении:

— Развелся государь великий князь с великою княгиней Соломонией, — мельком заметил Степан Иванович после развода государя с женою.

Боярыня Колычева только вздохнула, не поддержала разговора.

— Вчера постригли великую княгиню, — сообщил он в другой раз.

Варвара Колычева не сказала ничего и только отерла невольно выступившие на глаза слезы, отвернувшись в сторону.

— Княжну Елену Васильевну Глинскую изволил государь в невесты выбрать, — пояснил старик, когда было объявлено о свадьбе государя.

— Что ж, лишь бы Господь благословил детками, — печально сказала Колычева, и в ее голосе зазвучала какая-то безнадежность, точно она не верила, что Господь благословит такой брак.

Они понимали, что в видах великого князя было желание иметь детей, они оправдывали это желание в душе, но в то же время не могли преодолеть жалости к несчастной Соломонии, не могли примириться с тем, что совершилось богопротивное дело, и не без недоверия смотрели на невесту-иноземку, литвянку изменнического рода. Молодой Федор Степанович чутьем угадывал все это, смотря на

смущение отца и матери.

Кто когда-нибудь разочаровывался в любимых и уважаемых людях, тот знает, как тяжело отзываются эти разочарования. Но они тяжелее всего отзываются в юности и особенно на тех, кому святы излюбленные идеалы, чья душа не загрязнена житейскою грязью. Чем выше в нравственном и умственном отношении юноша, тем невыносимее для него обмануться в любимом человеке, в любимом идеале. Может быть, это первое разочарование в любимом проповеднике больше всего отозвалось и в чистой душе Федора Колычева, когда он услышал не только то, что Даниил утвердил развод великой княгини, но и то, что великому князю разрешено жениться. Где же уважение к церкви? Где стойкость за нравственность? Где правда? Если сами великие проповедники нравственности уклоняются от того, что проповедают, то что же останется делать остальным людям, слепотствующим, не просвещенным божественным светом, блуждающим ощупью во мраке невежества?

ГЛАВА III

Москва толковала о свадебном пире великого князя и принимала так или иначе участие в этом торжестве. Говорилось об этом и в доме Колычевых. Боярин Степан Иванович рассказывал жене и детям о том, как происходила свадебная церемония. Рассказывать было о чем, так как Москва уже двадцать лет не видела подобных пиров.

— Великий Князь оженился, яко лепо бе царем жениться, — говорили об этой свадьбе современники.

И, действительно, ничто не было забыто при совершении этого свадебного торжества, происходившего в великолепном каменном дворце великого князя. Дочь князя Василия Львовича Темного-Глинского жила в Москве со своею матерью, княгинею Анною, с сестрою и братьями и едва ли мечтала, что ей суждено сделаться женою великого князя. Отец ее, бывший перебежчиком, уже умер, а дядя, князь Михаил Львович Глинский, сделал попытку изменить Москве и сбежать в Литву, из которой он недавно бежал, и сидел

теперь в московской тюрьме. Трудно было родственнице таких людей думать о замужестве за великого князя. Но княжна Елена была завидной невестой. Ее дядя был воспитан в Германии, долго жил там, служа у герцога Альбрехта Саксонского и у императора Максимилиана в Италии. Как он, так и его братья, Иван и Василий, держались немецких обычаев и резко выделялись образованностью и воспитанием среди русских бояр того времени. Теми же качествами отличалась и княжна Елена, вовсе не напоминая воспитанных в затворничестве, в теремах русских боярышен. Кроме образованности, умения держать себя, развязности, кокетливого лукавства, она отличалась и красотой. Немудрено, что она победила сердце великого князя Василия Ивановича, уже чувствовавшего приближение старости. Ему было за сорок шесть лет. Устроив дело своего развода в конце ноября, он торопился свадьбою, и она совершилась о свадебницах, то есть в рождественский мясоед, 28 января 1526 года.

В день венчания особенная хлопотливость замечалась с самого раннего утра в Средней,

или Золотой царской палате во дворце. Эта палата находилась в переднем фасаде дворца, выходявшем на площадь между Благовещенским, Архангельским и Успенским соборами и церковью Иоанна Лествичника, что под колоколы. По одну сторону Средней палаты была Большая палата, по другую — Благовещенский собор. Перед Среднею палатою было Красное Крыльцо и Передние Переходы, на которые вели с площади три лестницы. Эта палата была вся расписана золотом. В ней-то и было устроено возвышенное место для жениха и невесты. Оно было обтянуто бархатом и камками. Тут были устроены широкие шитые изголовья, на которых лежало по сорока соболей. Кроме того еще сорок соболей предназначались для опахивания жениха и невесты. Перед государевым местом стоял стол, накрытый скатертью, а на нем стояли калачи, сыры и соль. У жениха и у невесты было по отдельному свадебному поезду, то есть к нему и к ней были наряжены известные чины и распорядители. При великом князе был тысяцкий, брат великого князя, князь Андрей Иванович, с боярами и дружки, князь Дмит-

рий Вельский и Михайло Юрьевич Захарьин со своими боярами; при невесте состояла жена тысяцкого или, вернее сказать, боярыня, игравшая роль жены тысяцкого, так как князь Андрей Иванович еще не был женат; кроме жены тысяцкого был дружка, князь Михайло Васильевич Горбатый с женою, свахи, княгиня Авдотья Шуйская и Варвара Малова, и другие боярыни, княгиня Анна Вельская, княгиня Мария Холмская, Варвара Захарьина. Когда невесту одели в ее покоях, она, по приказу великого князя, отправилась со своей свитой в Среднюю палату через сенные двери. Шествие было торжественное: перед ней шли бояре, за ними несли свечи жениха и невесты и каравай с серебряными монетами, золочеными на одну сторону. Княжну, окруженную женою тысяцкого, обеими свахами и боярынями, посадили на приготовленное для нее место, а на место великого князя села ее сестра Анастасия. Сидячие боярыни сели на лавки, а с левой стороны от свах встали несшие свечи и каравай. Тогда послали сказать жениху, что все готово. Вслед за тем в палату вошел князь Юрий Иванович, брат ве-

ликого князя, с князьями и княжатами, с боярами и детьми боярскими. Рассажав их по местам, он занял свое большое место и послал сказать великому князю:

— Князь великий, государь, князь Юрий Иванович велел тебе говорить, всем Бога на помочь, время тебе, государю, идти к своему делу!

Жених, уже совсем одетый, ждал в брусняной столовой избе, находившейся против алтарей церкви Спаса Преображения. Великий князь вышел в Среднюю палату с большой свитой — со всем своим поездом, с тысяцким и свадебными боярами. Прежде всего он поклонился святым, потом приподнял с места сестру невесты и сел на это место сам. Явился священник и стал читать молитвы. Принесли богоявленскую свечу и зажгли ею свечи жениха и невесты, наложили на свечи обручи и обогнули их соболями. Жена тысяцкого обязана была в это время расчесать волосы жениху и невесте, возложить на голову невесте кикю с навешенным на ней покровом, осыпать великого князя и княжну хмелем из большой золотой миски, где лежали в трех местах со-

боли и бархатные, камчатные и атласные с золотом и без золота платки числом трижды девять. Каждый платок был в четверть аршина с вершком в длину и в четверть аршина в ширину. При этом жена тысяцкого опахивала соболями и жениха, и невесту. Дружка великого князя, благословясь, занялся резаньем перепечи и сыров, которые ставил на блюдах перед женихом и невестою, перед гостями и посылал в рассылку всем присутствующим; дружка же невесты раздавал в это время ширинки.

За этою церемонией, происходившею во дворце, последовала церемония в храме.

Поднявшись с места, великий князь отправился со всеми своими боярами в Успенский собор, положив предварительно сорок соболей на то место, где сидел. За великим князем последовала и невеста со своими боярынями и свитой в богато разубранных бархатом и коврами санях, причем перед санями несли свечи и каравай. Около саней невесты шли окольник Михайло Васильевич Тучков, дьяк Елизарий Цыулев и дети боярские; за санями следовал Яков Мансуров. С княжною в

одних санях ехали жена тысяцкого и две свахи. Жениха, стоявшего в храме с правой стороны, и невесту, стоявшую на левой стороне, подвели к аналою, и сам митрополит Даниил стал совершать обряд венчания. Под ногами у жениха и невесты лежала камка и сорок соборных соболей. Когда после венчания новобрачным дали пить фряжское вино, великий князь, бросив стекляницу [10] на землю, разбил ее и растоптал ногами. Стекла подобрали и бросили в реку; как прежде велось. После этого молодые приложились в иконам и сели у столба на левой стороне, где и принимав ли поздравления от митрополита, братьев, князей, бояр, княжат и детей боярских. Певчие дьяки пели новобрачным многолетие на обоих клиросах.

Как прибыли новобрачные в церковь, так и вернулись во дворец — порознь. Великий князь со своим поездом, выйдя в сторонние двери на площадь, объезжал церкви и монастыри. Слезая с коня, он передавал его конюшему. Должность конюшего была очень важна и почетна, и ее занимал князь Федор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский. Ему было велено быть у государева коня и ездить

весь стол и всю ночь около подклепа с саблею голою или с мечом.

Объездив церкви и монастыри, великий князь вернулся во дворец и велел звать к столу, в брусяную столовую избу, великую княгиню со всем ее свадебным поездом. Столов было расставлено множество, и на них красовались дорогие золотые и серебряные сосуды и гигантские сахарные украшения. Рассаживал гостей, за главный стол и кривые столы, князь Юрий Иванович, явившийся в столовую с боярами ранее великого князя. Во время обеда были запрещены между присутствующими споры о местах и все сидели где попало. Обед, по тогдашнему обычаю, был обилен яствами и винами и продолжался очень долго. Среди обеда перед новобрачными поставили печеную курицу. Дружка взял ее, обвернул скатертью и унес в подклеть или сенник, то есть в спальню новобрачных. Это служило знаком, что великой княгине следует удалиться с поезжаными в спальню. За новобрачную последовал и великий князь, и понесли иконы.

Сенник или подклеть был уже заранее

приготовлен для приема новобрачных.

Эта комната была покрыта дорогими тканями, и по четырем ее углам были воткнуты стрелы с сорока соболями на каждой и с воткнутыми караваями наверху. Под ними, на лавках, покрытых полавочниками, был поставлен пивной мед. Над дверями и над окнами, внутри и снаружи, было прибито по кресту. Посредине у одной из стен на тридевяти снопах была изготовлена постель. Когда вносились эта постель, то перед нею несли образа Спаса и Богородицы и большой крест. На двадцать семь снопов был положен ковер, поверх него несколько перин, изголовье и две подушки в шелковых наволочках. Постель застилалась шелковою простынею и холодным одеялом. Теплое кунье одеяло и шуба лежали в ногах, накрытые простынею. Вокруг постели были тафтяные занавеси. Над постелью были образа и крест, внесенные вместе с постелью, украшенные серебром, золотом, жемчугом, яхонтами и другими камнями. Образы были задернуты застенками из бархата, вышитого разными шелками. Возле постели стояла открытая бочка с пшеницею. В эту же

бочку были поставлены свечи и караваи, унесенные сюда после венчания. Сюда же была принесена и курица, взятая со стола дружкою.

У постели жена тысяцкого встретила новобрачных и осыпала их хлебным зерном. На ней были надеты две шубы, причем верхняя была надета мехом вверх. Здесь великого князя и великую княгиню кормили печеною курицею.

Когда новобрачных раздели и оставили одних, пир продолжался своим порядком, и только князь Федор Васильевич Овчина-Телепнев-Оболенский продолжал ездить с обнаженным мечом около покоя новобрачных...

— Да, близко стал князь Овчина к государю, — говорил Степан Иванович Колычев, передавая домашним все эти подробности. — Он конюшим назначен, а молодой его сын Иван четвертым в числе боярских детей у брачной постели находился. Первым князь Борис Щепин, князь Петр Репнин да князь Осип Тростенский были, а он четвертым стоял. Ему же приказано на другой день свадьбы колпак держать у великого князя и спать у

постели, и в мыльне мыться с великим князем.

— Своими людьми у государя станут, — заметила боярыня Колычева.

— Челяднины, Елена и Аграфена, тоже к брачной постели приставлены с другими дворовыми боярынями, а Аграфена-то дочь князя Федора Овчины. Вся семья, как есть, к государю приблизилась.

— Что говорить, войдут в силу, — согласилась боярыня Колычева.

Федор Степанович Колычев, слушая все эти рассказы, мало интересовался ими и еще менее соображал о том! кто приблизился ко двору и вошел в силу. Если что и думалось ему в эти минуты, так то, что вот тут пируют люди и добиваются почетных должностей, а где-то далеко, в глухом монастыре, томится ни в чем неповинная женщина, лишенная своего звания, своего положения ради того только, что Господь не дал ей счастья быть матерью. Опять возникли в его голове тяжелые мысли в кознях и происках при дворе, где каждый завидовал ближним.

— А государь и о Федоре нашем вспомнил

ни этих днях, — сказал Степан Иванович. — Говорил, что наслышан о нем, что книжное учение ему впрок пошло и что жизнь он ведет тихую.

— Да как же до государя слухи-то дошли про Федюшу? — спросила боярыня Колычева, любовно взглянув на сына.

— Старики бояре государю сказывали, — ответил Степан Иванович и усмехнулся. — Недаром Федор с ними и беседовать любит, они вот его и похваляют.

И серьезно прибавил:

— Государь великий князь обещал милость оказать ему, коли Господь благословит его, государя, детьми. Может, возьмет ко двору своему. Как знать, что будет...

Федор смотрел невесело. Менее всего желал он этой милости. Стоять подальше от двора, от светских развлечений, исполнять в тишине то, к чему влекли его природные наклонности, читать и работать по мере сил на пользу ближних, — вот все, чего он желал. Жизнь, которую вели все равные с ним, не улыбалась ему, не манила его к себе. Он не видел в ней ни смысла, ни толка. Но он, по-

корный сын, ничего не возразил отцу, тем более, что покуда опасность попасть в милость к великому князю была еще далека.

События сложились так, что князю было, вероятно, не до Колычевых: его внимание было поглощено кознями тайных противников и заботами о том, чтобы Бог благословил его брак детьми. При дворе промчался смутный слух, что бывшая великая княгиня Соломония непраздна.

— Вот дела-то! — со вздохами рассуждала об этом вдова казначея Юрия Малова Траханиота, боярыня Варвара. — Сама она, матушка, мне про это намеки делала, да я-то, дура, тогда мимо ушей ее речи пропустила.

— А мне она так и сказала, что, мол, непраздна я и жду Божьего благословения, — подтвердила жена постельничего Якова Мансурова.

Он играл роль при дворе: при бракосочетании великого князя с княжной Еленой ему назначено было не только за санями великой княгини идти, но и ходить в хоромах у платья великой княгини.

— Что же теперь будет, и ума не прило-

жишь! — воскликнула боярыня Варвара.

— Такая каша заварилась, что и не расхлебать, — согласилась Мансурова.

Боярыни, похваляясь своим всеведением, начали болтать всем и каждому, что они своими ушами слышали от самой Соломонии о ее беременности и близких родах. Во дворце только об этом и толковали. Слухи дошли до великого князя. Он разгневался, приказал удалить от двора обеих болтливых боярынь и, кроме того, высечь вдову Траханиота за то, что она раньше не донесла ему об этом.

Но этого было мало.

Надо было послать в монастырь расследовать дело. Выбраны были для этого, по обыкновению великого! князя, не бояре, а дьяки Бретьяк Раков и Меньшой Путятин.

Узнав о приезде в монастырь дьяков для освидетельствования ее, Соломония бросилась в испуге в церковь, вбежала в алтарь и укрылась у самого престола, как бы ища здесь себе защиты. Не решаясь пустить в ход силу с ней повели переговоры о том, точно ли она непраздна! Она резко и строптиво объявила, что она уже родила сына Георгия, который и

спрятан в надежном месте.

— Не достойны вы его зреть теперь, а когда облечется он в свое величие, тогда и оплатит за мои обиды! — кричала с угрозой бывшая великая княгиня, возмущенная вопросом.

— Обезумела она, — решили дьяки, — и плетет небылицы. Статочное ли дело, чтобы прежде не было слышно если была непрадна...

— Узнаете еще, когда сын мой вам оплатит по делам вашим, — угрожала Соломония. — Была я непрадна от государя моего Василия Ивановича, а где сын мой укрыт, того никому не открою!

— Осмотреть бы ее только, — рассуждали дьяки, — то так нельзя вернуться к государю.

После долгих переговоров ее удалось вывести из алтаря и освидетельствовать. Оказалось, что она никогда и бывала беременною. Дьяки вернулись в Москву, доложили обо всем великому князю. Соломонию приказано было отправить в другой монастырь и смотреть за ней строже.

— У вас в Москве теперь точно в котле ки-

пит, заметил однажды Гавриил Владимирович Колычев, приехав снова в Москву и беседуя с Федором Колычевым. — Куда ни ступишь, везде новые толки да слухи...

— Город большой; один слух пустит — сотни подхватят да, как снежный ком, дальше да больше покатят, — сказал Федор, мало интересовавшийся разными новостями.

— То вот перед разводом великого князя сказывали, как допрашивали Ивана Сабурова о том, зачем он Степаниду Рязанку, да Машку Кореленку, да безносую черницу через жену свою Настасью к великой княгине для ворожбы важивал.

— Допрашивали разве? — спросил Федор, не без удивления взглянув на Гавриила Владимировича.

— А ты думаешь нет. Сами грех творят, других хотят запутать, чтобы себя выгородить.

Потом Гавриил Владимирович добавил:

— А нынче начали рассказывать, как великую княгиню Соломонию допрашивали да осматривали, точно ли она непраздна в монастыре, а теперь везде говорят, как владыко

ваш своих врагов изводит, которых ему государь головой выдал...

Он понизил голос.

— Слышал про Грека Максима? Говорят, приставили к нему в Волоколамском монастыре иноков Тихона Ленкова да Иону, так они его изводят и голодом, и дымом, и морозом, и всякими озлоблениями, и томлением, так что ину пору лежит, как мертвый.

Он оборвал речь и переменял тон, заговорив более весело:

— Ну, да над людьми издеваться можно, а вот Бога не скоро умилоставишь. Еще будут ли дети у государя либо нет — это бабушка надвое сказала. Как отпуская государь к нам в Новгород архиепископа Макария, просил его на ектениях молить Бога, Пречистую Богоматерь и чудотворцев о себе и о великой княгине Елене, чтобы Господь Бог дал им плод чрева их. Теперь у нас везде об этом молятся попы, да не мы.

Он, как целая масса новгородцев и старых бояр, недовольных все усиливавшимся самодержавием московского великого князя, только и надеялся на то, что брак великого князя

останется бесплодным. Толки об этом велись везде и всюду, хотя и шепотом, тайно.

Именно этого-то боялся и сам великий князь и его приближенные, вроде Степана Ивановича Колычева, видевшие в твердости московского великого князя или опору для себя или благо для всего государства, уже представлявшего одно сплошное целое.

— Не будет детей у государя великого князя, — толковал Степан Иванович Колычев, — князь Юрий и князь Андрей заварят кашу. Со своими уделами не могут управиться, а со всем государством и подавно не справятся. Пойдут опять распри да междуусобия.

Великий князь это понимал отлично и уже с конца года начал совершать богомольные походы, прося Бога даровать ему детей. Тихвинский, Переяславский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Кубенский монастыри то и дело встречали у себя великого князя и юную великую княгиню. Великий князь раздавал везде великую милостыню и потешение монахам в монастырях и потом в городах, последовательно обращался к каждому из святых и особенно сильно молился в по-

следнее время преподобному Пафнутию Боровскому, бывшему как бы придворным патроном московских великих князей. Сам Василий Иванович и его жена пили простой монастырский квас, проводили целые часы с монахами, жили в монастырях. Казалось, вся государственная деятельность великого князя свелась теперь на одно богомолье: езда из монастыря в монастырь, постройка и украшение храмов, раздача милостыни, неустанные молитвы о чадородии, вот все, что делала великокняжеская чета, и великий князь, как говорили окружающие, «не умалял подвига в молитве, не сомневался от долгого времени своего безчадства, не унывал с прилежанием просить, не переставал расточать богатства нищим, желаше бо по премногу от плода чрева его посадити на своем престоле в наследие роду своему»...

С ним и с женою путешествовали и его приближенные бояре и боярыни вроде князей Овчин-Телепневых, Оболенских и боярынь Челяднинных.

Многие из этих людей с искренним сожалением глядели на несчастную чету. Особен-

но пробуждала сочувствие юная великая княгиня, на красоту которой любовались и старики, и такая молодежь, как князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, смелый и задорный, честолюбивый и самонадеянный. Как часто этот человек засматривался на великую княгиню, как часто жалел он ее участи, как часто думалось ему, что не за таким был стариком ей быть, как великий князь, не отличавшийся красотой и начинавший заметно хиреть среди постов, богомольных походов и молитв. И шутка ли, сколько времени прошло в этих богомольях! Четвертый год пошел ушел со дня свадьбы великого князя. Надевавшиеся на бездетность великого князя начинали радоваться, желавшие ему прямого наследника падали духом.

Князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский почти ежедневно забегал к сестре и, здороваясь с ней, тотчас же спрашивал:

— Ну, что государыня?

Боярыня Челяднина, с любовью глядя на него, лукаво смеялась:

— У тебя, Ваня, ныне и речей-то иных нет,

как «что государыня?» да «что с государыней?»

Он, всегда строптивый и нетерпеливый, хмурил брови.

— Тебе все смешки! А у меня сердце изныло! — говорил он.

Боярыня Челяднина делала озабоченное лицо, боясь раздражать брата, и говорила:

— Ты не смотри, Ваня, что я смеюсь. У самой у меня камень на сердце. Уж так-то я боюсь, что и она неплодного будет. Раз развелся государь, и другой раз развестись может. Не сладко нам будет.

— А! Что ты о нас толкуешь? — резко обрывал ее брат, — не о себе я думаю. За нее сердце болит...

Сестра пристально вглядывалась в его лицо, а он страстно продолжал:

— Душу бы свою за нее отдал, тело бы свое на раз дробление отдал, только бы ее счастливою видеть. Взглянет она ласково — как пьяный весь день хожу Грех бы всякий на душу принял из-за нее, ненаглядной!

Боярыня пугливо озиралась кругом.

— Перестань, перестань, Ваня! шепотом

уговаривала она. — Уши везде есть! А ты на какие речи говоришь! Ох, не сносить тебе головы, парень, и себя, и нас погубишь.

Он умолкал, покусывая досадливо красивые усики а сестра не без лукавства, тихо замечала ему

— А она тоже о тебе спрашивала. Спрашивала? — радостно восклицал он со сверкающими глазами и торопил сестру. — Что говорила? Рассказывай! Рассказывай!

— Что? Известно что! Хвалила тебя! — говорила Челяднина, с любовью глядя на его красивое лицо, и тут же наставительно советовала брату: — Только при людях-то не смотри ты на нее так, люди все подмечают да на ус намотать могут. Чего и нет — и то придумают!

— Что мне люди! — с пренебрежением восклицал он.

— Ох, молод ты, молод! И хитрой сноровки у тебя нет! Мы вон, бабы, если кого и полюбим, так никому и; невдомек. Идем мимо — глаза опустим...

Он отрывисто обрывал ее.

— Не выучился еще лисьим сноровкам, да

и не выучусь! Пусть уж бабы этому учатся! Не пригоже парню девкой смотреть.

Челяднина вздыхала,

— Без этого жить — голову под топор подставлять!

— Э, что мне моя голова! — смело говорил князь, махая рукой. — Пусть день один будет, да мой! За иной! день всю жизнь отдал бы...

Он, действительно, был одной из тех натур, которые готовы поставить на карту всю жизнь за минуту счастья.

Все эти люди не помнили себя от радости, когда узнали, что государыня великая княгиня непраздна. Эта весть пророчила им светлые дни.

Было 25 августа 1530 года.

С самого раннего утра в воздухе чувствовалась страшная духота. Наконец подул ветер, горячий, точно из натопленной печки, и стал крутить столбами пыль. На небо стали быстро набегать черные тучи, бешено клубясь над землей. Наконец что-то блеснуло в воздухе и грянул гром. Москву охватил мрак, и разразилась страшная буря. Стрелы молнии точно раздирали в ключья черные тучи, низко на-

висшие и бурно клубившиеся над землей а удары грома, тотчас же следовавшие за ослепительным сверканием молний, походили на залпы огнестрельных орудий Перепуганным людям казалось, что под ними колеблется земля. Объятые ужасом, они думали, что наступает конец мира. В этот именно день в палатах великого князя, несмотря на страшную грозу, шло ликование, какого давно уже не бывало во дворце. То, о чем молились при дворе, то, о чем шептались в городе, сверилось великому князю Бог даровал сына и его нареки Иоанном в честь ближайшего праздника Усекновения Иоанна Предтечи. Возликовали по поводу этого события москвичи, опустили головы люди, надеявшиеся, что не будет детей у пятидесятилетнего великого князя. Начали везде сами собою слагаться легенды о том, что младенцу предстоит великая участь.

— Слышали, что Дементьюшка-то юродивый напророчил великой княгине, — рассказывали бабы на улицах. — Спросила она его, батюшку, кого она родит, а он ей в ответ: «Родится Тит — широкий ум!»

— Тоже сказывал нам монах один, — поясняли другие вестовщицы, — когда отроча во чреве матери ростояше, то печаль от сердца человеческого отступаше; когда же отроча во чреве матери двигалось, то стремление рати иноплеменной на царство низлагалось.

— Это что! — прервали рассказы новые всезнайки:— А что в Успенъев-то день было. Служили это попы обедню, на ектеньи стали о государе и государыне молиться. Один-то из них вдруг словно сном объят стал и чем бы возгласить: «еже подати им плод чрева», возьми да и брякни на всю церковь: «и о благородном чаде их». Да еще что: возгласил это да на всех и смотрит, как, мол, младенца-то звать?

— А гром-то, гром-то какой по всей земле гремел, когда пришло время государыне родить, — сообщали слушатели.

Но больше всех радовались близкие князя Ивана Федоровича Овчины-Телепнева-Оболенского. Они возвысились сильно при дворе. Молодой князь после смерти отца получил звание конюшего, его сестра Аграфена Федоровна Челяднина приставлена была

мамкою к царевичу. Украдкой она зазвала брата взглянуть на новорожденного, и он припал губами к этому ребенку. Ему казалось, что он целует не это маленькое, сморщенное существо, а его мать, при виде которой у него темнело в глазах, кружилась голова и пробуждалась невыносимая зависть, почти ненависть к старому великому князю.

— Вот он, золото-то наше, государь наш, — любовно говорила боярыня Челяднина брату, показывая ребенка.

— Дай только Господи, чтобы здоров был, — заботливо сказал князь Иван.

— Да я его как зеницу ока беречь буду, — проговорила она. — Долго мы ждали его, желанного...

Радовались рождению этого ребенка в семье Степана Ивановича Колычева, искренне и неподкупно преданного самодержавию московского великого князя. Рассказывая о радостной новости, боярин заметил сыну:

— Ну, вот скоро и тебе придется при дворе государя быть. Опять он о тебе спрашивал. К сыну своему обещал тебя взять.

— Я за почестями, батюшка, не гонюсь, —

отвечал молодой Колычев. — Своего дела доволюсь с меня...

— Изволит наш государь пожаловать тебя — радоваться только надо да благодарить, а не сторониться, — сказал наставительно боярин, немного сдвинув брови.

— Я против воли государя и твоей, батюшка, никогда не пойду, а и напрашиваться на милость не стану, — отвечал сын. — Своей жизнью я доволен, и ничего мне больше не надо.

Степан Иванович продолжал сообщать новости:

— Спрашивал тоже государь, отчего не женишься. Оно и точно, пора бы...

— Ты, батюшка, знаешь, — ответил молодой Колычев, — охоты у меня нет, да и невесты по душе не видал. Попадет не по душе — и себе горе, и ей не радость.

Он мягко улыбнулся и прибавил:

— Такое счастье, как тебе, батюшка, не всем выпадает.

— Что говорить, — согласился старик. — Ну, да я насчет женитьбы тебя и неволить не стану. Это твое дело. А служба — служить на-

до, если государь милость окажет и призовет тебя к себе...

Федор Колычев промолчал.

В глубине души он молил Бога, чтобы его оставили в покое. Ни кутежи молодежи, ни происки придворных, ни погоня при помощи поклонов за почестями не привлекав ли его. Одно воспоминание о том, что делается при дворе и среди бояр, тяжелым гнетом ложилось на его душу. Даже те лица, которые возбуждали в нем прежде восторг, как, например, митрополит Даниил, стали ему в последнее время чужды, и он уже не удивлялся им, а скорбел о них, как о людях, не умеющих создать одного целого из слова и дела.

В Москве продолжались ликованья: рождение наследника престола, победа над Казанью, куда московский государь назначил своего клеврета — брата Шиг-Алея! Еналея, победа над крымцами, одержанная молодым придворным любимцем, князем Иваном Федоровичем Овчиной-Телепневым-Оболенским, новое семейное событие та виде рождения второго сына, Юрия, у великого князя весело справленная в январе 1533 года свадьба князя

Андрея Ивановича с дочерью князя Андрея Хованского, — все это было радостно. Великая княгиня совсем овладела волею великого князя, и придворная жизнь стала шумнее и веселее прежнего, к ней начали прививаться иноземные нравы, на Западе стали возлагать разные надежды на московское государство, и великий князь был более чем когда-нибудь готовым оказывать милости своим любимцам и преданным слугам. На это возлагал великие надежды князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, на это же надеялись и Колычевы, тем более что все больше распространявшиеся слухи об уме, о высокой нравственности, о хозяйственных способностях, о начитанности молодого Федора Степановича Колычева заставили великого князя решить вопрос о приближении ко двору этого молодого человека: он должен был занять место при малолетнем царевиче Иване...

Все эти надежды, казалось, должны были рушиться разом...

ГЛАВА IV

У Троицы Сергия готовились к обычному празднованию дня 25 сентября. Но на этот раз — это было в 1533 году — праздник должен был выйти особенно торжественным. В монастырь собирался великий князь с женою, с детьми и большою свитою, только что отпраздновав изгнание крымцев из русских пределов. Это обычное посещение монастыря великим князем, довольным только что одержанной победою, сулило монашествующей братье немало хорошего, так как великий князь был вообще щедрым жертвователем на монастыри и любил устраивать для братии потешения и пирования, на этот же раз щедрость его обещала быть особенно большою.

Надежда на удачное празднование монастырского праздника оправдалась вполне: погода в этот год в сентябре стояла хотя холодная, но такая ясная и сухая, что из Москвы повалили густые толпы народа и потянулись целые поезда бояр к празднику. Красиво смотрит в эти предпраздничные дни Ярославская дорога, захлебываясь от народных масс и

словно покрываясь пестрыми цветами. Идут тут пешие, едут всадники, громыхают колесами тяжелые колымаги. Иной раз можно подумать, что это свадебные поезда тянутся, а это просто едут боярыни на богомолье в колымагах, запряженных несколькими лошаадьми гусем и окруженных полусотнею скороходов. Продавцы с телегами, скоморохи с учеными медведями и козами, калеки и слепцы с поводырями, все это тянется в эти дни к Троице-Сергию. Потянулся к монастырю и длинный великокняжеский поезд с нарядными колымагами, с возами припасов, с конным и пешим народом.

— Ну, уж и осень ныне стоит, просто на диво! — говорил великий князь, наслаждаясь чудной осенней погодой. — Самая пора для охоты. Всякой птицы теперь понастрелять можно.

— Что ж, государь, ловчих бы да кречатников вызвать, — советовали бояре.

— А и то надо будет вызвать, — согласился великий князь. Всю дорогу он только о том и толковал, что погода как раз благоприятствует охоте, и, наконец, решил, что, помолив-

шись Богу, он непременно проедет на Волок Дамский. Великий князь был страстный охотник. Задумав охотиться, он тотчас же распорядился послать в Москву за ловчими, за кречатниками.

Отпраздновав в обители день Чудотворца Сергия, он со всею своею свитою отправился на охоту, но по дороге в Волок Ламский, прибыв в село Озерецкое, немного заболел. На верхней части левой ноги на сгибе у него показалась багровая болячка в булавочную головку. Не могло это помешать ему охотиться. Болячка была не велика, да и опасаться ее было нечего. Он знал, что эта болячка пустяшная. Вот когда у его сына Ивана на шее опухоль сделалась, так он сильно встревожился и отписывал жене: «И ты б ко мне теперь отписала, как Ивана сына Бог милует, и что у него такое на шее явилось, и каким образом явилось, и как давно, и как теперь. Да поговори с княгинями и с боярынями, что это такое у Ивана сына явилось, и бывает ли это у детей малых! Если бывает, то от чего бывает? Сроду ли или от иного чего?» Но тревога была и тогда напрасная: незрел вередь, прорвался,

и ребенок выздоровел. Значит, взрослый-то и по давню может спокойно относиться к таким пустякам. Великий князь отправился охотиться и, переезжая из села в село, доехал до Волока Дамского в первых числах октября. Боль, однако, стала сильнее, и он очень утомился. Но, несмотря на сильное изнеможение, он тотчас по прибытии сюда отправился на пир одного из своих любимцев и верных слуг, тверского дворецкого Ивана Юрьевича; Шигоны-Поджогина.

Немало пили тогда на пирах, и вино только усилило воспаление ноги.

Больной решился прибегнуть к испытанному русскому средству от всех болезней: пойти в баню, попариться и пропотеть. Потом всякая болезнь выходит из тела. Тогда все в это верили. Но из бани он дошел с большим трудом и должен был обедать в постельных хоромах, через силу сидя за столом.

Следующий же денек, как на зло, выдался опять превосходный, и страсть к охоте оказалась сильнее недуга: великий князь с ловчими направился в свое село Колп. Охота, против ожидания, была неудачна, а боли уже ста-

новились нестерпимыми. В Колли, едва сидя за столом, страстный охотник все же сделал распоряжения насчет продолжения охоты — послал за братом своим князем Андреем Ивановичем Старицким. Андрей Иванович приехал, и оба брата отправились в поле с ловчими и охотничьими псами. Великий князь отъехал от села не более двух верст, как ему стало совсем худо. Пришлось волей-неволей вернуться обратно в Колп, но здесь больной нашел в себе еще настолько силы, чтобы сидеть за обеденным столом.

До этой минуты великий князь тщательно скрывал от окружающих, как сильно он страдает. Тут же вдруг разнеслась весть, что он послал в Москву за князем Михаилом Львовичем Глинским, уже давно прощенным великим князем, и за своими лекарями Николаем Люевым и Феофилом. Это не на шутку встревожило всех придворных, знавших, что государь не любит лечиться.

Князь Михаил Львович Глинский, долго живший за границей и разносторонне образованный, был не только военным и дипломатом, но смыслил кое-что и в медицине. Он

сообща с лекарями решил лечить великого князя припарками.

— Пшеничная мука с пресным медом да лук печеный, — решил князь, — это одно средство от вереда. Назреет волдырь и прорвется, а только это и нужно.

Лекаря были того же мнения. Сделали припарку, болячка начала рдеть и нагниваться...

А дни шли своим чередом, истекала и вторая неделя. В Колпи было не особенно удобно, так как великокняжеские хоромы были тесны и не приспособлены для постоянного житья, и больной решил вернуться в Волок Ламский, где было просторнее. Однако возвращаться было нелегко, так как на лошади он сидеть уже не мог. Пришлось боярским детям и княжатам идти пешком и нести его на руках на носилках.

В Волоке Ламском вместо припарок стали прикладывать мазь к больному месту. Начал идти гной, увеличилась боль, грудь стало ломить. Тогда решили очистить желудок. Не помогло и это. Начал пропадать совсем аппетит. Верный своему правилу решать дела у постели сам третей, не с боярами, а со своими креа-

турами, преданными ему дьяками, великий князь позвал стряпчего Мансурова и дьяка Путятину и приказал им:

— В Москву отправляйтесь. Привезите духовную грамоту отца моего, государя Ивана Васильевича, да мою духовную, что писана перед отбытием в Новгород и Псков.

И прибавил строго:

— Да на Москве о том не сказывайте никому: ни митрополиту, ни боярам, ни великой княгине.

Мансуров и Путятин, низко поклонившись, удалились.

Великий князь призвал к себе своего духовника, старца Мисаила Сукина.

— Плохо мне, отче! — проговорил он. Старик обнадежил его:

— Господь Бог поможет, пройдет недуг.

— Пройдет либо не пройдет, а все же смотри, не положи меня в белом платье, — сказал великий князь. — Хотя и выздоровлю — нужды нет, мысль моя и сердечное желание обращены к иночеству.

Потом прибавил:

— Только болтать не надо, что крепко я

разнемогся...

Быстро совершив путь в Москву и обратно, Мансуров и Путятин привезли духовные великому князю. Опять тайком от всех братьев, бояр и князя Глинского приказал великий князь Мансурову и Путятину:

— Читайте, что написано.

Прочитали стряпчий и дьяк обе духовные. Великий князь отдал приказ:

— Мою духовную сожгите. Духовную сожгли.

— А теперь позови ко мне Шигону, — сказал великий князь Путятину.

Пришел Шигона-Поджогин, и великий князь обратился к нему и к Путятину с вопросом: кого из бояр допустить в думу о духовной и кому приказать свой государев приказ. Сразу не решили ничего, но лица в сущности были намечены: с великим князем были в это время князь Дмитрий Федорович Вельский, князь Иван Васильевич Шуйский, князь Михаил Львович, дворецкий князь Иван Кубенский и Иван Шигона-Поджогин. Приехал еще в это время в Волок Ламский брат великого князя Юрий Иванович Дмитровский, Вели-

кий князь испугался. Не доверял он брату Юрию, человеку неглупому, умевшему привлекать к себе людей. Не раз уже некоторые из бояр уезжали в отъезд к князю Юрию, и их приходилось ворочать насильно. Князь Юрий, пожалуй, обрадуется болезни старшего брата. Больной постарался скрыть от него свою болезнь и, несмотря на его желание остаться, выпроводил, его из Волока Ламского, оставив при себе только младшего брата, князя Андрея.

В это время из болячки вышло больше тазагною и выпал стержень больше полуторы пяди, однако не весь. Тем не менее больной обрадовался, надеясь на выздоровление. К больному месту приложили снова мазь, и опухоль совсем опала. Великий князь несколько повеселел и начал совещаться с дьяками и боярами, как ему ехать в Москву, откуда только что прибыл вызванный больным боярин Михайло Юрьевич Захарьин. Решили ехать сначала в любимый великим князем Иосифов монастырь. Переезд был нелегок, так как дороги уже значительно были испорчены осенним ненастьем. Это была самая тяжелая пора для

путешествий, и тогдашние бояре и вельможи без особенной нужды никуда не выезжали в это время распутиц и бездорожья. В большом каптане, тогдашнем возке, приладили постель, на которую и положили больного; около него уселись князья Шкурлятин и Палецкий, которые и переворачивали его с боку на бок, так как сам он уже был не в силах ворочаться. Около каптана ехала верхом и шла пешком великокняжеская свита. Двигались вперед медленно и ради спокойствия больного, и ради невылазной грязи.

Навстречу этой печальной процессии к монастырским воротам вышла вся монашествующая братия с образами и свечами. В Иосифовом монастыре искренно и горячо любили государя. Все были поражены, увидав, что из каптана выводят под руки почти неподвижного великого князя. Его кое-как втащили в церковь. Началось богослужение. Вышел дьякон читать ектению за государя и расплакался. Тогда храм огласился всеобщими рыданиями: братия, бояре, богомольцы, все плакали навзрыд. Больной был глубоко тронут и взволнован. По его лицу тоже текли ручьями

слезы. Стоять он дольше не мог. Началась обедня. Его вывели из церкви и положили на постель на паперти, откуда он и прослушал литургию.

— Поезжай в свой удел, а я отправлюсь в Москву, — говорил больной великий князь брату своему Андрею. — Нечего тебе теперь здесь оставаться.

Казалось, он начинал бояться даже и князя Андрея. Шигоне и Путятину он повторил здесь то же, что говорил старцу Мисаилу Сукину.

— В белом платье меня не кладите, к иночеству душа моя стремится.

— Государь, не все недуги к смерти, — утешали его.

— Пройдет — хорошо, а умру — не забудьте, что наказывал...

В то же время он заботился о том, чтобы въехать в Москву тайно, так как там было много иноземцев и послов. Не показывать братьям виду, что он умирает, не дать понять этого иностранцам, послам и некоторым боярам — это более всего заботило больного. Предчувствие возможных в близком будущем

смут и неурядиц не покидало его, хорошо знавшего людей и жизнь.

С 21 ноября стала заметна особенно оживленная деятельность в подмосковском великокняжеском селе Воробьеве. Сюда приезжали то и дело из Москвы важные лица, митрополит, архиереи, бояре, боярские дети. Под Воробьевым же на Москве-реке против Новодевичьего монастыря кипела спешная работа: рабочие под надзором! городничих, которых было несколько в Москве, торопливо наводили мост, так как лед на реке еще не окреп и ездить по нем было невозможно. Мост навели наспех, и великий князь в каптане, запряженном парюю так называемых санников, то есть приученных ходить в санях лошадей, тронулся в путь. Как только лошади вступили на мост — раздался страшный треск и подломившийся мост стал погружаться в воду. Произошла невообразимая сумятица. Шедшие около каптана боярские дети бросились удерживать возок, другие охраняли больного, третьи торопливо обрезали гужи у лошадей. Пришлось везти больного обратно. Он бранил неумелых городничих, хотя и не

отдал приказаний наказать виновных. Его занимала одна мысль: поскорее перебраться в Москву, что и было исполнено при помощи парома под Дорогомиловым.

В кремлевском дворце шел переполох. Сотни разнородных чувств охватили всех, когда во дворец внесли на руках больного государя. Одни, как великая княгиня, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский и его сестра Челяднина, чувствовали, что в их жизни со смертью великого князя может произойти страшный переворот; другие, как бояре Шуйские, Захарьин, Воронцов, Тучков, надеялись стать у кормила правления; третьи, как братья великого князя, князья Юрий и Андрей, мечтали об ослаблении московской власти. Везде шушукались, строили планы, заводили интриги. В опочивальне же великого князя уже писалась духовная, назначалась дума боярская, которая должна была вести дела во время малолетства царевича Ивана. Братья великого князя уже прибыли в Москву, сначала приехал князь Андрей, потом прибыл и князь Юрий.

Написав духовную, великий князь позвал

к себе митрополита Даниила, коломенского владыку и друга митрополита Вассиана и своего духовника попа Алексея. Вопрос шел о пострижении. Больного приобщили и соборовали маслом, но сначала тайно. Потом перед Николиным днем в субботу происходило уже второе, явное соборование. В воскресенье приказано было приготовить Дары. Когда больному дали знать, что их несут, он сделал над собой страшное усилие, поднялся с постели и, опираясь на боярина Михаила Юрьевича Захарьина, сел в кресла. При появлении духовника со Святыми Дарами больной встал на ноги и приобщился стоя.

Он сознавал, что он умирает, и торопился сделать распоряжения, устроить все так, чтобы обеспечить своего сына от волнений и смут. Умный и распорядительный хозяин сказывался в каждом его действии. Все приближенные бояре и братья великого князя были тотчас же созваны к его постели, и он обратился к ним с речью:

— Приказываю вам сына моего, великого князя Ивана, Богу, Пречистой Богородице, святым чудотворцам и тебе, отцу моему Да-

ниилу, митрополиту всея Руси, — начал великий князь, сохранявший, несмотря на физические страдания, всю ясность ума. — Даю ему государство, которым благословил меня отец мой. А вы, братья мои, князь Юрий и князь Андрей, стойте крепко на своем лове, на чем вы мне крест целовали, о земском строении и о разных делах, против недругов моего сына и своих стойте сообща, чтобы рука православных христиан была высока над басурманством.

Потом он обратился к боярам:

— А вы, бояре, боярские дети и княжата, как служили нам, так служите и моему сыну Ивану, на недругов все будьте заодно, христианство от недругов берегите, служите сыну моему прямо, неподвижно.

Он, видимо, слабел, и его смертный час приближался, но полновластный и распорядительный хозяин могущественного московского государства продолжал высказывать горячие заботы об участи этого государства, не доверяя никому и зная, сколько происков таится в окружающей его среде. Он не забыл своей собственной тяжелой юности, когда

окружающие то и дело что подрывались под него, стараясь лишить его наследия отца. Отпустив братьев и митрополита, он опять обратился к боярам:

— Знаете и сами, что государство наше ведется от великого князя Владимира Киевского; мы вам государи прирожденные, а вы наши известные бояре, так постоит, братья, крепко, чтоб мой сын учинился на государстве государем, чтоб была в земле правда и в вас розни никакой не было.

Он вспомнил, что к числу бояр, упомянутых в духовной, он присоединил имя князя Михаила Львовича Глинского, как дяди великой княгини. К князю Михаилу Львовичу многие относились недоверчиво, даже враждебно, как к перебежчику, и великий князь это знал.

— Приказываю вам князя Михаила Львовича Глинского, — проговорил он боярам. — Человек он приезжий, держите его за здешнего уроженца, потому что он мне прямой слуга. Будьте все сообща, дело земское и сына моего дело берегите и делайте заодно, а ты бы, князя Михайло Глинский, за сына моего Ива-

на, и за жену мою и за сына моего князя Юрия кровь свою пролил и тело свое на раздробление дал.

Сильно тревожился державный хозяин о своем государстве и в то же время чувствовал, как гаснут его силы. Рана хотя уже и не болела, но от нее распространялся смрад — дух тяжел.

— Что бы приложить к ней либо впустить в нее, чтобы духу не было? — спрашивал он у князя Глинского, Николая Люева и Феофила.

Лекаря не знали, как помочь горю.

— Государь князь великий, обождавши день, другой, когда тебе полегчает немного, пустить бы водки в рану, — посоветовал боярин Михайло Юрьевич Захарьин.

Великий князь трогательным голосом обратился к Люеву:

— Брат Николай, видел ты мое великое жалованье к себе? Можно ли что-нибудь такое сделать, мазь или другое что, чтобы облегчить болезнь?

Люев с тоскою откровенно ответил:

— Видел я, государь, к себе жалованье твое великое: если б можно, тело бы свое раздро-

бил для тебя, но не вижу никакого средства, кроме помощи Божией.

Ясно было значение этого горького ответа, и больной понял его. Он обратился к детям боярскими своим дьякам:

— Братия, Николай узнал мою болезнь — неизлечимая! Надобно, братья, промышлять, чтобы душа не погибла на веки.

У присутствующих навернулись на глаза слезы. Едва сдерживая их, они вышли один за другим из спальни великого князя и разрыдались. Великий же князь забылся во сне и стал в бреду петь:

— Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Очнувшись от тяжелого забытья, он покорно произнес, обводя покой мутным взором:

— Как Господу угодно, так пусть и будет, буди имя Господне благословенно отныне и до века.

Духовник великого князя должен был 3 декабря держать наготове со вторника на среду запасные дары, а игумену троицкому Иоасафу больной поручал молиться о земском строении и о царевиче Иване, а также о горемычной великой княгине. В то же время великий

князь просил его не уезжать из Москвы.

В среду великий князь снова приобщился и поел немного. Не переставая заботиться о государстве, он призвал князей Василия и Ивана Шуйских, Воронцова, Захарьина, Тучкова, князя Глинского, Шигону, Головина, Путьятина и дьяка Мишурина и снова говорил о земском строении, наказывал, как править государством. Проговорив с ними с третьего до седьмого часу, он отпустил их, оставив у себя только Захарьина, Глинского и Шигону, которые пробыли у него до ночи. Им он говорил, главным образом, о великой княгине. Наконец пришли его братья, князь Андрей и князь Юрий, и стали принуждать его поесть. Подали ему миндальную кашу, но он не мог есть. По уходе братьев великий князь велел воротить князя Андрея, потом сказал:

— Вижу сам, что скоро должен умереть. Хочу послать за сыном Иваном, благословить его крестом Петра чудотворца, да хочу послать за женою, наказать ей, как ей быть после меня...

Потом, пораздумав, он в нерешительности заметил:

— Нет, не хочу посылать за сыном; мал он, а я лежу в такой болезни, испугается.

Князь Андрей и бояре посоветовали:

— Государь великий князь, пошли за сыном, благослови его и за великой княгиней пошли.

— Ну, ладно, — согласился больной. — Пошлите!

Через несколько минут брат великой княгини, князь Иван Васильевич Глинский, принес на руках царевич Ивана. За ним шла мамка Аграфена Челяднина. Благословив сына, больной наказал ей:

— Смотри, Аграфена, чтобы ты от сына моего Ивана не отступала ни пяди.

Ребенка унесли.

Раздался громкий вопль в соседнем покое. То вел великую княгиню. Она громко кричала и билась, едва держась на ногах. Не одно горе при мысли о возможности близкой утраты любимого мужа терзало ее. Никогда не любила она великого князя горячее молодой любовью. Ее охватил страх перед неизвестным будущим, и зародили в душе тысячи черных мыслей. Легкомысленная и горячая, она оди-

наково поддавалась радости и горю, надеждам и отчаянию. Отчаиваться же было отчего, если сам великий князь каждым поступком, каждою речью обнаруживал в эти дни тревогу за участь сына и жены. Он боялся и бояр, и брата своего князя Юрия. С одной стороны он видел честолюбивцев, готовых на все ради захвата в свои руки власти, с другой — он знал стремление удельных князей высвободиться из-под опеки Москвы, а там еще Новгород и Псков, подавленные но не смирившиеся... Великий князь, увидав жену, придерживаемую князем Андреем Ивановичем и боярином Челядниным, стал успокаивать ее:

— Жена, перестань, не плачь, легче мне, не болит меня ничего, благодаря Бога.

Елена, немного успокоившись, заговорила:

— Государь, князь великий, на кого меня оставляешь, кому детей приказываешь?

Для нее все было покуда покрыто тайной. Она уже знала, что великий князь сделал какие-то распоряжения, но в чем они заключались — этого ей не могли передать.

— Благословил я сына нашего Ивана государством и великим княжением, а тебе напи-

сал в духовной грамоте, как писалось в прежних грамотах отцов и прародителей наших, как следует, как прежним великим княгиням шло.

— Юрия-то благослови, — стала просить Елена.

— Хорошо, пусть принесут его.

Принесли Юрия, и отец благословил его Паисиевским крестом, заметив о вотчине;

— Приказал я в духовной грамоте написать, как следует.

Он начал было говорить с женою, как следует ей жить после него, как держать себя, но едва он начал это наставление, как она снова начала кричать и биться. Этот истерический плач избавил ее от необходимости прослушать увещания и наставления мужа. Великий князь не мог сказать ей ничего и велел ее вывести, поцеловав ее в последний раз.

Этим свиданием как бы покончил великий князь со всем житейским, со всем мирским. Он велел позвать духовенство и петь канон мученице Екатерине и канон на исход души, а также говорить отходную. Начался снова бред, великий князь бормотал:

— Великая Христова мученица Екатерина, пора царствовать; так, госпоже, царствовать!

Потом, очнувшись, он приложился к образу и мощам Святой мученицы Екатерины, позвал боярина Михаилу Семеновича Воронцова, с которым у него была размолвка, Поцеловался с ним и простил его. Духовник хотел дать ему причастия, но он сказал:

— Видишь сам, что лежу болен, а в своем разуме. Когда станет душа от тела разлучаться, тогда дай мне Дары. Смотри же рассудительно, не пропусти времени.

Он подозвал к себе брата князя Юрия и заговорил ласково:

— Помнишь, брат, как отца нашего великого князя Ивана не стало на другой день Дмитрова дня, в понедельник, немочь его томила день и ночь? И мне, брат, также смертный час и конец приближается.

Еще через несколько минут он обратился к митрополиту Даниилу, Вассиану, братьям и боярам:

— Видите сами, что я изнемог и к концу приблизился, а мое желание давно было постричься. Постригите меня.

Князь Андрей, Воронцов и Шигона начали убеждать его не постригаться, еще питая надежду на выздоровление.

— Мало ли великих князей умирало, не принимая схимы, — говорили они. — Сам великий князь Владимир представился не в иночестве, а сопричтен к лику Святых.

Митрополит и Захарьин заспорили с ними, хваля желание великого князя.

— Если воля в том государя великого князя, — объясняли они, — то так и должно быть и худа от этого не будет, а душе спасение.

Великий князь тоже стоял на своем. В то же время он снова начал бредить, а язык уже стал отниматься. Он повторял «аллилуйю», подбирая слова из икосов [11], просил пострижения, брал простыню и целовал ее, а правая рука переставала между тем действовать.

Митрополит поспешил послать старца Мисаила Сукина за монашеским облачением. Облачение было принесено. Митрополит подал епитрахиль через великого князя троицкому игумену Иоасафу. Но князь Андрей и Воронцов снова заспорили против пострижения, горячась и шумя. Митрополит вышел из

терпения и, несмотря на своей обычную мягкость в сношениях с царедворцами, резко сказал князю Андрею:

— Не будь на тебе благословения нашего ни в сей век, ни в будущий! Хорош сосуд серебряный, а лучше позолоченный...

Над умирающим начали совершать пострижение...

В двенадцать часов ночи, 3 декабря 1533 года, в среду на четверг, преставился инок Варлаам, бывший великий князь московский Василий Иванович...

Во дворце началась беготня, все растерялись, совались из угла в угол, везде был громкий плач, бояре уговаривали не беспокоить великую княгиню, еще не знавшую о смерти мужа. Митрополит Даниил, умелый и распорядительный, сознавая, что прежде всего нужно позаботиться о сохранении тишины и порядка, уже снимала торопливо присягу с братьев покойного великого князя, с бояр, боярских детей и княжат. Потом все направились к великой княгине, но она, увидав их, упала без чувств и пролежала запертво часа два.

Тело покойного уложили на черную тафтяную [12] постель, облачив в иноческое одеяние. Отслужив заутреню, часы [13] и каноны [14], как это делалось и при жизни великого князя, стали пускать народ прощаться с государем, а утром в четверг выкопали в соборе могилу для покойника и привезли для него каменный гроб. Тело из дворца вынесли трицкие и иосифовские монахи на головах при пении «Святой Боже», при звоне колоколов, который заглушался плачем собравшегося со всех концов столицы народа. Великую княгиню вынесли в санях дети боярские.

Сколько надежд рушилось в этот день, сколько создалось новых честолюбивых замыслов...

ГЛАВА V

Приставленные к трехлетнему великому князю Ивану и его годовалому брату Юрию женщины были заняты своим обычным делом: одни вышивали, другие нянчили малолетних великокняжеских детей, занимая их сказками и побасенками. Для этих жительниц великокняжеского терема ни на минуту не прерывалась их обыденная жизнь с ее бабьими сплетнями и пересудами, с ее мелочными заботами и хлопотами. Все эти женщины толклись на половине великой княгини и детей покойного великого князя, в жилых хоромах и в постельной избе.

Итальянский зодчий, фрязин Аловиз от города Медиолама, построил каменный дворец в Кремле; в той же части, где были жилые хоромы, вывел только нижний подклетный этаж этих хором на белокаменных погребках, тогда как сами хоромы были деревянные. Только приемная палата великой княгини была каменною и носила название Задней палаты или палаты, что у Лазаря Святого. Здесь по-прежнему и после смерти великого

князя Василия Ивановича шла будничная жизнь, сновала прислуга, приносилась еда из поваренного дворца, соединявшего с постельною палатою задним крыльцом с лестницею. Нянчась с великокняжескими детьми, находившиеся при них женщины далеко не сознавали того, какой смутное время переживалось в эти дни. Только боярыня Аграфена Федоровна Челяднина как-то особенно суетливо то и дело выбегала из этой комнаты, где помещались дети, в смежные покои. Очевидно, она кого-то поджидала, озабоченно покачивая головой. Она близко знала, что совершается в придворном кругу, среди бояр, и начинала сильно побаиваться.

По-видимому, все сделалось так, что лучше и желать было нечего великой княгине: митрополит Даниил, милостивец и пособник Елены Васильевны, тотчас после смерти великого князя привел к присяге братьев покойно и бояр. Первые клялись «служить великому князю Ива ну Васильевичу всея Руси и его матери великой княгине Елене, жить на своих уделах и стоять в правде, в чем цаловали крест брату своему великому князю Василию

Ивановичу и крепости ему дали; государства под великим князем Иваном не хотеть; против недругов его и своих, басурманства и латинства, стоять прямо, обще в за один». Бояре со своей стороны поклялись великому князю Ивану и его матери великой княгине Елене «хотеть добра вправду».

«Но второпях-то клятву дали, — думалось Челядниной, — а все же дело небывалое, чтобы наша сестра всем государством правила да и супротивников-то у нее очей уж много. Еще покойный великий князь подозрение на брата князя Юрия имел, да и бывали случаи, что к князя Юрию в Дмитров-то отъезжали бояре, так что приходилось беглецов ловить да в темницы сажать. Да и помимо князя Юрия у великой княгини ворогов много. Князья Василий да Иван Васильевичи, Андрей да Иван Михайловичи Шуйские — это главные враги, а за ними идут Палецкие, и Пронские, и Скурлятевы, и Кубенские. Не перечесть всех. Всем поперек в горле стало, что литвинка из изменнического рода выше их встала. Тоже и Вам как бельмо у них на глазу, чувят, что с ним шутить плохо. Горяч только он, напро-

лом идет, осторожности да опаски нет. За великую-то княгиню да за него кто постоит? Князя Вельские, Иван, Симеон да Димитрий? Хобаров или Воротынский? Так эти готовы шею Шуйским свернуть да тут же и великой княгине, и Ване заодно ногу подставить. Нет, если еще на кого есть надежда, так на братьев великой княгини, на наших братьев да на князей Бориса да Михаилу Горбатых. Так велика ли от них может быть помощь? Молодчина все, силы еще не набрались».

Особенно тревожное настроение, по замечанию Челядниной, охватило всех в этот день, точно что-то готовилось грозное. Челяднина не знала, что именно готовится, но боялась за великую княгиню, за брата, за себя, подслушав и разузнав какие-то смутные толки. У нее были свои шпионы и разведчики.

А брат ее все не шел и не шел.

Наконец, послышались давно ожидаемые твердые мужские шаги, и в комнату вошел молодой боярин, красивый, надменный и смелый на вид. Это был князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Он поклонился боярыне, бросил на стол щегольской

меховой колпак, поцеловался трижды с сестрою и спросил несколько небрежным, недозвольным тоном:

— Ну, что скажешь, сестра? Зачем звала?

— Заждалася я тебя, все глаза проглядела, родной, — проговорила она торопливо певучим голосом.

— Государыне великой княгине зандобился, что ли? — поспешно спросил он и, видимо, оживился.

Челяднина вздохнула и, отрицательно качая головой, печально промолвила:

— Нет, государыня великая княгиня все глаз не осушает, ни до чего ей и дела нет.

— Больно крепко, видно, старого мужа любила! — с язвительной усмешкой сказал он, присев на лавку и досадливо барабаня пальцами по столу. — А ты бы сказала ей, что слезы слезами, а дело делом. Оно ждать не будет, пока она все слезы выплачет. От ее слез и государю великому князю в каменном гробу теплее не станет, а ей они так глаза застелят, что она, пожалуй, и проглядит, что кругом делается...

— Про князя Юрия Ивановича намека-

ешь? — оживленно спросила Челяднина и пытливо взглянула на брата, словно желая проникнуть в его душу, знает ли он что-нибудь. — Вот и я слышала и тебя ради этого ждала. Замыслил он что-то неладное, болтают людишки. Передать-то мне передали, что тут деется что-то неладное, — а что — этого дураки не развели. Тоже народ! Подслушать подслушают, а толком ничего не поймут, не разузнают, только ходят кругом да около.

— И князь Юрий Иванович, и князь Михаил Львович Глинский, и все, у кого зубы есть, покажут еще себя, — проговорил угрюмо Иван Феодорович Овчина-Телепнев-Оболенский, перебивая ее речь, — Один сегодня, другой завтра, а уж добра ни от кого не жди. Нет, чтя ни человек, то ворог.

— Так ты поговорил бы ей! — несмело посоветовала боярыня брату, пристально вглядываясь в него.

— Поговорил бы! Поговорил бы! — строптиво передразнил он сестру, сделав нетерпеливое движение. — Я говорить буду, а она рекой разливаться слезами станет о своем нена-

глядном государе-батюшке...

— Ваня, нельзя же, — осторожно плаксивым тоном начала Челяднина. — Дело женское...

Он перебил ее сердито:

— Нет, довольно! Либо он, либо я! Мертвый ее не услышит, а у меня душу она всю вымотала... Который день не вижу ее, а и вижу, так только для того, чтобы услышать, что жизнь ей опостылела, что на свет бы она не глядела.

Челяднина упрекнула его:

— Ах, не знаешь ты нас, баб! Легко нам с пути-то сбиться, а потом совесть-то и заговорит, и каешься, и каешься...

— Ну, и шла бы в монастырь, если уж так грехи душу томят, а государство бросила бы, — сердито сказал князь, — а то с покаяниями-то этими и себя погубите да и другим головы не сносить. Теперь время горячее. Кто кого смога, тот того и за рога. Она не придушит, ее придушат.

— Ох, Иван, какие речи ты говоришь! — с притворным ужасом воскликнула боярыня и даже лицо рукой закрыла, точно от страшно-

го видения.

— Чего хитришь-то? Сама все лучше меня знаешь, — резко сказал князь.

Челяднина в смущении глянула в сторону и потушилась.

— Что это только у вас, у баб, за обычай душой кривить, — с насмешливостью проговорил он. — Государыня великая княгиня плачет, глаз не осушаючи, словно и точно наглядеться не могла на старого мужа и свет ей постыл без него теперь; ты вот слов моих испугалась, что людей душить надо, чтобы самих они не задушили, а сама прежде меня это же передумала, об этом только и хлопчешь, чтобы самой дышать вольней было.

Он поднялся с лавки, захватил свой колпак и проговорил решительным тоном, не терпящим возражений:

— Скажи государыне великой княгине, что мне ее ныне беспременно видеть нужно. Как стемнеет, я приду к тебе.

Он пошел, потом, вспомнив что-то, сказал:

— Да, сегодня князь Борис Горбатый у государыни великой княгини, верно, будет по делу. Пусть выслушает. Так и скажи, а то, пожа-

луй, и его на глаза не пустит ради слез-то своих

— Насчет князя Юрия Ивановича? — топорливо спросила Челяднина. — Так мне и сказывали, так...

— Узнаешь потом, как скажет князь Борис все, что надо, — перебил ее брат сухо.

Он снова трижды поцеловался с сестрою и ушел.

Она не успокоилась, а еще более встревожилась. Слух о том, что князь Андрей Михайлович Шуйский подговаривал на что-то князя Бориса Горбатого, смутно уже дошел до нее через холопов, подслушавших разговор двух князей. Теперь брат сказал, что князь Горбатый придет к государыне, значит, точно слухи верны и у князя Горбатого есть что сообщить великой княгине. Но что он сообщит? Грозит ли государыне серьезная опасность, или просто так сплетни какие-нибудь ходят? Ничего она не знала...

Князь же Горбатый не шел, а вместо него неожиданно-негаданно явился князь Андрей Шуйский, видимо встревоженный и растерянный. Он стал чуть не со слезами просить

повидать государыню великую княгиню по важному, неотложному делу. Боярыня Челяднина косо посмотрела на него, зная, что от князей Шуйских добра нечего ждать, а от этого и подавно. Тем не менее князь, после переговоров боярыни Челядниной с великой княгиней, был допущен к последней.

Елена Васильевна была прекрасна по-прежнему и изменилась за последние дни мало. Но у нее были красны от слез глаза да во взгляде было что-то особенное: она смотрела так холодно и безучастно, точно ей все опостылело. При виде ее князь Шуйский униженно поклонился, касаясь рукою пола.

— Что случилось, князь, сказывай, — сухо спросила она.

— Недоброе дело затевается, государыня великая княгиня, — заговорил князь, переминаясь с ноги на ногу и вертя в руках свой колок. — Недоброе злодеи замышляют. Пришел уведомить тебя, государыня великая княгиня. Князь Юрий Иванович подослал ко мне дьяка своего Третьяка-Тишкова на службу к себе звать.

— Не о делах мне теперь говорить, — заго-

ворила певуче великая княгиня, — в горести моей глаз я от слез не осушаю, а дела бояре ведают...

— Да дело-то такое, государыня, что себя самого мне обелить надо, — горячо продолжал князь Шуйский, — так как ни в чем я не повинен. Перед Господом Богом клятву готов дать, что не повинен. Прислал он, князь-то Юрий, Третьяка-Тишкова, а я ему: «Князь ваш вчера крест целовал великому князю Ивану, и государыне добра ему хотеть, а теперь людей от него зовет». А он-то, Третьяк-то, мне на это: «Князя Юрия бояре приводили заперши к целованию, а сами ему за великого князя присяги не дали, так что это за целование? Это невольное целование!»

— Грех князю наших людей к себе сманивать, — печально проговорила великая княгиня и исподлобья пристально взглянула на князя Шуйского. — Да его это дело, не наше. Пусть князья и бояре об этом рассудят.

— Я тебе, государыня, потому и пришел сказать, что неровен час... Ты, вон, изволишь говорить: пусть князья...

В эту минуту слышались шум шагов и

звуки мужских голосов в соседнем покое.

Боярыня Челяднина поспешно вошла в комнату и шепнула великой княгине, что идут думные бояре и с ними князь Борис Горбатый. Спешное дело у них. В движениях боярыни было что-то не в меру торопливое, какая-то несвойственная ей суетливость. Любопытство, недоумение, безотчетный страх, все это перемешалось в ее душе. Великая княгиня, сохраняя свой невозмутимый вид, со вздохом, точно тяготясь делами, приказала допустить пришедших. Бояре вошли с низкими поклонами и, увидав князя Шуйского, разом заговорили:

— А вот и князь Андрей Михайлович налицо.

— Не ждали встретить!

— Кажись бы, не место тут быть! Чай, в Дмитрове ждут не дождутся!

— Поторопился!

Князь побледнел, поняв, что князь Борис Горбатый успел уже донести если не великой княгине, то боярам про его речи, успел сделать то, чего именно и боялся он, князь Шуйский. Сделанная им оплошность была непо-

правима. Бояре, переглянувшись между собою, сказали:

— Пусть князь Борис говорит!

Князь Борис Горбатый немного замялся, стал откашливаться в руку, чувствуя неловкость говорить при князе Андрее Шуйском все то, что он сейчас очень бойко и развязно рассказывал без него этим самым боярам. Однако он заговорил, немного путаясь и запинаясь:

— Я что ж, я все повторю, что сказал князьям и боярам. Он, вон, князь Андрей, подбивал меня на отъезд к князю Юрию. «Поедем, говорит, со мною вместе, а здесь служить — ничего не выслужишь». Потом сказывал: «Великий князь Юрий сядет на государство, а мы к нему»...

— Я тебе, государыня, уже сказывал, — торопливо перебил князя Горбатого князь Андрей Шуйский. — Не я эти речи...

— Нет, ты, князь, помолчи, твоя речь впереди, — остановили его разом окружающие.

Князь Горбатый продолжал:

— Так вот, говорил он: «Если мы к нему, к князю Юрию, раньше других отъедем, то мы у

него этим выслужимся».

— Облыжно это он, государыня, на меня клевет, — заговорил в волнении князь Андрей Шуйский. — Стыда в глазах у тебя, князь, нет. Бога ты не боишься! Сказывал я тебе, государыня, сам, что меня подговаривал в отъезд Третьяк от князя Юрия...

Кто-то из бояр заметил:

— Да про князя-то Юрия уж везде толкуют, будто шепчут ему: «Отъезжай в Димитров, отъезжай, там никто тебя тронуть не посмеет, а здесь не минуешь беды».

— Как и миновать, когда в отъезд сманивает государевых слуг, — раздался чей-то голос.

— «Я, говорит, приехал в Москву закрыть глаза государю брату, и клялся в верности племяннику моему, и не преступлю целованию креста его», а сам вот что затеял.

— А я тебя не подговаривал, князь, — горячился князь Андрей Шуйский, обращаясь к князю Борису Горбатову, — а сказывал только, что и здесь государыне говорил про Третьяка. Крест-то на вороту у тебя есть или нет?

— Нет, подговаривал на отъезд, да испугался и убежал к государыне великой княгине

обелить себя, увидав, что не на того напал, — ответил князь Горбатый. — Думал, что я с тобой заодно стоять стану, либо погубить меня же хотел... Не разберешь вас тоже!

Бояре, поглаживая бороды, мялись на месте и не знали, что делать. Они, казалось, забыли, что правителями являются собственно они, а не великая княгиня, и что дело это должно решить они. Поговорив между собою, они обратились к великой княгине:

— Что положишь, государыня, то и будет. Решай сама.

Великая княгиня поднесла к глазам вышитую ширинку, отирая слезы.

— Что мне приказывать в горе моем неутешном? Сорочин еще по государе нашем не справили, а уж этакое дело затеяли...

Она, осушив слезы, мягким голосом добавила тоном упрека:

— Вчера вы крест целовали сыну моему на том, что будете ему служить и во всем добра хотеть, так вы потому и делайте. Если народилось зло, не давайте ему разростись. А я — что же могу сказать вам, глаз своих от слез не осушаючи...

Князь Андрей Шуйский бросился к великой княгине с мольбой:

— Матушка-государыня, я тебе сказывал про свое дело...

Она тихо замахала рукой, останавливая его:

— Как князья и бояре рассудят, так и будет, а мое дело женское, вдовье, глаз не осушаячи, горе мое горькое оплакивать.

Она, отирая слезы, ушла неторопливой грациозной поступью, с опущенною на грудь головой.

Князья и бояре, оставшись одни, зашумели, заговорили разом, в то время как князь Андрей Шуйский и князь Борис Горбатый сцепились друг с другом, ругая один другого уже без всякого стеснения. Князья и бояре стояли за крутые меры. Схватить надо князя Юрия. Всегда он был врагом государя великого князя. Не раз бояр, зазывал к себе в отъезд. И князь Андрей Михайлович Шуйский пробовал уже отъезжать и посидел за это в башне. По обыкновению начали вспоминать прошлое, перебирая отдельные случаи отъездов к князю Юрию. Без этого в те времена не обхо-

дились никакие обсуждения дел, что и затягивало разговоры до последней степени. Решили, наконец, что если теперь не схватить князя да его слуг — хуже будет. Бояр охватил какой-то подавляющий страх, точно все должно было погибнуть. Они знали, что князь Юрий и умен, и речист, и обходителен с людьми, и смел. Захватит власть он в свои руки — все перевернется в государстве. С таким противником шутить нельзя, и надо действовать круто.

Уже к вечеру и князь Юрий, и князь Андрей Шуйский, и приближенные князя Юрия сидели в тюрьмах. Князю Юрию пришлось сидеть в той самой палате, где в нужде и в голоде кончил свою несчастную жизнь его племянник юный великий князь Дмитрий Иванович. Предзнаменование было страшное.

В тот же вечер боярыня Челяднина с растерянным видом поджидала в своей комнате брата, сидя пригорюнившись у стола и покусывая свои полные губы. Она немного побаивалась брата, зная его бешеный нрав, а никаких хороших вестей она не могла сообщить ему в этот вечер. Вспылит он, раскричится.

Ну, да пусть бы покричал на нее, это ничего еще, а то он в горячности на все готов, на самую государыню великую княгиню обозлиться готов за то, что та ему не показывается на глаза. Боярыня Челяднина покачала головой и проворчала:

— И чего уж она в самом деле так-то убивается? Ну, еще при народе, так оно так и следует. А при нас-то что глаза портить?

Она сердито поджала свои губы и, опять качая головой, со вздохом заметила:

— А уж и хитра же она. Где нам с ней равняться! Всякого проведет. На Литве научилась...

Послышались шаги.

Князь Иван пришел как раз в назначенное время и по суетливости, по особенной ласковости сестры угадал сразу, в чем дело, и нахмурился. Поздоровавшись с нею и сев на лавку к столу, он коротко спросил:

— Что государыня?

— Разнемоглась совсем, недужится ей, започивала голубушка, — торопливо промолвила боярыня сладким и певучим голосом.

— Вот как! С горя, должно быть, велико-

го, — насмешливо сказал он и стал барабанить пальцами по столу, как обыкновенно делывал это в минуты досады. — Как бы от нее все слуги верные не разбежались, от недуга-то ее.

Он мрачно нахмурил брови и смолк в раздумьи. Сестра, перепуганная его намеком, с смиренным видом подседа к нему и начала медовым, вкрадчивым тоном:

— Ваня, ты послушай меня, голубчик ты мой родной. Не круто ли ты оглобли-то повернуть хочешь? Тише-то вернее. Скоро не спору. Верь ты моему слову...

Он засмеялся тихим злым смехом.

— Ты что поешь-то? С кем говоришь? — проговорил он, с явной насмешкой глядя на нее. — Я вашу сестру не знаю, что ли? Вас с наскоку да с набегу только и можно оседлать. Станешь к вам подходить с опаскою да с оглядкою — высмеете вы же да в дурацкий колпак нарядите. Ходи, мол, гуляй в нем, добрый молодец, по городу на потеху людям, а нам бабья в мужицком кафтане не надобно...

Боярыня вздохнула.

— Что говорить, правда! — согласилась

она. — Любим мы, бабы, того, кто над нами верх берет...

Князь Иван презрительно усмехнулся.

— Ну, да об этом нечего толковать теперь, — решительным тоном сказал он, трянув головой. — Нездорова государыня — что ж делать, подождем, пока лихая болезнь соскочит. Авось не помрем с горя... А ты вот что скажи. Была ты тут, когда бояре да князья приходили?

— Была, была, как не быть, — торопливо заговорила боярыня Челяднина, обрадовавшись, что все кончилось, по-видимому, благополучно. — Князь-то Юрий каков, да и князь Андрей тоже...

Брат нетерпеливо перебил ее:

— Все люди как люди, только у одного выгорит, у другого нет. Дело не в том, а ты скажи, как было все, что государыня говорила.

Челяднина, пододвинувшись к брату, заторопилась рассказывать, что она видела, что подглядела, что подслушала. По мере того, как она рассказывала, лицо ее брата принимало странное выражение. Оно смотрело и угрюмо, и насмешливо.

— Так! Опять схитрила, опять прикинулась! — наконец промолвил он резко. — Думает, что так хитростью да притворством из всякого дела сух выйдешь. «Делайте как знаете», — передразнил он голос великой княгини. — А как бы бояре-то пальцем князя Юрия не тронули бы, а отпустили бы в Дмитров, ступай, мол, голубчик, на все четыре стороны, тогда что бы она заговорила?

— Что ж, Ваня, наше дело такое, бабье, слабое, по воле хитришь, — вступилась за великую княгиню Челяднина.

— Нет, у нее уж нрав такой, на Литве, видно, привыкла личину носить;— сказал он, перебивая сестру, — где женской слабостью прикроется, где заголосит вовремя, где слезами сердце разжалобит...

Он поднялся с места.

— Удали нашей нет, на пролом идти не умеет... Ох, кабы она, как я...

Он удало махнул рукою.

— Ну, да чего нет, того и не спрашивай. Слава Богу, что нынче все благополучно закончилось. За нее весь день промаялся. Ну, да кончено, так и толковать нечего. А там даль-

ше увидим, что делать надо, как поступать. Впереди-то еще не на одну рогатину натыкаться придется.

Он простился с сестрой и пошел, гордый, решительный, смелый. Она, любовно смотря на него, понимала, что в такого молодца каждая может влюбиться. Она пошла провожать его и, что-то вспомнив, спросила:

— А что ж я и не спрошу, глупая, что жена твоя, в добром ли здравье?

Он усмехнулся и ответил небрежно:

— Что им делается, нашим-то женам! Здорова!

— И Федюша ваш здоров?

— Здоров!

О своей молодой жене и первенце-сыне князь Овчина говорил неохотно, как о лицах, о которых ему не хотелось бы и вспоминать. Его мысль была поглощена теперь одною женщиной — великой княгиней Еленой Васильевной. Ради нее он был готов на всякие безумства, на всякие преступления, на самую смерть. Все в ней обольщало его — ее красота, ее горячность, ее легкомыслие, и даже то хорошо известное на Литве женское уменье

хитрить и лукавить, которое он так порицал в разговоре с сестрой. Оно дразнило и возбуждало его.

ГЛАВА VI

Аресты родного дяди малолетнего великого князя и именитого боярина князя Андрея Ивановича Шуйского произвели известное впечатление среди московского населения. Московские торговые люди и чернь не походили еще в то время на новгородских людей, давно привыкнувших интересоваться общественными делами и принимать в них участие. В царствование Ивана Васильевича III и Василия Ивановича москвичи жили своею замкнутою жизнью и более или менее безучастно смотрели на распоряжения и действия правительства. Теперь же, когда на престоле был малолетний великий князь, правление находилось в руках молодой женщины и бояр, когда все не без тревоги смотрели на неизвестное будущее — неожиданное событие, происшедшее через неделю после смерти великого князя и не обещавшее ничего доброго впереди, вывело людей из их обычного рав-

нодушая и заставило судить об этом деле вкривь и вкось. На торговых площадях и в местах сборищ гуляющих людей только и говорили, что о нем.

— Не успели похоронить государя, а уж изменное дело затеяли, — рассуждали люди. — Известно, великий князь малолетен, а за него мать да бояре правят, как тут не половить рыбу в мутной воде.

— А еще родной дядя прозывается, — говорили другие. — Что ж от чужих-то ждать, коли свои насупротив государя идут.

— А ты подожди, не то еще будет, — раздавались угрожающие голоса. — Бояре себя еще покажут, да и от Глинских нечего добра ждать. Свою челядь унять не умеют, озорничает так, что житья нет.

— Известно, сродственники государя господа, так и холопы в родню с ним лезут, — подсмеивались шутники.

— Пока шеи не сломают, поозорничают!

Брожение было неясное, смутное, но не предвещавшее ничего доброго.

Не менее смутное впечатление произвело это событие и при дворе. Одни, готовые все-

гда радоваться чужой беде и льстить сильным, говорили, что так и надо было поступить, как поступили правители, так как государство находится в руках молодой беспомощной женщины и малолетнего ребенка, а потому всякая смута является тем более опасною и преступною. Другие, устраняя с дороги князя Юрия Ивановича, мечтали о захвате власти в свои руки, так как великая княгиня Елена, увидав измену, сознает необходимость опереться на чью-нибудь твердую руку. Третьи, всегда подозрительные и ищущие тайных пружин, шептались, что все это дело нечистое, что тут происки князя Бориса Горбатого и кого-то еще, кто руководил самим князем Горбатым, может быть князя Овчины, боярыни Челядиной, одним словом, самых близких к великой княгине людей. Наконец, были и такие трусливые по натуре люди, которые просто испугались этого происшествия: добра нечего ждать, если через неделю после смерти великого князя смуты начинаются и даже его единоутробный брат не находит пощады. Но в редких толках князей и бояр не проскальзывало опасений за свою соб-

ственную безопасность, личных расчетов на выгоды, корыстных соображений. Искренние чувства: приязнь, преданность, любовь, сознание долга — являлись в это глубоко безнравственное время только в редких исключительных личностях, только в редких исключительных семьях.

Такою семьею была семья боярина Степана Ивановича Колычева.

Сам боярин Степан Иванович был сознательно предан государям, видел в объединяющем Русь самодержавии благо отечества, не употреблял никаких происков для достижения власти. Его домашние вполне разделяли взгляды главы дома, верные духу времени, правилу во всем подчиняться старшему в семье. Когда арестовали князя Юрия Ивановича, старик Колычев увидал в этом просто исполнение печальной необходимости защитить престол от смут. Сам он не играл никакой выдающейся роли ни в этой истории, ни в правлении этого времени, не лез вперед. Тем более порадовало его то, что его сына неожиданно назначили в это время в числе других молодых боярских детей состоять при

малолетнем великом князе. Он сообщил об этой радости своим домашним и, видя грустное выражение лица сына, серьезно напомнил ему, что долг его служить государям и что давно пора ему приблизиться ко двору. Возражений отцам тогда не делалось детьми, подчинение родительской воле было полное, и молодой Федор Степанович молча выслушал свой приговор: поступление ко двору было для него чем-то вроде строгого приговора, тяжелого наказания.

Печальный сидел он в своей комнате, чувствуя с горечью, что теперь его оторвут от его дорогих книг, от его любимых занятий, когда к нему вошел Гавриил Владимирович Колычев. По лицу пришедшего было видно, что он сильно чем-то встревожен и озабочен. Он поцеловался трижды с хозяином и стал в волнении ходить по комнате.

— Сейчас сказывали, что к государю великому князю тебя берут. Поздравил бы тебя, да не с чем, — заговорил он отрывисто в сильном возбуждении. — Милость хуже казни!

— Да что же, я и не скрываюсь, что невесело мне, — ответил Федор Колычев. — Не при-

вычен я к их порядкам, к их жизни. Да и свое дело забросить придется.

Гавриил Владимирович махнул рукою, проворчав:

— Всем не сладко!

И через минуту, как бы поясняя свою мысль, прибавил:

— Тебе вот в государевых хоромах торчать по целым дням теперь нужно будет, а я только о том и думаю, как бы целым и вовсе из Москвы уйти.

— Случилось что? — заботливо спросил хозяин.

— О князе-то Юрие слышал? — спросил Гавриил Владимирович вместо ответа.

— Как не слышать, вся Москва знает, — ответил Федор.

— Теперь, значит, за кем черед? — спросил Гавриил Владимирович, вопросительно взглянув на него. — За князем Андреем Ивановичем. Одного сбыли, теперь другого постараются сбыть с рук.

— Ну, князь Андрей ничего не замыслит против государя, — сказал Федор Колычев.

Гавриил Колычев загорячился:

— Простота ты! Право, простота! Разве им нужно, чтобы виноват в чем человек был. Им сжить нужно человека, вот и все. Близкие люди князя Андрея Ивановича уж все это смекают, сегодня еще говорили ему, чтобы ехал скорей в Старицу подобру-поздорову. Так нет, сорочин, видишь, дождаться хочет, толкует, что припросит у великой княгини городов себе. Нашел время просить! Теперь благодарить Бога нужно и за то, что жив да цел остаешься. И добро бы еще сам он не понимал или храбер был через меру. Так нет, суется везде, мечется, выспрашивает, не серчают ли на него, а ехать не едет.

Он усмехнулся.

— Так тоже ему и скажут, таят против него злобу или нет. Не дураки тоже. А как нужно будет, подошлют недоброго человека, наплетут на князя, чего и во сне он не видал, — и конец. Да и наплести-то на него не трудно. Прост он больно и с трусости сам на себя лишнее наговорит.

Он сердито сплюнул.

— Эх, дела! Не смотрел бы ни на что! Кажется, сотню земных поклонов отобью, когда

отсюда вырвусь. Вон мой Ермолай, дальше своей конюшни, кажись, и не видит ничего, а и тот говорит: «и когда это мы, тьфу ты, Господи, из этого ада кромешного выберемся». Больно уж испакостилась ваша Москва. Все друг другу яму роют, один сегодня в нее попадет, другой завтра. Кто уцелеет — один Господь ведает. Разве что князь Иван Федорович Овчина.

— Что так? — спросил Федор.

— Больно уж близок к постельным палатам великой княгини.

— Сестра его мамой у великого князя, — пояснил Федор Колычев.

— Да, да, она-то мамкой приставлена при великом князе, а он, почитай, что сам чуть не великий князь.

Федор в недоумении посмотрел на своего родственника.

— Говорить-то тошно, — сказал тот. — У вас в Москве такое творится, что руками только разведешь. Мужья жен в монастыри насильно ссылают, чтобы самим было свободнее на других жениться, жены чрез потворенных баб заводят шашни с добрыми молодца-

ми, а в великокняжеских хоромах, так там уж и вовсе небывалое творится.

Опять он сердито сплюнул.

— Взял бы я эту самую боярыню Агрофену Федоровну Челяднину да не так бы высек, как вдову Транхониота секли, а кнутом бы на площади отстегал.

— Что она тебе сделала?

— Не мне, а всем, всему государству. Брата своего великой княгине сосватала, вот что!

Федор Колычев с досадой махнул рукой.

— Непутное говоришь!

— А вот погоди, сам увидишь. Стоять-то близко около них будешь.

Федору Колычеву стало еще тяжелее от этих речей, еще яснее он начал понимать, что предстоит ему попасть в омут происков, корыстных сделок, нравственной распущенности. Как уцелеть чистым и незапятнанным в этом тонущем в грязи мире? Как выйти невредимым среди расставляемых на каждом шагу силков и сетей?

— Все чуждо и все чужды там, — задумчиво говорил он сам себе и снова смотрел с печалью на свой уголок, где жилось так свято,

так спокойно.

Как ново и дико показалось ему в великокняжеском дворце, когда он впервые попал туда в числе разной молодежи, детей боярских и княжеских, назначенных к маленькому великому князю. Ребенок был странен — горяч и неровен по характеру, то ласкался с женственной нежностью к приближенным, то топал ножонками и кричал на всех, как настоящий деспот; наблюдательность и память у него были замечательные, и на него производили впечатление такие мелочи, которые ускользали даже от наблюдения взрослого; каждое неосторожно сказанное слово западало в его удивительную память, а этих слов, неосторожных, циничных, развращающих, было тем более, что недаленовидные окружающие вовсе не стеснялись при ребенке, полагая, что он ничего не понимает. Среди бывших во дворце баклуши, сквернословивших, не остерегаясь ребенка, сплетничавших и ссорившихся между собою молодых развращенных боярских детей и княжат Федор Степанович Колычев сразу резко выделился своею высокою нравственностью и серьезным скла-

дом ума. Великая княгиня отнеслась к нему милостиво и даже с некоторым любопытством, так как о нем уже много говорили при дворе его дальние родственники-старики, как о человеке необыкновенно серьезном, умном и ученом, а юный великий князь сразу полюбил его, что не могло быть удивительным. Ребенок нуждался в ласке и внимании, в разумных ответах на бесчисленные вопросы и в серьезных объяснениях того, что занимало его пытливый ум. Легкомысленные и невежественные барчата не могли удовлетворить этих требований малютки, жаждавшего знаний, искавшего пояснений: они могли научить его разным мерзостям и посвятить его в грязные тайны жизни, что они и делали, не стесняясь, но Я только. Ни охоты возиться с ребенком, ни знаний не было у них. Большинство было развращено до мозга костей с самой ранней юности и оставалось не только не начитанным, но и вполне безграмотным. Федор Колычев был человеком иного склада ума, иного характера, и лучшего воспитателя не мог бы найти маленький великий князь. Но, к несчастью, мальчугану удалось далеко

не всегда быть около любимого юноши с глазу на глаз, так как его вечно окружала целая масса самых разнообразных приближенных, а положение его требовало, кроме того, чтобы он, как заведенная кукла, принимал участие в разных придворных церемониях того времени.

Страсть к этим церемониям, торжественным выходам и выездам у великокняжеского двора была чисто азиатская, да притом и великая княгиня Елена Васильевна любила представительность и пышность, и во всех этих приемах послов, торжественных выходах в церковь, пышных поездках на богомолья принимал деятельное участие малолетний великий князь, от имени которого уже писались и разные грамоты, как от имени взрослого. «Се яз князь Великий Иван Васильевич всея Руси пожаловал есми», значилось в этих грамотах, точно и в самом деле этот ребенок уже управлял вполне самостоятельно делами политики и мог давать разные льготы и преимущества монастырям.

В сущности же именно этот вопрос — вопрос, кто должен править, являлся в это вре-

мя главным яблоком раздора и из-за него боролись все во дворце, нисколько не думая о настоящем правителе-ребенке. В боярской думе ворочали делами князь Михаил Львович Глинский и Шигона-Поджогин, косились на них князья Шуйские и Вельские, а в это время в постельных палатах великой княгини созревала иная сила, при помощи происков и ухищрений боярыни Челядниной, главной пособницы князя Овчины и Елены. Князь был постоянным посетителем задней жилой половины великокняжеского дворца, своим человеком и в глазах правительницы, и в глазах маленького государя, любившего его горячо.

— Крепкая рука нужна, государыня, да рукавицы ежовые, — говорил великой княгине князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, беседуя с нею с глазу на глаз в ее хоромах, — чтобы осадить бояр да князей.

— Ах, ты все о том же и о том же, — с усмешкой заметила она. — Только у тебя и есть на уме, что дела!

— И ты, государыня! — добавил он, глядя на нее страстными глазами.

Она потупилась, застыдившись, и с улыб-

кой проговорила:

— Что ж, у тебя, кажись, рука не без силы, а ежовые рукавицы ты всегда сумеешь надеть. Ты ведь умеешь забирать людей в руки.

— Пока мне князь Михайло Львович да Шигона-Поджогин шеи не свернут, — с насмешкой заметил князь Овчина.

Она нахмурила тонкие темные брови при упоминании этих имен. Давно эти люди начинали ее раздражать своим властолюбием.

— Да, много они власти забрали. В думе среди бояр они и вершат все дела, — проговорила она и, немного стесняясь, прибавила: — А хуже того, что князь дядя меня за малолетку считает да учить хочет. Я, кажется, не на помочах хожу...

Князь Иван насторожился и с любопытством спросил:

— Учить? Уж не насчет ли меня? Она утвердительно кивнула головой.

— Разве он что знает? — не без некоторой тревог спросил князь Овчина. — Заприметил что?

— Нет, покуда кругом да около ходит. А все же шило разве утаишь в мешке? Тоже люди

добрые наплести всего готовы...

Князь Овчина неожиданно поднялся с места.

— А если и доподлинно узнает — пусть! — резко и почти с угрозой сказал он. — Ему же хуже будет.

— Да ты не тревожься! — успокоила она ласково и взяла его за рукав. — Ишь ты какой. Сядь! Придешь на часок, толкуешь все о делах да о делах...

— А ты, государыня, о чем толковать хочешь? — с луковой усмешкой спросил он, заглядывая в ее плутоватые глаза. — Тебе только приказать стоит, а я твой холоп.

Она посмотрела на него любовным взглядом.

— Холоп! Поди, не справиться бы, если бы такими холопами управлять пришлось.

— А ты попробуй!

И, переменяя тон, он страстно проговорил:

— Лебедушка ты моя ненаглядная! Радость ты моя!

Он порывисто обнял ее и прижал с силой к своей молодецкой груди.

— А уж и измаяла же ты меня за эти дни

долгие, за эти недели бесконечные, когда ты от слез глаз не осушала. Думал, и не переживу этих дней проклятых...

— Ничего, не помер, — шутливо сказала она и серьезно прибавила: — Скоро ты очень, Ваня, напролом идешь. Вот и теперь болтать стали, а тогда — да тогда и головы нам не сносить бы, если бы в те поры что заприметили... Он опять вспыхнул:

— Они не сносят головы, те, у кого уши длинные да глаза не в меру зорки...

— Ну, полно, полно! У тебя чуть что — как огонь вспыхнешь...

Она склонилась к нему на грудь головой, счастливая его любовью.

— А насчет дяди-князя, — вспомнила она опять о князе Михаиле Глинском, — так я его не боюсь и учить себя не позволю. У меня мать есть, да и та не учит, слова про тебя не скажет, братья тоже, так что мне он...

— А ну их, учителей-то этих да наставников! — молодецки проговорил князь Овчина. — И свое возьмем, и с ними управимся...

И опять он обнял ее, шепча ей:

— И где ты такая родилась? Где привора-

живать научилась?

Она смеялась и отдавалась его ласкам. В эти минуты для них, молодых, страстных, влюбленных друг в друга, не существовало ни врагов, ни опасностей.

И точно, некоторое время все шло довольно мирно.

До сорочин по великом князе Василии Ивановиче при дворе была тишина, но после сорочин первой тучкой явилось дело князя Андрея Ивановича. Он, отъезжая из Москвы, обратился к великой княгине с просьбою при- дать ему городов. Елена Васильевна наотрез отказала ему в этой просьбе и приказала, как прежде водилось, Дать ему на память о его брате шубы, кубки, иноходцев под богатыми седлами. Князь Андрей Иванович остался крайне недоволен и по своему легкомыслию начал болтать об этом. Эту болтовню подхва- тили и передали о ней великой княгине. Она не обратила на это особенного внимания и, когда князь Андрей уехал в Старицу, смеясь, Рассказывала об этом князю Овчине, заходив- шему теперь к ней ежедневно коротать тай- ком от всех долгие счастливые часы запрет-

ной любви. Он небрежно ответил:

— Князь Андрей и умом не богат, и силы у него нет, Ровно у бабы, а все же разузнать не худо, не замышляет ли он чего...

— Плетут-то много чего, — заметила она. — Сказывали тоже и ему, что схватить его здесь хотят.

— Хотели бы, так схватили бы. Ну, да у него ума мало, чай, поверил, что хотели схватить, да побоялись...

— Послать нешто кого к нему да приказать сказать, что все это пустое...

Они перебрали, кого послать, и остановились на князе Иване Васильевиче Шуйском и дьяке Меньшом-Путятине. Те поехали уговаривать князя не тревожиться пустыми слухами. Но князь заупрямился, капризничая, как капризничают слабые люди, вообразив, что их боятся и потому хотят мириться с ними, и стал требовать письменного удостоверения от великой княгини в том, что она ничего не имеет против него. Много смеялись в покоях, Елены над этой взбалмошной выходкой бессильного, но распетушившегося человека. Тем не менее его потешили, дали ему пись-

менное удостоверение, и он опять приехал в Москву для объяснений. Елена пригласила митрополита в посредники.

— Дошел до меня слух, — говорил князь Андрей, — что государь великий князь и ты, государыня, хотите на меня положить опалу.

— И до нас тоже слухи дошли, что ты на нас сердит, — ответила Елена, едва сдерживая смех, — а ты бы в своей правде крепко стоял, а лихих людей не слушал да объявил бы нам, что это за люди, чтоб вперед между нами ничего дурного не было.

Князь Андрей замялся и стал отнекиваться:

— Не говорил мне никто, а самому мне так показалось.

Елена усмехнулась:

— Не знаю, с чего тебе мысли эти в голову пришли, а мы против тебя ничего не имеем.

Митрополит Даниил сказал, что он готов быть свидетелем и поручителем за обе стороны и тут же предложил князю Андрею дать запись.

Запись князь дал и клялся исполнить заключенный им с государем великим князем

договор не утаивать ничего, что ни услышит о великом князе и его матери от брата, князей, бояр, дьяков великокняжеских или своих, ссорщиков не слушать и объявлять о их речах государю и его матери.

И великая княгиня, и князь Андрей обнялись и облобызались. Митрополит Даниил торжественно благословил их на мир и согласие. Затем князь Андрей уехал снова в Старицу, малодушно жалуясь, что запись-то у него все-таки вытянули, городов же не придали, а великая княгиня опять смеялась над легкомысленным и недалеким князем Андреем.

— Да об нем и толковать нечего, — сказал князь Овчина, смотревшийся особенно тревожным и озабоченным, несмотря на веселое настроение великой княгини, которая заговорила с ним поздним вечером о князе Андрее. — Не он меня страшит, а вот сейчас вести получены, что мы в Серпухов послали князя Семена Вельского да окольного Ивана Ляцкого войско готовить на случай войны с Литвою, а они сами в Литву сбежали...

— Так что ж бояре да князья смотрели? — запальчиво воскликнула Елена Васильев-

на. — Одни были Вельский и Ляцкий, что ли? Малый конец пришлось им сделать, что нельзя было доглядеть, задержать вовремя?

— Ну, упустили — не поймаешь их, — коротко и мрачно сказал князь Иван и прибавил: — Теперь надо вот здесь пошарить, соучастниками кто не был ли. Плохо у нас смотрят, что под носом делается.

— Как плохо! — с насмешкой перебила Елена Васильевна и сильно оживилась. — Вон князь Михаил Львович все видит, все знает. И через какое крыльцо ты пришел, и когда из хором вышел, и долго ли со мной сидел. Пологом постели, и тем от него не укроешься. Грех, видишь, душе и стыд великий, что я, молодая, тебя, ненаглядного, пуще жизни полюбила. Святоша какой нашелся! Владыко — и тот мне словом об этом не обмолвился, а поди, и ему в уши шепчут про тебя. Мать родная и та молчит, братья с тобой дружат. А он, благо дядей доводится, вздумал учить. Да никому я не позволю за мной подглядывать! И кто еще вздумал на путь наставлять? Князь Михайло Глинский! Сам-то как жил? Чай, знает, что в чужих-то землях чуже-

мужние жены в теремах не сидят, и не перестарком он был, когда на них засматривался.

Она, видимо, была встревожена и, чего не замечалось в ней прежде, высказывалась теперь без стеснений, не прикрываясь личной. Было видно, что ее задели за самое больное место, хотели стеснять именно в том, в чем она никогда не потерпела бы никаких стеснений. Князь Иван Федорович в свою очередь вспылил.

— Не пора ли покончить с этим? — резко сказал он. — Мало князю того, что он забрал все дела в руки, что при нем все бояре и князья молчат, так ему еще занудобилось в твою опочивальню заглянуть, у замочной скважины твои речи ночью подслушать?

И, переменяя тон, он с злой насмешкой сказал:

— А и то сказать: он тебе дядя, ему языка не припечатаешь, захочет, чтобы ты монашкой жила, — и будешь так жить. Меня еще, пожалуй, в башню засадит голодной смертью умирать.

— А! Что ты мне сказки рассказываешь! — резко перебила его великая княгиня. — Сам

знаешь, что все это вздор. Не им тебя в башню засаживать!

Она поднялась с места, вытянулась во весь рост и, ударяя себя в грудь, гордо произнесла:

— Я государыня, я и делаю, что хочу! Указа для меня нет, а кому не нравится меня слушать, тому и уши можно завесить, так что уж ничего они не услышат...

Князь Иван оживился, любуясь энергией великой княгини, и страстно воскликнул, притягивая ее к себе:

— Вот какую я тебя, лебедь моя белая, люблю! Душу за тебя отдать я готов и тело на раздробление, когда настоящей государыней тебя вижу, а не слабою лукавящей женщиной.

Она засмеялась и, припав к нему, тихо и вкрадчиво сказала:

— А разве всегда-то можно правду говорить да то делать, что хочется? Кабы можно было, сидели бы мы рядом с тобой на престоле при всем народе, не миловались бы здесь тайком да воровски в ночи темные.

Она вздохнула и прибавила:

— Ох, не легко тоже с нашими боярами ладить, иногда и слукавишь поневоле. Те-

перь-то бояться нечего: за изменное дело они и сами готовы будут наказать виновных по-творщиков Вельского да Ляцкого, а что до дяди, так он да Воронцов, дела все в руки захвативши, теперь поперек в горле у них самих стоят. Рады будут все, если им руки развяжу.

— Да, с князем Михаилом Львовичем покончить надо, — сказал решительно князь Овчина, давно уже точивший зубы против старика, который то и дело читал наставления племяннице о том, что она роняет и свой сан связью с князем Иваном. — Или. он, или я; два медведя в одной берлоге не уживутся.

На следующий же день правительница и бояре приказали схватить князя Ивана Федоровича Вельского и князя Ивана Михайловича Воротынского с юными сыновьями за соумышленничество с бежавшими в Литву князем Семеном Вельским и Иваном Ляцким. Князя Ивана Вельского схватили в Коломне, где он учреждал в то время стан для войска, и привезли в Москву и так же, как и князей Воротынских, в оковах посадили в тюрьму. Открытого суда над обвиняемыми не было...

Это было в августе.

В августе же, когда никто не успел еще опомниться от крутой расправы с соумышленниками беглецов, князь Михаил Львович Глинский был обвинен в том, что он замыслил овладеть государством вместе с ближним боярином Михаилом Семеновичем Воронцовым. Все знали, что подобного замысла не было, хотя князь Михаил Львович и ворочал всеми делами, как человек близкий к великой княгине, как старый и опытный делец. Бояр и князей охватил страх, но, разъединенные, завидующие один другому, подкапывающиеся один под другого, они не смели и не желали вступаться за опальных. Некоторые просто радовались устранению с дороги выдающихся людей. Особенно ликовали князья Шуйские: опала постигла их исконных врагов князей Вельских и устранила с дороги настоящего главу правления, князя Глинского. Они теперь были первыми, если не считать князя Овчину. Говоря о князе Овчине в своем кругу, князья Шуйские как-то зловеще презрительно посмеивались над его силой.

В сентябре все узнали, что князь Михаил Глинский умер в тюрьме, — голодной смер-

тью, как толковали все. Его тело вывезли без всяких почестей и схоронили за Неглинною в церкви св. Никиты. На другой день после этих, более чем скромных похорон, князь Овчина пробирался по обыкновению из хором великой княгини. На пути его остановила боярыня Челяднина. Подремывая, она сидела в комнате на лавке, пригорюнясь и опустив голову на руку. Князь удивился:

— Ты чего не спишь!

Она немного замялась, потом уклончиво ответила:

— Так, не послалось!

И тут же прибавила:

— Не спится иной раз, как на сердце кошки...

Он немного раздражился на сестру, вечно говорившую не прямо, а с подходцами.

— Говори ты, что хотела сказать, — отрывисто приказал он. — Зачем меня караулила?

— Да вот что, Ваня, сказать я хотела тебе: неладно это, что прах-то князя Михаила Львовича, ровно падаль, бросили, — заметила боярыня Челяднина князю Овчине.

— Зачем бросать; по православному обы-

чаю у Святого Никиты схоронили, — с усмешкой ответил он, — Во сне, что ли, что видела?

— Тебе шутки все да смешки, — сказала боярыня совсем недовольным тоном, — а сам знаешь, что говорю правду. На мертвом-то уж нечего гнев держать. Он из гроба не встанет.

— Да ты с чего заговорила о князе-то? — спросил серьезно князь Овчина. — Жаль тебе его, что ли?

И уже совсем презрительно он добавил:

— Я ведь тебя знаю, даром ты пустых речей не станешь говорить, тоже и жалеть князя тебе не с чего. Умер и слава Богу, с дороги лишнее бревно сдвинуто. Уж не хитрила бы, а говорила бы прямо. Да и спать мне пора — засиделся...

Она отвернулась в сторону, избегая его взглядов.

— На Москве ртов много, — пояснила она. — Везде только и речей, что про это, как деда государева, как собаку, прости, Господи, бросили. И на торговых площадях, и среди гуляющих людей, везде точно в улье жужжат. Прежде не говорили, помалчивали, а нынче...

Она безнадежно махнула рукой.

— Сказывать-то не хочется... А что про это дело толкуют, так и нельзя не говорить. Народ-то тоже все православный, обычаи да порядки все знают. Не для чего вожжи-то без пути натягивать.

— За живых не заступятся, а мертвых жалуют, — сказал с презрительной насмешкой князь Иван. — Ну что ж, мы и с почестями можем его похоронить, если надо.

И, смеясь натянутым смехом, он потрепал по плечу боярыню.

— А ты у меня молодец баба. Здесь сидишь, а на десять верст слышишь, и на площади, и в кабаках...

— Что ж, для тебя же стараюсь. Вы-то с государыней голубями воркуете, а надо кому-нибудь за вас и на стороже стоять, — ответила боярыня с легким укором. — Ты бы вон послушал, что народ говорит про челядь князей Глинских, как она бесчинствует. Тоже узнал бы, что из палат Шуйских выносят холопы про тебя да про великую княгиню...

— Так до утра бы не кончить, — пошутил он и стал прощаться с сестрою.

Они поцеловались трижды, и он ушел. На

следующий же день отдано было приказание: приготовить для князя Глинского новую могилу. Вырыли гроб и отвезли его не без торжественности в Троицкий монастырь, где было приготовлено более приличное место успокоения для деда государя.

Покуда совершалось все это, покуда исчезали эти люди, маленький великий князь подрастал и внимательно вслушивался в окружающие его толки об изменах, о злых людях, о тюрьмах, о наказаниях. Жалобы на козни тех или других бояр, недовольство проделками этих людей, опасения перед попытками изменников бежать на Литву, все это западало в его душу и пробуждало враждебные чувства.

— Семен Вельский и Иван Ляцкий изменники? — строптиво допрашивал он у своего друга Федора Колычева, сверкая глазенками.

Приходилось объяснять ему, что они точно изменники.

— А Иван Вельский и Димитрий Воротынский тоже изменники? — продолжал он допрашивать.

И с этим нужно было соглашаться, потому

что эти люди уже сидели в тюрьмах

— А кто деда Михаилу извел? — неожиданно задавал ребенок трудный вопрос.

Отвечать было невозможно, но ребенок и не ждал ответа, решив своим, быстрым и сметливым умом:

— Бояре извели! Все бояре!

И, горячась, он топал ногами, говорил, что он государь, что он покажет боярам, как платятся за измену. Тюрьмы, оковы, битье кнутом, все это уже было известно ему из ежедневных толков окружающих. Он уже любил являться среди пышной обстановки, чувствуя, что он государь, и в запальчивости любил причинять другим боль, чтобы они чувствовали, что значит противоречить ему. Колычев старался смягчить и успокоить гнев ребенка, ласкал его, говорил ему о любви к ближним и о подвигах великих людей и слуг отечества. Но эти беседы прерывались, и ребенка вели на торжественные церемонии...

ГЛАВА VII

В великокняжеском дворце шли оживленные приготовления к большому торжеству. Готовились принять бывшего царя казанского Шиг-Алея.

Шиг-Алей уже давно попал в немилость; он был сослан еще при жизни великого князя Василия Ивановича. Когда на Казанский престол возвели брата Шиг-Алея, Еналея, Шиг-Алею дали в удел Каширу и Серпухов. Однако Шиг-Алей этим не удовольствовался и, добиваясь престола, стал пересылаться с Казанью без ведома великого князя. Его свели за это из Каширы и Серпухова и сослали в заточение на Белоозера. Церемониться особенно с этим русским вскормленником не считали нужным. Но времена переменились: Еналей был убит возмущившимися казанцами; царем казанским провозгласили Сафа-Гирея крымского, врага московского государства. Тогда в Москву приехали с Волги казаки и городские татары и рассказали, что к ним приезжали казанские князья, мурзы и казаки, и заявили, что они составили заговор, решившись про-

силь у московского государя, чтобы он простил Шиг-Алея, призвал его в Москву, а они тогда поднимут бунт и выгонят крымского выходца Сафа-Гирея, провозгласив царем казанским Шиг-Алея. Потолковали московские правители, услышав эти вести, и было решено простить Шиг-Алея. Надеялись, простив его, возвести его на казанский престол и дать урок крымцам. Беспокойные и неугомонные крымцы были искони нашими опасными врагами, и теперь казалось вполне возможным дать им отпор.

Не надеяться на удачу было нельзя: главные вожаки и представители московской власти были молоды, отважны и задорны, а удачные дела с Литвою показали, что сил у нас еще довольно.

Старик Сигизмунд тотчас же после смерти великого князя Василия Ивановича начал войну, надеясь, что в Москве начнутся непременно смуты, так как государство досталось малолетнему великому князю. Но он жестоко ошибся в этом и не рассчитал в то же время своих собственных сил. Он был стар, войска собирать в Литве было нелегко, а во главе

русских войск стояли такие опытные предводители, как Василий Васильевич Шуйский, и такие молодые головы, как князь Иван Овчина и князь Борис Горбатый, которые сумели и выказать свои военные достоинства, и доказать, что им было непочем жечь города и деревни, резать и грабить мирных жителей. Подвиги опытных полководцев и набеги сорвиголовой шайки молодых головорезов Оболенских и Горбатовых, несмотря даже на обычные пререкания и ссоры из-за старшинства между старыми боярами, дали нам перевес в войне с Литвою и заставили старика Сигизмунда изменить высокомерный тон и мало-помалу снизойти до всяких уступок, лишь бы заключить мир. Быть может, наши успехи были бы еще значительнее, если бы еще старые предводители не ссорились между собою и если бы не было нужды управляться в то время еще с казанцами и крымцами. Но так или иначе успехи были на нашей стороне и выгодами перемирия могли воспользоваться мы. Это не могло не поднять духа молодых правителей государства, и они теперь ликовали, предвидя, что Литва пойдет на всякие

уступки.

Опасений не было ни у кого из правящих государством молодежи. Хотя, может быть, и было чего опасаться.

Лукавая и коварная, умевшая вовремя и плакать, и прятаться за чужие спины, в то же время горячая и сластолюбивая до забвения всяких приличий и до проявления крайнего легкомыслия, великая княгиня Елена Васильевна была теперь и весела, и счастлива, чувствуя, что все покорно ее власти и что ее любимец, стяжавший себе и лавры смелого воина-победителя, всецело принадлежит ей. Он, блестящий умом, удалой, наглый, не стесняющийся никакими средствами, являлся теперь в блеске военной славы и смело управлял всем и всеми, беззаботно, не обращая внимания, сладко ли гнуться перед ним таким гордым и честолюбивым людям, как старый князь Василий Васильевич Шуйский, потомок князей Суздальских, служивший московским государям, но не перестававший злобствовать на них, как на людей, подавивших и уничтоживших удельных князей. Ему тяжело было кланяться великим князьям

московским, а тут приходилось повиноваться воле какого-то молодого выскочки. И как вылез в люди этот человек? Через любовную связь с бабой! Никогда еще ничего подобного не бывало в московском государстве. Презрения такой человек стоит, мужчиной-то его стыдно называть, а тут приходится смиряться перед ним, кланяться ему. Князю Василию Васильевичу Шуйскому не раз приходило в голову, как охотно придушил бы он эту гадину, и он с худо скрытой злобой косился на князя Овчину. Но ни Елену, ни князя Овчину это нисколько не заботило, благо такие люди, как князь Василий Васильевич Шуйский, умели таить свою злобу в глубине своей души и проявляли ее только изредка взглядом, вздохом, полусловом. Еще менее заботились о каких-нибудь домашних врагах легкомысленные братья правительницы, князя Глинские, не только бесчинствовавшие сами, но и распустившие свою челядь. За ними стояла другая молодежь, князя Оболенские, князя Горбатые, все тогдашние щеголи и кутилы, задорные, но не способные к тонкой интриге, к хитрой выдержке...

Молодость, торжествующая и победоносная, любит пышность и шум, и потому при дворе то и дело были разные торжества, пирры, церемонии, — то торжественный прием послов, то пышная поездка на богомолье, то роскошный обеденный пир, и волей-неволей при этом начало вводиться нечто новое для Москвы — сближение полов на торжествах, так как правительница везде являлась в сопровождении своих боярынь. Никогда при московском дворе не было еще такого блеска и такой пышности, какими отличался он теперь. Торжество приема Шиг-Алея должно было превзойти все другие.

Как только прибыл Шиг-Алей в Москву, его допустили к великому князю. Шестилетний ребенок, окруженный князьями, боярами, боярскими детьми и княжатами, важно уселся на трон. Присутствующие разместились по лавкам вдоль стен. Не впервые Ивану приходилось играть роль настоящего государя, и он к ней привык, полюбил ее, как любят дети блестящие побрякушки, и яркие фейерверки, и иллюминации. Уже при начале войны с Литвою к нему, как к взрослому, обра-

щался старый митрополит Даниил с торжественными словами:

— Государь, защити себя и нас! Действуй: мы будем молиться. Гибель зачинающему, а в правде Бог помощник!

Как тогда, так и теперь, маленький ребенок-государь держался важно и разыгрывал с достоинством свою роль.

Шиг-Алей, введенный в палату, униженно пал перед государем великим князем ниц и, не поднимаясь с коленей, заговорил:

— Отец твой, великий князь Василий, взял меня, детинку малого, и жаловал, как отец сына, посадил царем в Казани. По грехам моим, пришла в Казани в князьях и людях несогласица, и я опять к отцу твоему на Москву пришел. Отец твой меня пожаловал в своей земле, города мне дал, а я грехом своим перед государем провинился, гордостным своим умом и лукавым помыслом. Тогда Бог меня выдал, и Отец твой за мое преступление наказал меня, опалу свою положил, смиряя меня. А теперь ты, государь, помня отца своего ко мне жалованье, надо мною милость показал.

Шиг-Алей, человек средних лет, с скула-

стым лицом, с раскосыми татарскими глазами, с лукавым выражением лица, всегда умел притворяться и хитрить. Он, проговорив свою речь, заплакал, утирая глаза, и снова поклонился до земли. Как настоящий сын Востока, он был пронырлив и коварен, поднимал высоко голову в счастья и мог ползать у ног сильного в несчастьи.

— Встань! — приказал великий князь и поздравил Шиг-Алея к себе корашаваться, здороваться.

Шиг-Алей приблизился к нему. Они поздоровались.

— Садись здесь, — указал Иван ему на место.

Шиг-Алей сел на лавку с правой стороны великого князя.

Великий князь приказал стоявшему около него боярину принести дорогую шубу и сказал Шиг-Алею:

— Жалую тебе шубу.

Ее надели на Шиг-Алея, и великий князь отпустил его на подворье.

Это было первое действие торжественной церемонии представления прощенного Шиг-

Алея московскому государю и правительнице.

Затем, как было обусловлено заранее, Шиг-Алей стал бить челом, чтобы его допустили пред светлые очи великой княгини.

Все знали, что эта просьба будет заявлена и что представление должно совершиться. Тем не менее правительница держала совет с боярами и князьями, обсуждая, Прилично ли ей принять Шиг-Алея. Вопрос, по тогдашнему обычаю делать всякое дело медленно, обсудили всесторонне. Решили наконец, что прилично принять великой княгине бывшего царя казанского, так как великий князь мал и все правление находится в ее руках.

Назначили прием Шиг-Алея на 9 января 1536 года. Он должен был происходить на половине великой княгини в каменной приемной палате, что у Лазаря Святого. Двери из этой палаты вели на Постельное крыльцо, которое примыкало к сеням Грановитой палаты и соединялось дверью с передними переходами и Красным крыльцом.

Палата с богато расписанными стенами, с дорогими коврами, с роскошными полавоч-

никами на множестве лавок, приняла праздничный вид в день приема. Великая княгиня Елена сидела на возвышенном месте, окруженная боярынями. Бояре, как бывало обыкновенно при приеме послов, сидели по обе стороны палаты на лавках. Пышность и пестрота одежд были необычайные: соболя, бархат, камки, золото, самоцветные камни, жемчуга, все это сверкало, озаренное лучами солнца, падавшими из окон на эту нарядную толпу. Все боярыни, молодые и старые, были сильно набелены и нарумянены, у всех были покрашены не только брови, но и глаза. Полная тишина и неподвижность царствовали среди всей этой массы народа, как того требовал тогдашний придворный этикет, и всех этих неподвижных и безмолвных людей с первого взгляда легко было принять за статуи, раскрашенные пестрыми красками и одетые в дорогие златотканые одежды, опущенные соболями и униженные дорогими камнями и жемчугом.

Шиг-Алей подъехал ко двору со своими спутниками в богато убранных коврами длинных санях. У ног Шиг-Алея стояло двое

слуг; другие слуги шли по бокам саней. У саней, когда они подъехали ко дворцу и из них стал выходить Шиг-Алей, его встретили главные придворные вельможи, князь Василий Васильевич Шуйский и князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, с двумя дьяками. Бывший казанский царь поднялся в сопровождении их по лестнице и достиг сеней. Здесь его ждал окруженный боярами великий князь, приветливо поздоровавшийся с гостем. Его повели в палату, что у Лазаря Святого. Великий князь Иван прошел к матери и сел около нее. Шиг-Алей, несколько растерявшийся и смущенный, прошел по середине палаты, между рядами неподвижно сидевших бояр и, приблизившись к великой княгине, бил ей челом в землю и снова, как последний холоп, стал униженно каяться в своих грехах.

— Государыня, великая княгиня Елена, — заговорил; он, — взял меня государь мой, великий князь Василий Иванович молодого, пожалел меня, вскормил, как щенка, и жалованьем своим великим жаловал меня, как отец; сына, и на Казани меня царем посадил. По грехам моим, казанские люди меня сослали,

и я опять к государю своему пришел, государь меня пожаловал, города дал в своей земле, а я ему изменил и во всех своих делах перед государем виноват. Вы, государи мои, меня, холопа своего, пожаловали, проступку мне отдали, меня, холопа своего, пощадили и очи свои государские позволили мне видеть. А я, холоп ваш, как вам теперь клятву дал, так по этой своей присяге до смерти своей хочу крепко стоять и умереть за ваше государское жалование; так же хочу умереть, как брат мой умер, чтоб вину свою загладить.

Казалось, не было таких унижительных названий, которыми не обозвал бы себя бывший царь Шиг-Алей, лишь бы добиться полного прощения от тех, кого он обманывал уже не раз и был бы рад обмануть снова.

Великая княгиня Елена отвечала ему не сама, но приказала одному из стоявших по близости ее приближенных, Карпову, говорить за нее.

— Царь Шиг-Алей, — начал Карпов гордую, но милостивую речь от лица правительницы, — государь великий князь Василий Иванович всея Руси опалу свою на тебя положил,

а сын наш, государь великий князь Иван Васильевич всея Руси, и мы пожаловали тебя, милость свою показали и очи свои дали тебе видеть. Теперь забывай свое прежнее и впредь делай так, как обещался, а мы будем великое жалованье и береженье к тебе держать.

Снова бил челом в землю бывший царь Шиг-Алей великому князю и великой княгине. Тогда приближенные бояре принесли приготовленные для бывшего казанского царя дары.

— Государь великий князь Иван Васильевич всея Руси тебя жалует, — сказывали ему и передали ему подарки.

Затем милостиво отпустили его на его подворье.

Во дворце же стали готовиться к приему его жены Фатьмы-Салтан, так как и она была челом, прося дозволить ей посмотреть на очи государские. Приготовления были теперь сложнее и суетливее, так как Фатьме-Салтан хотели дать обед. Обычай подавать за большими обедами до полусотни блюд, затейливые украшения каждого блюда, бывшие то-

гда главным признаком мастерства в поваренном деле, масса приглашенных гостей, все это заставило на поварне сотни людей выбиваться из сил. Целые груды различного мяса, дичи, лебедей заготавливались здесь к великокняжескому обеду. Тут пахло разными пряностями, которыми щедро приправлялись в те времена лакомые блюда. Но более всего было хлопот над изготовлением сахарных блюд. Из сахара изготавливались, изображения лебедей и орлов, башен и теремов гигантских размеров. Всеми этими причудливыми изображениями, которые иногда могли поднять только несколько человек, должны были в день пиршества украситься обеденные столы. В столовой палате, сплошь заставленной до полу и по стенам превосходными коврами восточной работы, эти столы расставлялись заранее и украшались золотом и серебром, дорогими сокровищами, хранившимися в великокняжеском дворце в поставцах. Превосходный заморский хрусталь причудливой формы, серебряные и золотые сосуды крупных размеров, затейливые украшения из сахара — все это делало убранство столов очень нарядным,

и они ломились от массы поставленного на них тяжеловесного богатства.

Фатьма-Салтан в назначенный час приехала в крытом возке на полозьях, окруженная слугами, и так же, как Шиг-Алея, ее встретили «у саней», то есть при выходе из экипажа, не бояре, а боярыни. Пройдя лестницу, она вошла в сени, и здесь ее встретила сама великая княгиня Елена Васильевна. Поздоровавшись с Фатьмой-Салтан, она ввела ее в палату и усадила около себя. Немного минут спустя, в палату вошел великий князь Иван. Царица встала и ступила несколько шагов ему навстречу.

— Табуг салам, — приветствовал он ее по-татарски и стал по обычаю карашеваться с нею.

Он сел у царицы с правой руки, а за ним рядом уселись один подле другого бояре, тогда как боярыни сели со стороны великой княгини.

Начался обед.

Стольники и чашники, масса прислуги, бесчисленное множество яств, дорогие заморские вина, блеск золота, серебра и хрусталя,

все делало этот пир таким, какого давно не бывало уже при московском дворе. Пир был тем более оживлен, что здесь были вместе и мужчины, и женщины. Все, что было лучшего и наиболее дорогого из одежды и украшений у каждого из гостей, было надето на них и положительно обременяло щеголей и щеголих. Ожерелья, перстни, дорогие пуговицы, толстое шитье на одеждах, длинные рукава, все это иногда затрудняло движения людей. Тем не менее неумеренная еда и хмельные напитки разогревали кровь. Оживление с каждой минутой усиливалось все более и более, так как вино и мед лились рекой. Женщины не уступали мужчинам в питье вина и нередко в конце пиров проявляли ту разнузданность, которая в обыкновенное время прикрывалась лицемерной скромностью. Терем был развращен не менее улицы. Кравчим при царице Фатьме-Салтан состоял князь Репнин.

В конце обеда великая княгиня подала Фатьме-Салтан чашу и одарила ее щедро подарками.

Не мог без любопытства смотреть на эти церемонии посторонний зритель, понимав-

ший хорошо, что весь этот блеск одна суета сует; не мог серьезно смотрящий на жизнь человек не жалеть ребенка-государя, тратящего время на эту кукольную комедию; еще менее мог оставаться спокойным представителем сдержанности и трезвости, видя, как объедаются и опиваются на этих блестящих торжествах охочие до еды и вина обжоры. И что за люди были здесь: ожиревшие и неподвижные, как истуканы, коварные и хитрые старики, считающиеся между собою местами и старающиеся утопить друг друга; изнеженные и развращенные, иногда подрумяненные юноши, по большей части совсем необразованные и даже безграмотные, но щедро одаренные наглостью и задором; круглоголовые боярыни с выведенными кистью тонкими и дугообразными бровями, с искусственно оттянутыми продолговатыми ушами, стягивавшие волосы иногда до того, что они едва могли моргать глазами, и накрашивавшие себе лица так, что они казались заштукатуренными. Когда все это общество под влиянием винных паров разговорилось, расшумелось, распоясалось, оно казалось еще непригляд-

нее, без всякого стеснения высказывая свои животные страсти, свою разнузданность. Слова, взгляды, ужимки этих захмелевших людей ясно говорили о их нравах.

— Уйти бы, уйти бы куда-нибудь далеко, — думалось присутствовавшему на пиру Федору Степановичу Колычеву.

Все чаще и чаще в последнее время в его голове зарождалась эта мысль, и теперь среди гама и шума, под говор гостей и звон чаш перед ним проносились картины тихих монастырских обителей, малонаселенных местностей. Если бы уйти в такой край, где еще почти нет людей, где жизнь не сложилась в готовые формы, где можно еще создать ее по-своему, на свой лад. Он слышал много о пустынном, затираемом льдами, заносимом снегами острове, там, где находится море Студеное. Беден и неводелан, малолюдн и неприветлив этот отрезанный от остального мира остров, где преподобные Зосима и Саватий положили основание небогату, едва существующему изо дня в день монастырю. Туда бы уйти, там бы поселиться, создать бы там новую жизнь, не похожую на здешнюю

жизнь...

Проезжая иногда по Москве в этих думах домой, он с горечью смотрел на московскую чернь. Она была в те времена страшно развращена. Каждая барская семья содержала по несколько сотен дворни. Эти холопы, как и господа, жившие на счет деревни, по большей части были оборваны, голодны, праздны. Праздность лучшая школа порока. Среди этой челяди развивались от безделья непомерное пьянство и открытый разврат. Пьяных, валяющихся на улице в пыли и в грязи, можно было всегда встретить в Москве. Недобрые люди, пользуясь слабостью разных челядинцев к вину, заманивали их на азартную игру в зерн, распространившуюся всюду, и ради этой игры челядинцы делались ворами и грабителями. Развращенные бабы доходили иногда до последней степени цинизма, и бывали нередко случаи, что они выбегали без одежды на улицы из бань, закликая к себе прохожих. Рядом с гульбой развивалась кровожадность, выражавшаяся особенно ярко в кулачных боях. На эти бои собирались все простые люди, начиная с ребятишек. Последние являлись,

так сказать, застрельщиками и начинали драку, разделившись на две группы и идя друг на друга стеной. Сперва завязывались перебранка и драка между ребятами; из их рядов выходили отдельные забияки, швыряли друг в друга чем попало, дразнили один другого, наконец, к каждой стороне примыкали толпы ребятешек и зачиналась общая свалка; потом начинали переругиваться и вступали в бой тем же порядком и взрослые. Пускались в ход кулаки, и руки бойцов поднимались быстро в воздухе, точно безостановочно молотя хлеб. Одна живая стена напирала на другую живую; стену, колотя кулаками по чем попало, крича во все горло, подзадоривая, ругаясь. Затем одна из этих живых стен, дрогнув под натиском противников, начинала поддаваться, шатаясь, как пьяная, отступала, бежала, преследуемая с гамом и криком торжества противной живой стеной. Раздавались победные неистовые крики, а на месте побоища оставались жертвы боя — изувеченные, раненые, убитые. Еще хуже бывали сцены в господских зверинцах, где на огороженном месте для потехи зрителей спускали мед-

ведей на бой с людьми...

Замечалось в последнее время и еще одно явление, новое для Москвы: толпа начала вмешиваться в дела общественные, начала громко роптать то на то, то на другое.

— Уняли бы людишек своих, пока самим шеи не свернули, — говорили со злобой про холопов князей Глинских. — Житья от них честному православному народу нет...

Толковали тоже про великую княгиню и ее любимца:

— Зазорно смотреть-то, николи ничего такого на Москве не видано. Вот людишки князей Шуйских сказывали, как и что делается, так стыд и срам.

Когда умер князь Михаил Львович Глинский и был похоронен как самый простой человек, поднялся страшный ропот черни:

— Креста на восту нет, видно, у них! Бросили, ровно пса, деда государева. Видно, глаза колот им, о непотребстве их не молчал.

Точно гроза какая медленно собиралась в народе, и всюду слышался один припев:

— Известно, государь малолетен, ну, и делают, что хотят...

Все смущало до глубины души Федора Степановича Колычева, чуткого, наблюдательно-го, понимавшего, что делалось вокруг, а и дома не ждало его успокоение.

С некоторых пор в колычевском доме начало царить такое настроение, точно над этим домом нависла какая-то страшная грозавая туча, хотя старик Колычев пользовался по-прежнему почетом, а сын его был уважаем при дворе и никакой беды впереди не предвиделось. Но в других боярских домах шли пьянство и кутежи, как у молодых князей Глинских, или зрело глухое недовольство, готовое превратиться в открытый мятеж, как у князей Шуйских. Здесь же не бражничали и были далеки от измены правительству. Но не скорбеть о ходе дел и поведении стоящих во главе правительственных лиц здесь не могли уже потому, что семья была предана всей душой самодержавной власти, крепко стояла за главенство Москвы. Сознать грубые ошибки и постыдное поведение тех, кому предан, и не считать себя в праве громко говорить об этом — это было страшно тяжело. Еще тяжелее было сознавать, что приходится молчать

именно тогда, когда власть сама разрывает для себя страшную пропасть, внушает неуважение одним и дает повод к разговорам другим. Степан Иванович видел, что правительница со своим любимцем подрывает сама основание престола, и был принужден молчать, так как осуждать, власть значило подрывать уважение к ней или подвергаться опале, как изменнику. Он только хмурил брови и вздыхал, когда речь заходила о князе Иване Федоровиче Овчине-Телепнёве-Оболенском, а боярыня Варвара тихо со вздохом замечала:

— Ах, времена, времена!

И, целуя своего любимого сына, заботливо спрашивала его:

— Федюша, недужится тебе, голубчик? Лица на тебе нет.

Сын спешил успокоить ее и говорил:

— Ничего, матушка, я здоров. Притомился немного.

Отец искоса взглядывал на него и тоже вздыхал. Он сам начинал жалеть сына, понимая, каково ему служить при теперешнем дворе. Не такой человек Федор, чтобы не понимать, что делается вокруг него.

А Федор Колычев и точно с каждым днем становился и бледнее, и мрачнее, но не от недуга, не от усталости, не от бесцельного стоянья на ногах во дворце чуть не по целым дням, а от переживаемой им душевной ломки. Казалось, все, что он привык уважать с детства, было теперь забрызгано перед ним грязью, покрыто позором. Не смотрели бы его глаза на всю эту мерзость, на все это нравственное падение. Все тревожнее и тревожнее допрашивала его мать:

— Да ты скажи, родной мой, что у тебя болит, чего неможется...

Она охала и шепталась со старухой-мамой:

— Извелся совсем Федюша, сам на себя не похож...

— Да не с сглазу ли, матушка-боярыня? — рассуждала мамка. — Тоже вот все хвалят нашего голубчика, а иной со злобы да с зависти хвалит. Ну, до греха и не долго.

Она давала советы боярыне, как лечить от дурного глаза. Боярыня вздыхала.

— Нет, матушка, не с сглазу это. Больно тяжело ему по нынешним временам жить. Ох,

не от мира сего человек он у нас. Вон Боря да и другие сыновья, тем и горя мало, а у него все до сердца доходит.

Но сын не высказывался перед нею. Да и что мог бы он сказать ей? Не сказать же ей, что ему хочется бежать — бежать на край света. И он опять ласково успокаивал мать в ответ на ее расспросы:

— Ничего, матушка, ничего! Говорю тебе, притомился немного!

А самому становилось еще тяжелее от того, что он не мог даже откровенно высказать ей или отцу всего того, что чувствовал. Сдержанный и молчаливый, он даже не вмешивался в разговоры отца с братом последнего, Иваном Ивановичем Умным-Колычевым, начинавшим все горячее и горячее нападать на правительственных лиц. Иван Иванович, как большинство Колычевых, за исключением Степана Ивановича, недолюбливал Москву и ее порядки. Он, подобно остальной родне, тяготел к Новгороду и его старой общественной жизни, питая в душе надежды на то, что власть Москвы еще пошатнется. Степан Иванович любил своих родных, но сильно расхо-

дился с ними во взглядах. Теперь же он с огорчением видел, что заступаться за правительство ему становится все труднее и труднее. Это сильно омрачало его.

26 августа 1536 года разнесся мрачный слух, что в темнице умер князь Юрий Иванович.

— Голодной смертью, сказывают, уморили, — толковали везде на Москве.

— И уморят, кого вздумают, — говорили в народе. — Князь Михайло-то Глинский, чай, тоже не чужой был, а также уморили да еще хотели, как пса, бросить...

— Да, по богомольям ездят, а души христианские изводят...

— От грехов-то прежде да от скверны всякой очистились бы спервоначалу, а уж потом на богомолье-то ездили бы...

Чернь делалась все смелее и смелее. Разнузданная, гуляющая, праздная, раздраженная столкновениями с наглыми холопами князей Глинских, она, казалось, не только перестала уважать власть, но перестала даже и бояться власти. К «литвянке» ни у кого не лежало сердце, а холопы ее родных, матери и

братьев, вели себя так нагло и буйно, что возбуждали и еще более против всех князей Глинских. Шепотом, а иногда и вслух начинали уже говорить, что князья Глинские изменники, басурманы и даже колдуны. Ненавидя их наглых холопов, ненавидели самих господ. На князя Ивана Овчину, несмотря на его доблести и победы, смотрели с презрением и насмешкою и говорили:

— Каким делом в честь попал! Бабе угодил и в гору пошел!

Ему давали позорящие прозвища.

Какая-то тревога началась в это время при дворе правительницы. Везде о чем-то шептались, покачивали сомнительно головами, и везде зловеще слышалось одно имя:

— Князь Андрей!

ГЛАВА VIII

Кто знал князя Андрея Ивановича Старицкого, тот легко мог понять, как отразится на нем известие о смерти князя Юрия Ивановича Дмитровского.

Князь Андрей Иванович не наследовал ни одной черты характера от деда и отца, от этих сильных натур московских великих князей. Он не походил даже на покойного своего брата князя Юрия Ивановича, отличавшегося умом и умением овладевать сердцами людей. Князь Андрей Иванович был нерешителен, бесхарактерен, труслив и, как все подобные люди, до крайности подозрителен, мнителен, видел везде козни против себя, вечно жаловался на притеснения, неумело хитрил за недостатком действительной силы, не будучи вовсе коварным по натуре. При великокняжеском дворе знали, что он продолжает негодовать, дуться и роптать на великую княгиню, но не придавали этому никакого значения, понимая хорошо, что на какой-нибудь решительный шаг князь Андрей не способен. Он возбуждал только презрительные насмешки

своей бессильной злобой. Вывести его из бездействия могло только какое-нибудь необычайное событие. Таким событием была смерть князя Юрия Ивановича в тюрьме с голоду...

В Старице, действительно, произошел страшный переполох, когда туда дошла весть о смерти Юрия Ивановича в тюрьме. Князь Андрей Иванович, его молодая строптивая и честолюбивая жена и приближенные к ним бояре, боярские дети, все были охвачены невольным страхом и потеряли головы. Если уморили голодом в тюрьмах князя Михаила Глинского и князя Юрия, то, конечно, не постесняются при случае захватить и князя Андрея Ивановича. Это было ясно всем. Недаром в Москву доносят, что он недоволен великою княгинею за то, что городов она ему не придала, а в Старицу то и дело приезжают люди с рассказами о том, что им недовольны в Москве. Шпионы и доносчики постоянно сновали из Москвы в Старицу, из Старицы в Москву, раздувая между обеими сторонами искру недоверия. Многим было выгодно ссорить этих родственников между собою, чтобы

при случае половить рыбу в мутной воде. Князя Шуйские только посмеивались, слушая рассказы о том, что князь недоволен великой княгиней, а она им...

Когда умер князь Юрий, в Старице озлобленно заговорили:

— Всех, видно, извести хотят. Государь малолетен, при нем все можно делать.

— Счастлив, кто успел, как князь Семен Вельский да Ляцкий, в Литву укрыться.

— Только те целы и останутся, до кого рукой не достать.

Во время разгара этих толков неожиданно прибыл гонец из Москвы и предстал перед князем. Разговор происходил с глазу на глаз и длился недолго. Князь, выслушав гонца, вышел к своим приближенным на себя не похожим. Он совсем растерялся и помертвел от ужаса, точно ему прочитали смертный приговор. Все сразу почуяли недоброе и не ошиблись. То, чего ожидали с такой тревогой, казалось, готово было совершиться.

— В Москву зовут! — объявил князь сидевшим у него в палатах боярам и боярским детям.

— Как в Москву? Зачем? — раздались оживленные возгласы.

— Сафа-Гирей к Мурому, сказывают, подступил, так мне, толкуют, нужно о казанских делах думу думать, — пояснил князь дрожащим голосом.

— Пустое! Недоброе замыслили! Не езд, князь государь! — раздались голоса. — Сети расставляют!

— То-то и я думаю, что дело нечистое, — в раздумье сказал князь Андрей, всегда нерешительный и незнающий, как поступить в известную минуту. — Беда просто: не ехать — горе, а ехать — живым не вернешься, пожалуй.

Он не знал, что делать, понимая только то, что и за непослушание ему грозит опала, и за приезд в Москву можно поплатиться темницей.

Кто-то из присутствующих заметил:

— И где тебе, государь князь, теперь ехать, когда недужится. Вон государь великий князь Василий Иванович не поберегся, да и Богу душу отдал от самого этого недуга.

Князь Андрей Иванович мгновенно точно

ожил, обрадовавшись этому предлогу.

— Прав ты, Гаврила Владимирович, — то-ропливо и радостно согласился он. — Да, да, так и есть! Недуг пустяшный, а поди — разбери болячку, и Бог весть, что выйдет. Иной скажет: шутки это, а с этим шутить — смерть может приключиться.

— Да, да, — подхватили обрадовавшиеся приближенные. — Колычев правду сказал. Тебе и с ложа вставать не следовало бы при таком недуге, а не то что в Москву ехать. И так не бережешь себя.

Князь Андрей Иванович согласился с этим и велел сейчас же отписать в Москву, что он крепко нездоров, а потому быть туда не может. Тут же приказал он просить великую княгиню отпустить к нему лекаря Феофила. Государя великого князя Василия Ивановича он от такого же недуга лечил, так, значит, знает, каков этот недуг есть.

Гонец уехал, а князь улегся в постель, ожидая, что не нынче, так завтра приедут из Москвы узнавать, чем он нездоров.

«Пусть приедут, — довольно смело рассуждал он, — я не прикидываюсь больным, а в

постели лежу, как брат государь лежал. Мое дело чистое! Не за что на меня опалу положить. В животе и смерти Бог волен».

Он успокаивал себя и был сам уверен, что ему крепко нездоровится.

В хоромах же его, среди близких людей, шли горячие толки о том, что миром дело не кончится, что надо принять свои меры. В числе самых горячих сторонников того, что придется бороться силой с Москвою, были Колычевы. Во главе стояли гостившие у князя Иван Иванович Колычев-Умный, брат боярина Степана Ивановича Колычева, Гавриил Владимирович Колычев и Андрей и Василий Ивановичи Пупковы-Колычевы. Все они были из новгородцев и находились в близких сношениях с князем Старицким. В них вспыхнули живые надежды на одоление Москвы, на воскрешение Новгорода, на все то, на что они надеялись и тогда, когда у великого князя Василия Ивановича не предвиделось прямых наследников.

— Не медлить бы, не ждать бы, — говорили, оживленно Колычевы. — В деле главное — времени не упускать!

— Он-то вот думать будет, а на Москве все сразу решат, — предсказали зловеще другие.

Один из присутствующих заметил:

— А что не к добру дело идет — это верно. Недаром государыня великая княгиня приказала князю Андрею нашего князя Юрия Оболенского в Коломну с боярскими детьми отправить, силу у нас ослабить. Так спроста не сделала бы того. Теперь вот оно и сказывается.

Начался ропот на происки Москвы, на явное желание великой княгини погубить князя Андрея...

Князь Андрей Иванович между тем то храбрился, то падал духом и толковал жене:

— В Литву бы уехать. Тут головы не сносишь... Княгиня сдвигала брови и шипящим голосом говорила:

— Литвянка поганая, всех изведет. Дядю родного и того не пожалела. Пусто бы ей было с ее полюбовником! Еще сломит себе шею.

— Ох, сломит-то сломит, да прежде нас погубит, — стонал князь Андрей.

Прошло в этом смутном настроении несколько дней, и из Москвы прибыл лекарь

Феофил. Князь Андрей Иванович принял его, лежа в постели, и со стонами начал пояснять, что у него на бедре болячка.

— Брат мой, государь великий князь Василий Иванович и душу Господу Богу отдал из-за этой самой болезни, — пояснил поспешно князь, как бы предупреждая всякие соображения Феофила.

Феофил осмотрел больное место и серьезно сказал:

— Не всякая болезнь к смерти, и не всякая болезнь на одном и том же месте одинакова.

Он подозрительно взглянул на князя, предупрежденный уже в Москве, что никакой болезни тут нет, и спросил:

— Ты, государь, не пробовал встать?

— Да что ты, в уме ли! От вставанья-то при таком недуге мой брат государь умер, — сказал князь, охая.

— Ну, а ты не умрешь, — решил лекарь. — Недуг пустяшный.

— Вот так же вы все и государю моему брату говорили, а потом не знали, как и помочь, — попрекнул лекаря князь.

— Другая болезнь была, — сказал ле-

карь, — от простого вереда не умирают.

Он уехал в Москву и доложил с усмешкой великой княгине:

— На стегне болячка, а лежит в постели!

— Я так и знала, — сказала Елена. — Прикинулся больным, чтобы в Москву не ехать. Что ж, болезнь пустая — скоро пройдет, значит. Пошлем еще справиться. Авось полегчает.

К князю Андрею Ивановичу прибыли новые посланцы из Москвы и снова застали его в постели. Но им нужно было узнать не о его здоровье, а о том, нет ли у него чужих людей и почему собственно он в Москву не захотел ехать. Подозрительным показалось им то обстоятельство, что княжеские хоромы были теперь полны посторонним народом, понаехавшим к князю с разных концов.

— Вот узнали, что князь нездоров, справиться приехали, — коротко пояснили приезжие на все расспросы, почему они собрались сюда.

Объяснение было просто и ясно, но не трудно было заметить, что все эти люди тайно и переглядываются и шепчутся между

собою.

— Толкуем вот о недуге князя. С такой болезни государь великий князь Василий Иванович и в гроб сошел, — снова уклончиво пояснили приезжие московским посланцам на вопрос о том, о чем все совещаются в хоромах княжеских.

Опять ответ был и прост, и ясен, а в палатах княжеских по углам уже составлялся целый заговор. Только князь еще не участвовал в нем и малодушно думал отлежаться от беды и опалы.

Посланцы выведали и высмотрели все, что могли, но от слуг и от приближенных князя Андрея многого узнать было нельзя. Все держались стойко и не вызывали ничего ни словом, ни намеком. Они были заняты обсуждением своего заветного дела и умели хранить тайну. Великой княгине ее шпионы могли только донести, что у князя Андрея есть лишние люди, которых обыкновенно у него не бывает. Говорить же эти люди ничего не захотели, видно, не смели.

— А все же в Москву он приедет, — решила великая княгиня и приказала снова послать к

нему и звать его в Москву.

Получился тот же ответ: нездоров и приехать не может.

Послали за ним в третий раз и приказали сказать, чтобы ехал непременно, несмотря на недуг. Тревога князя и его близких возросла до последней степени. Собрал князь всех на совет, что делать. Шумно говорили все в страшном возбуждении, споря и доказывая друг другу, что и как сделать. Одни предлагали самые смелые планы, другие советовали мягко списаться с великим князем. Княгиня была на стороне первых, пылая ненавистью к правительнице; князь Андрей склонился на сторону последних и послал свой ответ к племяннику-государю с князем Федором Пронским. Глубоким страхом и унижением дышал этот ответ перепуганного государева дяди.

«Ты, государь, — говорил князь Андрей, — приказал нам с великим запрещением, чтоб нам непременно у тебя быть, как ни есть; нам, государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь болезни нашей и за нами посылаешь неотложно; а прежде, государь, того не бывало, чтоб нас к вам, государям, на носил-

ках волочили. И я от болезни и от беды, с кручины отбыл ума и мысли. Так ты бы, государь, пожаловал показать милость, согрел сердце и живот холопу своему своим жалованьем, чтобы холопу твоему вперед было можно и надежно твоим жалованьем быть бескорбно и без кручины, как тебе Бог положил на сердце».

Князь Пронский с небольшой свитой дворян и челядинцев, не особенно спеша, ехал в Москву с этим униженным ответом, где дядя великого князя называл себя его холопом, а из той же Старицы уже скакал во весь дух другой гонец, но скакал не от князя Андрея, а по своей воле с доносом к князю Ивану Федоровичу Овчине-Телепневу-Оболенскому. Донос был от одного из Андреевых детей боярских, от князя Голубого-Ростовского.

Князь Иван Овчина получил этот донос перед ночью и тотчас же отправился сообщить великой княгине его содержание.

— Что случилось, Ванюша? — тревожно встретила брата боярыня Челяднина. — Государыня-то, я чаю, започивала.

— Все равно, — резко ответил князь Иван,

не отвечая на вопрос сестры. — Дело спешное. Часу нельзя упустить.

— Ах ты, Господи! — воскликнула всполошившаяся боярыня. — Да что же стряслось? Уж не Шуйские ли...

— Иди! Иди! — поторопил ее князь Иван, грубовато повертывая ее за плечи. — Ох, уж эти бабьи расспросы...

Она вошла доложить великой княгине, а князь Иван тревожно заходил из угла в угол. Он искусывал свои усы, соображая уже весь план действий. Он не боялся неуспеха, но понимал, что медлить нельзя. Наконец вернулась его сестра, и через несколько минут князь Овчина был уже в знакомой ему опочивальне. Елена была, видимо, взволнована и заторопила князя, забросав его вопросами о том, что случилось.

— Дело спешное, — пояснил наскоро князь. — Князь Андрей Иванович бежать из своего удела завтра же собирается. Сейчас весть получил.

— Ну, а я думала и Бог весть, что случилось, — сказала она, вздохнув свободнее.

— Да и это не пустяк.

— Что ж, уж не силой ли он помериться с Москвой вздумал? — с усмешкой проговорила Елена Васильевна и покачала головой. — Надо вразумить его. Послать кого-нибудь, чтоб усовестили да образумили.

Она задумалась.

— Из духовных особ кого-нибудь выбрать. Пусть внушат ему.

Перебирая в уме, кого бы послать, она решила, что надо об этом тотчас же владыке митрополиту сказать, пусть он выберет надежных людей. Это его дело.

— Увещанья-то увещаньями, а надо и о военной силе подумать, — серьезно заметил князь Иван. — Пока попы увещевать будут, он силу соберет да нас врасплох застанет. Это не дело.

Он усмехнулся.

— Слово пастырское хорошо, а сила военная надежнее.

— Да где ж ему против нас идти! — презрительно сказала Елена. — Старица против Москвы! Выдумал ты тоже чего бояться!

— Врагов тоже у Москвы немало, — серьезно заметил князь Иван. — На сильного все зу-

бы точут, а с князем Андреем всем легко будет ладить. Новгородцы пристанут к нему...

Распоряжения были сделаны быстро. Молодые правители были расторопны и горячо брались за дело. Митрополит Даниил выбрал для увещаний крупницкого владыку, симоновского архимандрита и спасского протопопа. Владыка Досифей и его спутники отправились уговаривать князя Андрея, получив от митрополита наказ, где говорилось:

«Слух до нас дошел, что хочешь ты оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, жалованье и береженье государя своего, великого князя Василия, и сына его: я благословляю тебя и молю жить вместе с государем своим и соблюдать присягу без всякой хитрости, да поехал бы еси к государю и к государыне безо всякого сомнения, а мы тебя благословляем и емлем тебя на свои руки».

Если бы князь Андрей не послушал, то посланцы митрополичьи должны были объявить ему суровую меру — отлучение от церкви. Верил или не верил в душе митрополит, что князю ничего не сделают в Москве в слу-

чае его повиновения — неизвестно. Но вечный угодник власти в конце своего наказа выразался очень резко. Он сослался на слова Спасителя, обращенные к ученикам: «приемляй вас, меня приемлеть, и отменяйся вас, мене отменяется», и еще: «его же аще разрешите на земли, будет разрешено на небесах, и его же аще свяжете на земли, будет связано на небесах», а затем угрожал князю:

«И се еси отлучил сам себя и вечную юзу сам на себя наложил: не будь на тебе милости Божией, и Пречистые Его Матери Богородицы, и силы честного и животворящего креста, и святых великих чудотворцев, и всех святых, и по божественным святым апостольским и отческим правилам да будешь проклят».

В это же время князь Никита Хромой-Оболенский и князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, не теряя ни минуты, встали во главе довольно, сильных полков и направились на Волок Ламский.

Князь Федор Пронский между тем подвигался не особенно спешно к Москве, как вдруг среди ночи на него напали какие-то неизвестные вооруженные люди. Началась схватка,

продолжавшаяся, однако, недолго. Нападавшие были многочисленнее спутников князя Пронского и быстро одолели их, перехватыв и перевязав всех. Среди темноты в этой свалке никто и не заметил, как один Из спутников князя свернул с дороги, укрылся в лес и, когда все смолкло, быстро вскочил на коня и помчался в обратный путь. Это был боярский сын Сатин. Во весь дух помчался Сатин обратно в Старицу и, впопыхах вбежав в княжеские палаты, в волнении объявил, что великокняжеские войска идут взять князя Андрея Ивановича.

— На князя Пронского напали, схватили всех, я в лесу укрылся и бежал, — торопливо рассказывал Сатин. — А войска на Старицу идут... Много собрано... Князь-государь, бежать надо...

Князь Андрей растерялся, не стал даже спрашивать, где видел Сатин войско и как узнал о нем. Он захватил свою жену и малютку сына Владимира и отбыл из Старицы. Это было настоящее бегство, а не сбор к встрече с врагом в открытом поле.

Остановившись уже в верстах в шестиде-

сяти от Старицы, князь Андрей стал обдумывать, что делать: бежать ли в Литву или померяться силами с Москвой? Укрыться в Литву трудно, на дороге изловят! Тоже изменником родной земли сделаться непригоже. Надо собрать силу ратную. Много ли только соберешь ее наспех? Да, прежде надо было верных слуг послушаться да о деле подумать. Решено было все-таки собрать войско, овладеть Новгородом.

Тотчас же были разосланы к помещикам, боярским детям и в погосты новгородских областей грамоты.

«Князь великий — младенец, — писалось в грамотах, — держат государство бояре, а вам у кого служить? Я же вас рад жаловать».

Грамоты произвели свое действие: отовсюду стали из новгородских областей стекаться к князю Андрею люди, уже приготавливавшиеся к этому делу прежде, чем он сам решился на что-нибудь. Все недовольные Москвой только и ждали этого призывного клича. Весело и бодро стекались они к князю Андрею, чтобы постоять за него, а главным образом за свое дело, за ослабление самодержавия нена-

вистой им Москвы. Колычевы, как прирожденные новгородцы, были из первых, откликнувшихся на зов. Воевода князя Андрея, князь Юрий Оболенский, был еще ранее отправлен с отрядом детей боярских в Коломну по приказанию великой княгини Елены, давно подзревавшей в злых замыслах князя Андрея. Узнав о начавшемся деле только после бегства князя из Старицы, он немедленно, помолившись Богу, тайком выехал из Коломны, переправился через Волгу под Дегулинным, потопил суда, чтобы не достались преследователям, и на Березне соединился с князем Андреем, не доезжая немного Ядровского яма. Все это обещало делу князя Андрея хороший исход...

В то же время полетели княжеские грамоты через предателей и в Москву, где поняли всю опасность и серьезность мятежа. Великокняжеские военные силы разделились на две части: князь Никита Оболенский пошел защищать Новгород, а князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский погнался за князем Андреем, который, оставив в стороне большую дорогу, направился влево к Старой Русе.

Князь Андрей уже достиг третьего стана на Цне и расположился на отдых, когда к нему в тревоге прибежал один из приближенных.

— Неладно у нас, государь князь, в стане, — торопливо заявил он.

— Что случилось? — спросил князь Андрей в волнении.

— Измена! Побегало несколько боярских детей, — пояснил пришедший. — Другие, пожалуй, побегут.

— Ловить их! — отдал приказание князь.

— Одного изловили, другие ушли.

— Позвать сюда Кашу!

Дворянин княжеский Каша явился.

— Тут одного из боярских детей поймали, бежал из стана, — сказал торопливо князь. — Допросить его о деле. Почему бежал и кто вместе с ним был.

Каша тотчас же распорядился. Перебежчика связали по рукам и по ногам и посадили в озеро в одной рубашке. Видна была из воды одна голова, чтобы он не захлебнулся. Каша начал допрос. Преступник стал перечислять изменников. Каша слушал и, наконец, остановил в смущении допрос. Он поспешно напра-

вился к ставке князя.

— И не перечесть всех, государь князь, — тревожно объявил он. — Сотни их!

Князь растерялся.

— Что ж, измена? — воскликнул он, бледнея.

— До Москвы всех не перевешать, — пояснил Каша.

Князь тяжело вздохнул, разом упав духом.

— Что ж, бросить надо дело. Нечего пытаться и допрашивать. Не время теперь казнить...

Он почувствовал, что он бессилен, что заветянное им дело не сулит удачи. Лучше бы было просто бежать на Литву, потом можно бы было обдумать, что начать.

Но теперь каяться было поздно...

В пяти верстах от Заячьего яма, в Тухоли, князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский настиг беглеца, оставил своих воинов, распустил знамя и готов был начать бой. Князь Андрей волей-неволей тоже выстроил свою дружину в поле, но у него уже не было уверенности в победе, не было желания меряться силами с врагами. Малодушный, он готов был на все, только бы не сражаться. Прежде чем на-

чался бой, противники вступили в переговоры. Оба говорили:

— Зачем даром проливать братскую кровь? Князь Андрей трусливо спрашивал:

— Если я отдамся в руки великой княгине государыне, не будет ли она мне отплачивать и не положит ли большой опалы?

Князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский смело уверял:

— Ни отплачивать не будет, ни опалы не положит, а придаст городов, как просил ты у государя.

Князь Андрей, слабохарактерный, запуганный изменою нескольких боярских детей, не надеющийся на свою рать, колебался.

— Обманет князь Овчина, — настойчиво уверяли его приближенные. — Веди нас в бой, князь государь, с нами Бог. Так-то и себя, и нас всех погубишь!

— Разобьют, хуже будет, — раздумывал князь.

— С честью лучше пасть, чем на торговой площади головы сложить, — говорили окружающие.

— Зачем же сзывал нас? Зачем под топо-

ры хочешь отдать за нашу службу и верность? — начинали роптать некоторые.

В княжеском стане было смятение. Одни еще старались уговорить князя, другие проклинали его, третьи просто ругали.

— На кого надеялись! Кому животы свои отдали! Трус и предатель, а не князь он! Погубил наши головы!

Князь Андрей, еще более перепуганный, видя кругом мятеж, вступил опять в переговоры, требуя с князя Ивана Овчины клятву, что в Москве ничего не попомнят. Князь Овчина дал клятву. Князь Андрей решил положить оружие и сдаться.

Кругом поднялся еще более страшный ропот, чуть не поголовный мятеж всех, кто пристал к князю и кто видел для себя впереди только позорную казнь. Ругательства сыпались со всех сторон на низкого предателя и труса. Все проклинали его. Никто не сожалел его, все свирепо провожали его глазами, когда его уводили с женой и сыном во вражеский стан. Он казался всем вдвойне изменником.

Следом за князем забрали и весь его двор.

Как пленников, повезли их всех в Москву.

Приехав в Москву, князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, довольный удачным походом, не стоившим ни капли крови, отправился во дворец и представился великой княгине перед лицом думных бояр. Он рассказал, как было дело, не считая нужным утаивать что-нибудь.

Великая княгиня разгневалась.

— Да как же ты, князь, не обославшись со мною, смел дать за меня клятву? — резко и гордо проговорила она, и ее глаза сурово взглянули на любимца. — Никогда ничего такого не бывало, чтобы воеводы и князья за государей клятву, не спросясь, давали.

Князь казался изумленным и смущенным. Великая княгиня, отвернувшись от него, обратилась к боярам:

— Схватить надо князя Андрея и в оковы заключить, — резко приказала она окружающим, не спрашивая их совета, — чтобы вперед таких смут никогда не бывало. И так многие люди московские поколебались, а что клятву князь Иван без нашего ведома дал, так мы в том неповинны.

Князь стоял молча, пристально всматриваясь в эту женщину, которую он так любил и которая так часто поражала его своим коварством. В такие минуты, когда она лгала и притворялась холодно и невозмутимо, он, широкий по натуре, смелый до наглости, казалось ему, просто ненавидел ее.

Приказ правительницы был тотчас же исполнен.

Князя Андрея, его жену и сына схватили и засадили в темницы. Князь Пронский, князь Юрий и Иван Андреевичи Пенинские-Оболенские, князь Палецкий и дети боярские, бывшие в избе у князя Андрея и знавшие его думу, подверглись пыткам, были казнены торговою казнью [15], биты кнутом, заключены в оковы...

Давно Москва не была свидетельницей таких жестокостей, и чернь валом валила посмотреть на кровавое зрелище...

Страшное впечатление произвели эти события на самого Степана Ивановича Колычева и на всех его родных. Четверо близких родственников Степана Ивановича, начиная с его родного брата, поплатились за это дело, и

в душе старика боролись самые разнородные чувства.

— Никогда в роду изменников не было, — говорил он с горечью, — а вот теперь родной брат за измену в тюрьме сидит, племянники кнутом биты да на большой дороге, как разбойники, повешены...

Потом, поддаваясь чувству жалости, он со слезами на глазах сетовал:

— Пришлось вот на старости лет горе нежданное пережить. Единокровных людей, родных, милых разом потерять. Не гадал, не думал, а послал Господь беду страшную, обиду нестерпимую...

Потом гордость и самолюбие брали в заслуженном старике верх над остальными чувствами, и он говорил:

— Как теперь на людей смотреть, как теперь слушать, когда говорить станут, что Колычевых на торговой площади кнутом стегали, что Колычевых на большой дороге повесили?

В доме все ходили тихо, говорили шепотом, точно в палатах лежал опасно больной либо покойник был. В те времена родствен-

ным связям придавалось особенное, серьезное значение и позор каждого, даже дальнего родственника, глубоко отзывался на остальной родне.

— А как я покажусь во дворце? — думал с тоской Федор Степанович. — Как взгляну на тех людей, чьи руки нашей кровью обагрились? Что ж делать-то, делать-то что, Господи?

Его охватило отчаяние...

ГЛАВА IX

В воскресенье, 3 июня 1537 года, погода стояла теплая и ясная. Только что поднявшееся над Москвой солнце заливало ярким светом ее бесчисленные сады, стоявшие теперь в полном цвету. Среди их зелени то тут, то там, как звездочки, блистали золоченые кресты и купола церквей. Неправильно проложенные улицы, неприглядные в дождливую пору, теперь казались живописными и веселыми. Везде на них пробивалась яркая молодая зелень: около бесчисленных высоких заборов и низеньких изгородей заросла густая трава, а через заборы и изгороди свешивались кудрявые ветви берез, лип, кленов, дубов.

Пустынные в будничные дни, эти улицы теперь пестрели народом, направлявшимся в праздничных одеждах в храмы. У домов и изб сидели на завалинках старики и старухи, и тут же в песке и в траве копошились полунагие ребятишки. На площадях уже собирались кучки гуляк, потешавшиеся, несмотря на то, что в храмах начиналась служба, выходками бродячих скоморохов, и кое-где слышались возгласы, говорившие ясно, что и тут были люди, придерживавшиеся поговорки: кто празднику рад, тот до свету пьян. Этого зла, веселья во время богослужения не могли истребить никакие проповеди духовных лиц. Казалось, все простые люди повысыпали на свежий воздух, тяготясь оставаться в тесных и душных клетушках своих невзрачных, нередко курных избенок.

Из господских хором, огороженных, точно крепостными стенами, высокими заборами с затейливыми тяжелыми воротами, то и дело выезжали сановитые и нарядные, иногда непомерно толстые, с выхоленными огромными бородами всадники, отправлявшиеся в сопровождении своих слуг в церкви. Чем

важнее и сановитее были господа, тем многочисленнее была их свита. Иного боярина сопровождало двадцать, тридцать и более слуг. Каждый из этих людей старался вырядиться в лучшее платье, отправляясь в храм Божий, и перещеголять других бояр. За эту страсть бахвалиться в церквах нарядными одеждами немало нападали на богачей проповедники, но проповеди приносили мало пользы. Еще большею пышностью отличались поезда важных боярынь, сидевших в своих колымагах и сопровождаемых пешими скоморохами. Роскошное убранство выложенных и бархатом, и соболями, и позолотою колымаг, нарядность лошадиной сбруи говорили о значении и богатстве боярынь. Медленно двигались, качаясь и прыгая по ухабам на высоких осях, эти неуклюжие и громоздкие экипажи, запряженные иногда в одну лошадь, иногда в несколько шедших гуськом колымажных лошадей. Возницы или сидели верхом на лошадях, или шли рядом с ними.

Зелень, пестрая раскраска домов, яркие наряды мужчин и женщин, блестящие уборы коней, богатство колымаг, все это, озаренное

лучами солнца, делало очень оживленным вид московских улиц в эту Нору, а надо всем этим стоял немолчный гомон бесчисленных птиц и переливался благовест тысячи церковных колоколов, то гудевших густыми медлительными звуками, то заливавшихся мелким и серебристым трезвонном.

Среди этого всеобщего оживления как-то странно было видеть человека, не принимавшего, по-видимому, никакого участия в этой сутолке и погрузившегося, как в глубокий сон, в свои думы. Именно так смотрел молодой Федор Степанович Колычев, выехавший в сопровождении одного слуги из ворот своего дома к обедне. Он направлялся не к кремлевским Храмам, а куда-то в глушь Москвы, бессознательно или сознательно стараясь избежать встречи с близкими и знакомыми людьми. Его конь шел неторопливым шагом, и молодой наездник не шпорил его, не торопил, почти не управляя им и точно отдавшись вполне на его произвол, — куда и когда он привезет — все равно.

Он не видел окружающего: в его глазах, сосредоточенно устремленных в пространство,

рисовалась иная картина, не имевшая ничего общего с веселящейся Москвой.

Вот тянется от Москвы длиною-длинною белою лентою среди зеленых дремучих лесов широкая и пыльная мягкая дорога — Новгородская дорога. Нет на ней путников, пустынная она вполне, но местами слышатся над ней в воздухе странные зловещие звуки; то каркают вороньи стаи, тучами проносящиеся над дорогой в небесной лазури и точно скликающие на пир своих собратий. Но около чего они вьются? Вон чернеет что-то в воздухе, длинное, неподвижное, страшное. Это труп повешенного человека, с повиснувшими бесильно вдоль тела, как плети, руками, с упавшей на грудь головой, с посиневшим лицом. А вон на далеком расстоянии и еще такой же труп, а там дальше еще и еще...

— Тридцать человек! Тридцать человек цветущей молодежи! Путь весь виселицами уставили, как столбами верстовыми, — как бы сквозь сон шепчет Федор Степанович и содрогается, точно его охватывает холодом могильным.

Горько и тяжело у него на душе. Смотрит

он в пространство, видит он мысленными очами, как рвет воронье эти трупы, как выклевывает оно у мертвецов очи молодецкие, и с леденящим сердце ужасом узнает все эти лица, все эти очи молодецкие...

— Вот Андрей Иванович и Василий Иванович Пупковы-Колычевы висят... братья мои троюродные... братья!.. — мысленно говорит он. — А вон и Гаврюша бедный... давно ли тут был, руки мне жал, в уста по-братски целовались, надеялся на счастье, на радости...

И в его памяти встает, как живой, образ этого любимого родственника, этого смельчака, полного молодых надежд, широкой и непочатой натуры. Кажется ему, что Гавриил Владимирович стоит вот тут рядом с ним и говорит горячо о том, что Новгород еще вздохнет свободно, что власть Москвы ослабеет, что надо ковать только железо, пока оно горячо. Правда, отец Федора Степановича всегда косо смотрел на стремление младших братьев великого князя и стоял за самодержавие московских повелителей.

— Не за изменников, не за литвянку, не за князя Овчину стоял он, — проговорил Федор

Степанович Колычев, вполне понимая и оправдывая верноподданические чувства отца. — Бог весть еще, не погубят ли эти люди и совсем великого князя... Младенец несчастный... брошен, забыт, а мать государыня творит Бог весть что... И из-за этих-то людей столько жертв... Одни постыдной смертью кончили дни живота своего, другие томятся в душных и мрачных темницах...

Перед ним разостлался какой-то мрак, точно кругом не ясный летний день стоял, а ступилась черная ночь. Что это? Кто-то стонет в этом мраке? Кто-то тщетно взывает о помощи, свете, свободе, куска хлеба, глотка воды просит... Федору Степановичу вспомнился младший брат его отца, Иван Иванович Умной-Колычев. Посадили его в тюрьму, и что его ждет — никто не знает.

— Что ждет? — прошептал он с горечью. — Князь Юрий Иванович в тюрьме голодной смертью умер. Тоже Дядей родным великому князю доводился. Князь Михайл Львович Глинский и того ближе был государыне великой княгине, а тоже в тюрьме голодом заморили. Так уж Колычева-то и подавно не поми-

луют...

Он мысленно начал пересчитывать жертвы, павшие в последнее время. Много их, не припомнишь всех сразу. А ради чего пали? Ради неприкосновенности самодержавной власти великого князя? Нет, ради того, что правят всем эти ничтожные, развратные, безбожные люди. Не спасут они самодержавия великого князя, а погубить его могут. Стоять с этими людьми рядом, стоять за них значит купаться в той же грязи, в которой купаются они, пятнать себя той же кровью, которою пятнают себя они, погрязать в разгуле и разврате, губить свое тело, и душу, и разум. Остаться чистым и незапятнанным в этом омуте нельзя. Бельмом у них на глазу будешь, изведут они того, кто будет служить для них молчаливым укором. Да, чтобы уцелеть, нужно подчиняться их воле, их нравам, их обычаям, стоять с ними и за них, кривя душой и опасаясь каждую минуту, что и их самих, и вместе с ними их сторонников столкнут с дороги, сметут, как негодный сор, другие люди, — не лучшие, а только другие. Он не умел никогда кривить душой ни ради чего бы то

ни было, правдивый и искренний до суровости. И что за жизнь окружала его теперь? Разгул, разнузданность, разврат. Нарумяненные и завитые, изнеженные, доброзрачные юноши-щеголи; думавшие только о роскоши нарядов женщины, и явно, и тайно имевшие возлюбленных; коварные старики, добивавшиеся всеми средствами власти, и игрушка в руках этих людей юный государь...

Он доехал до небольшой деревянной церкви, слез с коня, отдав поводья слуге, и, широко крестясь, вошел в храм.

Служба только что начиналась, но народу в храме набралось уже порядочно много. Большинство громко говорило и спорило между собою, как на базаре; сильно накрашенные женщины, видимо, старались обратить на себя внимание своей красотой и нарядами; некоторые из сановитых мужчин стояли с покрытыми головами, гордо облокотившись на толстые высокие палки.

Старичок священник, готовясь к совершению проскомидии, прочитал перед царскими вратами входные молитвы и, войдя в алтарь, стал облачаться в бедные ризы, омыл руки и

возгласил:

— Благословен Бог наш!

Вот он взял просфору и копией до молящихся доносятся слова:

— В воспоминание Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа...

Отстраняя все посторонние помыслы, молодой боярин склонил колени и горячо молился, а пророчество Исайи о страданиях Спасителя напомнило ему снова о других страдальцах, о близких и родных, об этих тридцати молодых несчастливцах, которые так недавно позорно были биты кнутом перед народом на площади в Москве, и потом их всех перевешали на Новгородской дороге на далеком расстоянии друг от друга. Никогда еще за богослужением его не развлекали житейские помыслы, а теперь они унесли его мысль далеко-далеко от храма Божьего. Точно где-то не здесь глухо отдаются в его ушах отрывочные фразы:

— Слава в вышних Богу... Господи устне моя отверзеши... Благословенно царство...

Вот и великая ектения. Поют:

— Хвали душе моя Господа...

Как тяжело на душе, не привыкшей к рассеянности во время богослужения, считающей великим грехом каждую постороннюю мысль во время молитвы, а не только тот немолчный говор, который стоит теперь в церкви, как на торговой площади. Но отделаться от этого состояния нет сил: вопрос о том, что делать, как быть, бороздит мозг, не выходит из головы. Тщетно молится Колычев, тщетно просит Бога отогнать от него посторонние мысли. Они неотступно овладевают им.

— Премудрость прости! — раздается возглас священника.

— Евангелие сейчас будут читать, — проносится в голове молодого богомольца.

Он торопливо крестится, стараясь сосредоточить все свое внимание на слушании божественной книги.

Вот окончилось пение на клиросе, вот зазвучал голос старика-священника:

— От Матфея святого евангелия чтение...

Склонив колени, опустив голову на грудь, молодой богомолец вслушивался в каждое слово.

— Светильник телу есть око, — отчетливо

начинает священник, — аще оубо око твое просто, все тело твое светло будет: аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет, аще оубо свет, ниже в тебе, тьма есть, то тьма кольми...

Тяжелый вздох вырывается из груди молящегося. Священник же продолжает читать:

— Никто же может двема господинама работати, — говорит он с расстановкой и внятно, — либо единого возлюбить, а другого возненавидеть: или единого держится, о другом же нерадिति начнет: не может Богу работати и мамоне...

Священник еще продолжал читать, но Колычев уже ничего не слышал. Его душу охватила внезапная радость, выражение лица просветлело, сомнения разлетелись разом, точно он услышал голос самого Бога, указывавшего ему путь. Да, двум господам не служить. Это говорит сам Бог. Надо бросить двор, оставить блестящую службу, отказаться от видного положения в обществе и уйти на подвиг — работать в тишине, в глуши, в поту лица, добывая каждый кусок хлеба трудами рук своих.

Радостный и сияющий, он поднялся с колена и, дослушав литургию, вышел из храма. Кругом все было по-прежнему светло и зелено, слышался говор народа и колокольный звон, везде пестрели группы людей. Праздничное уличное веселье принимало уже более шумный характер. Когда он ехал в храм, он не замечал ничего, никого. Теперь он видел это все и понимал, что видит все это в последний раз. Терема, дворцы, барские палаты, бедные обывательские избы, храмы московские, напыщенных бояр и жалких бедняков, все это не суждено ему более видеть, может быть, никогда.

Он сел на коня и, грустно улыбаясь, медленно поехал к кремлевским соборам. Ему хотелось в последний раз поклониться мощам великих чудотворцев, заступников за землю русскую. С благоговейным чувством он приближается к ним, объемлет их, целует их, обливаясь жалостными слезами. Глубоко жаль ему покинуть их, всегда вдохновлявших его на добро, возвышавших его дух, говоривших ему, что еще не все дурно на земле, если на ней могли являться такие подвижники, что

не оскудел еще тот край, где могли родиться, возрасти и действовать такие могучие силы. Он обошел все кремлевские соборы, спокойный, затихший, умиленный, сильный своею решимостью.

Его глаза упали на великокняжеский дворец. Вот Красное крыльцо и Передние переходы, вон окна Большой и Золотой палат, вон знакомый проезд под Красным крыльцом и Золотою палатою, ведущий во внутренний двор дворца, к Постельным палатам великого князя... Глубокою грустью сжалось его сердце при мысли о несчастном, полузаброшенном ребенке — великом князе. Сколько раз ластилось к нему это странное, несчастное дитя, взбираясь к нему на колени и слушая его спокойные и серьезные рассказы о великих людях, о защитниках и слугах отечества.

— Я тебя люблю, Федя, — лепетал ребенок, всегда горячий и впадающий в крайности. — Ты у меня первым будешь...

Нет, не суждено ему, Федору Колычеву, быть первым у престола этого малютки. И что ждет этого малютку? Не погубят ли его прежде недобрые люди? А сколько дорогого,

горячего, страстного соединяет в себе это странное, причудливое дитя, подмечающее каждую мелочь, запоминающее каждое слово...

Колычев вздохнул тяжелым вздохом, как бы прощаясь мысленно в последний раз с великим князем, и направился к своим палатам.

Отец и мать были удивлены его видом. Они были грустны и еще не могли забыть тяжелых обид, нанесенных их роду. Шутка ли, трое Колычевых позорно биты кнутом и повешены, а четвертый Колычев, родной брат боярина Степана Ивановича, подвергнут страшной пытке, скован цепями и брошен в тюрьму, быть может, погибает в ней от голода. Но Федор Колычев, казалось, забыл об этом. Он смотрел светло и ясно, и какой-то особенной нежностью было проникнуто каждое его слово, обращенное к отцу, к матери, к братьям.

— Прости, матушка, если в чем согрешил, — проговорил он, до земли кланяясь матери в вечеру.

— Что с тобой, Федюша? — встревоженно спросила она. — Нездоровится тебе али что

случилось? Ох, времена-то какие нынче. За день не поручишься.

Сын успокоил ее и нежно обнял старуху-боярыню. Потом он простился с отцом, проговорив ему:

— Не гневайся, батюшка, если что-нибудь супротив тебя без умысла согрубил.

— Ну, вот, ты-то! — ответил с чувством старик-отец. — Дай Бог, чтоб и остальные детки такими были, как ты. Я тобой, Федор, всегда был доволен, сам знаешь.

Сын низко склонил голову и горячо поцеловал руку отца.

Оставшись с братьями, Федор Степанович советовал им беречь отца и мать, жить честно, не притеснять никого.

— Батюшка с матушкой немолоды, — говорил он, — и печалей у них немало. Ваше дело покоить их и лелеять.

— Да ты едешь куда в дорогу? — спросил один из братьев.

— Все мы странники на земле: сегодня здесь, завтра — где Бог велит, — ответил уклончиво Федор Степанович.

Над Москвой сгущался вечерний мрак,

улицы стали пустеть, затихали голоса гуляющего народа, только изредка раздавались пронзительные крики пьяных да песни скорморохов. Федор Степанович Колычев остался один в своей комнате. Сколько тут воспоминаний, сколько перечитано, передумано, пережито. Он оглядел комнату, толстые книги в кожаных переплетах, образа с отдернутыми перед ними занавесками и с теплящимися лампадами и свечами, перекрестился и стал неторопливо раздеваться.

Пышная сажена я жемчугом ферезь [16], расшитые золотом и жемчужным бисером цветные сапоги, шелковые штаны, пошевная [17] нарядная рубаха с дорогим шитым жемчугами ожерельем, все это снималось одно за другим, точно тяжелые обременительные цепи, и сменялось холщевой рубахой, такими же портами, лаптями и мужицким кафтаном.

Переодевшись в это платье, опоясавшись кушаком и взяв в руки крестьянский колпак, молодой Колычев остановился посреди комнаты и обратился лицом к иконам.

— Господи Боже, Просветителю и Спасителю мой, — начал он спокойным голосом, тво-

ря крестное знамение и земной поклон. — Ты защититель живота моего! Настави на путь Твой и пойду во истине твоей святей...

Ночь уже вполне вступила в свои права, все давно спали в Москве, когда по ее пустынным улицам неспешно пробирался какой-то молодой, красивый простолюдин, направляясь к ярославской дороге. Перед ним лежал путь и трудный, и далекий, по плохим дорогам, среди мертвенно пустынных лесов, где водились только хищные звери да находили пристанище разбойничьи шайки. Шел этот путь через Троицкую лавру на Ярославль сухопутьем, потом водою до Кириллова монастыря, а оттуда волоком до Каргополя и дальше Онегою можно было добраться до самого Студеного моря.

Выбравшись из Москвы, путник, по-видимому, не особенно боялся диких лесов и безлюдных пустынь, так как он чаще всего сворачивал именно в такие места, стараясь обходить людные селения и города, и если что его беспокоило в этом путешествии проселками да обходами, так это только опасение сбиться с пути.

ГЛАВА X

В доме боярина Степана Ивановича Колычева, по обыкновению, все поднялись на заре. Боярыня Варвара разбудила девушек, старая мамка затеплила лампы и свечи у образов в крестовой палате и мало-помалу сюда собралась вся челядь. Пришел наконец и Степан Иванович, грустный и мрачный. Он уже хотел начать читать обычные утренние молитвы, как услышал шепот жены, обратившейся к старой мамушке:

— А что ж, Федюши нет? Поди, мамушка, побуди его. Притомился, верно, и заспался голубчик.

Степан Иванович подождал, не начиная молитв.

Прошло несколько минут в ожидании. Наконец, старуха мамка вернулась и дрожащим старческим шепотом сообщила боярыне Колычевой:

— Федора-то Степановича нет в его горенке, матушка-боярыня.

— Что за притча, — проговорил боярин Колычев, расслышав слова старухи. — Куда же

он мог спозаранку отлучиться. Никогда этого не бывало.

Он нахмурился и, подумав, решил:

— Ну, семеро одного не ждут.

Затем он начал читать молитвы. Старуха-мамка стояла, как на горячих углях, переминаясь на месте с ноги на ногу и шевеля беззвучно сморщенными губами.

Едва кончилось утреннее моление, как она приблизилась к боярыне и шепнула ей с тревогой:

— И постелька его не смята, матушка-боярыня. Видно, и не ночевал дома!

— Господи, да что же это такое? — воскликнула всполошившаяся боярыня. — Степан Иванович, — позвала она мужа. — Подь сюда!

— Что тебе? — откликнулся он, вернувшись в опустевшую крестовую палату.

— Матушка говорит, что Федюша и не ночевал дома, постель, видишь, не смята.

Колычев в недоумении взглянул на жену и мамку, ничего не понимая.

— Так где же он? — тревожно спросил он. — Во дворец с вечера поехал, что ли? Или

у родных у кого-нибудь опозднился и заночевал? Никогда ничего такого не бывало. Не такой он человек, чтобы загуляться где-нибудь. Справиться надо, послать да разузнать.

В доме начался страшный переполох. Ни сам Колычев, ни его жена в первые минуты тревоги ума не могли приложить, куда исчез их старший сын, и всюду разослала за ним гонцов. Но поиски были тщетны: ни один ночной сторож на улицах, ни один сторож у городских застав не видал, чтобы в ночь проехал где-нибудь молодой боярский сын.

Старик Колычев стал делать разные предложения: утонул сын, убили его злые люди, за городом где-нибудь дикие звери растерзали. Боярыня Варвара со вздохом качала головой. Она уже успела побывать в комнате сына и увидела его одежды. Тут было все, что было вчера надето на нем, до последней сорочки. Припав в слезах лицом к этим вещам, она сразу поняла, что сын бежал из дому. Теперь, выслушивая предположения мужа, она не решилась сказать ему истину. Старики крепко любили друг друга, но это не мешало жене сильно побаиваться мужа просто по обычаю,

по привычке считать его владыкой и главой в доме. Наконец, она собралась с силами и опасно проговорила:

— Степан Иванович, ты не сердись, а вот что я тебе скажу: не в реке он утонул, купаючись, не злые люди, не звери лютые извели его... Ушел он, родной наш... ушел сам...

Степан Иванович посмотрел на нее такими глазами, как будто подумал, что она сошла с ума от горя, и только махнул рукой, промолвив:

— Эх, старуха!

— Да уж верно это, как Бог свят, — со вздохом сказала она.

Он опять взглянул на нее, видя, что она, должно быть, имеет основания стоять на своем.

— Ты с чего это придумала? — спросил он хмуро.

— Одежда его... все, в чем вчера по вечеру был... в покое его оставлена, — пояснила она, отирая слезы. — И ферязь, и рубаха, и сапожки...

Колычев сдвинул брови, нахмурил лоб и тихо проговорил:

— Так вот оно что!

Он засунул руку за пояс, другою стал разглаживать седую бороду и мерно зашагал по комнате, не говоря ни слова. Тысячи дум вертелись в его голове. Думал он и о том, что не легко было сыну пребывать во дворце среди не подходящих ему людей. Приходило в голову и то, что теперь во дворце еще было бы тяжелее быть Колычеву. Одних Колычевых чуть не вчера казнили смертью, а этот Колычев будет во дворце вертеться, гнаться перед князьями Оболенскими да Глинскими, обagrившими руки в его родной крови. Да, тяжело ему было! А ему, Степану Ивановичу, разве легко? Федор-то еще молод, ему легче горе да обиды сносить, а он, Степан Иванович, уже старик и послужить государству успел на своем веку, так ему бесчестье вдвое горше, вдвое больнее. Однако он не бежал же.

— Эх, сынок, сынок! — заговорил старик, не находя больше сил молчать. — Не пожалел ты моей седой головы. Вот нахвалиться люди не могли, какой сын у боярина Степана Колычева, в пример другим ставили, а теперь что я людям-то скажу, как родным покажусь, как

во дворце явлюсь? Пропал сын, а я, отец, и сказать не могу, куда пропал, зачем ушел, с чего бежал...

Боярыня Варвара тихо плакала и, видя, что муж больше опечален, чем сердит, осторожно заметила:

— Больше некуда было уйти ему, Степан Иванович, как в монастырь. Тяжко тоже ему было при дворе государевом... теперь-то Колычеву-то...

— А кому теперь сладко-то да легко, старуха? — проговорил Степан Иванович с горечью. — А все же не бегут добрые люди, а коли и бегут, так такие, как князь Семен Вельский, изменники да предатели своего государя, а не слуги его верные.

— Грех тебе это и думать, Степан Иванович! — с обидой в голосе попрекнула мужа Колычева. — Разве наш Федюша-то изменник, нешто мог он в Литву уйти? Она заплакала и повторила еще раз:

— Грех тебе! А еще отец! Он нахмурился.

— Чего попрекаешь? — сказал он более мягко. — Нешто я зову его изменником да предателем? Я-то не думаю этого и в помыш-

лении не держу того, да другие подумают, другим не запретишь. Разве не перемешаны, не засажены в тюрьму Колычевы-то? Иль то, что князя Андрея стояли, не из нашего рода, не новгородские Колычевы, а так ветром пригнало их, с неба упали? Кого уверишь, что и наш сын не на Литву сбежал? Чего проще! Испугался, что дознаются, как и он умышлял против государя, и бежал.

Боярыня упала духом. Злых людей много, всего от них ждаться можно. Она молчала, боярин опять шагнул из угла в угол, передумывая тяжелые думы.

— Повременить бы, пообождать бы немного, пока Господь даст на след попадем, и не рассказывать, что пропал Федюша, — наконец нерешительно посоветовала Колычева. — Мало ли что придумать можно: занедужилось ему либо по делам послал ты...

— Не врал я никогда, мать, да и не умею врать, — сурово сказал боярин, махнув рукой. — Да не тебе и учить меня этому... И тоже, скрывать станем — не скроем: уши да языки у всех есть. Вон гонцов разослали, по всему городу разнесется весть. Станем теперь

врать, хуже еще будет: чего теперь не думают, то тогда придет в голову...

И опять он повторил с горечью:

— Эх, сынок, сынок, не пожалел ты седой головы отца!

Но он не горячился, не кричал, не бранился, был только угнетен и подавлен. Слишком тяжело отозвались на нем самом последние события, чтобы сурово обвинять бежавшего сына. Боярыня Колычева ясно понимала, что происходит в душе ее мужа, и тихо заметила:

— Да и сама бы я не глядела на свет, с радостью пошла бы в монастырь, в тишине грехи замаливать...

— Полно, жена! — остановил ее муж. — И ты, и я пошли бы. Радости-то здесь нечего ждать. А дети? Кто их поднимет! Чай, не один сын у нас был?

— Ради них и живу в миру, — ответила она с покорным вздохом, — а то — ах, моченьки моей нет на мир-то этот смотреть да, только горя одного да обид ожидаючи, жить в нем...

В душе она вполне оправдывала бегство сына, так как и ее глаза не смотрели бы теперь на все, что делается вокруг, если бы бы-

да ее воля. Но, оправдывая сына, жалела она в то же время и мужа, которому было нелегко теперь рассказывать о том, что его сын пропал без вести. Не порешив ни на чем, муж и жена отдали себя в этом деле на волю Божию. Оба они не считали нужным высказывать свои предположения и просто заявляли всем, что их старший сын пропал. Куда и как пропал — этого они не знали. Догадок о том, что Федор Степанович ушел в монастырь, ни муж ни жена не высказывали громко никому, даже близким людям. К счастью Колычевых, Федор Степанович был настолько чистой и уважаемой личностью, что даже в это время, когда были уже беглецы в Литву и когда были уже изменники в семье Колычевых, никто ни на минуту не заподозрил в чем-нибудь дурном пропавшего без вести Колычева.

— Разбойники убили да ограбили, видно, — толковали люди, печалясь вместе с несчастными отцом и матерью Федора.

— А неровен час, в реке утонул, — соображали другие. — Долго ли до греха. Поехал искупаться, да и пошел ко дну. Тоже если после еды, так оно как раз можно. А дело летнее —

знойное.

— Да больше ничего и не придумаешь, — согласились трети: — либо утонул, либо лихие люди погубили, либо звери лютые съели.

Родные и посторонние дальше этих догадок не шли, и никому даже и в голову не приходила мысль о том, что молодой Колычев мог «бежать». Его так глубоко уважали, что заподозрить его в бегстве куда-нибудь на Литву не было никакой возможности. Об уходе же в монастырь никто из посторонних тоже не думал, так как в эту пору не очень-то часто молодые люди меняли веселый мир на скучную монастырскую келию, да и из обсуждавших вопрос о Колычеве никто бы не сделал этого. Притом если бы он ушел в монастырь, то его отыскали бы наверное. Его же нигде не находили, значит, он либо утонул, либо был убит и ограблен, либо съеден лютыми зверями. Все жалели о нем, все сочувствовали его родителям, все поминали его, как покойника. Знали истину только отец, мать да мамушка беглеца, и боярыня Варвара иногда вынимала тайком из окованного железом сундука пошевную рубаху, украшенную жемчугом фе-

рязь, дорогой пояс и, обливаясь слезами, целовала их — это единственное наследие ее погибшего любимца сына. Она-то знала, что не было бы этих вещей в доме, если бы сын погиб, а не бежал.

Но общественные дела слагались в это время в Москве так, что только мать да отец Федора Степановича долго горевали о нем, а посторонним людям было не до него.

Везде в Москве только и говорили, что о князе Иване Федоровиче Овчине-Телепневе-Оболенском. Ни для кого не было уже давно тайной, что он состоит в любовной связи с правительницей. Тайно многие женщины того времени вступали в незаконные связи с мужчинами, пользуясь услугами потворенных [18] баб. Жизнь терема, несмотря на замкнутость, была жизнью далеко не скромною. Окруженные более свободными в сношениях с мужчинами служанками, боярыни от безделья слушали всякие пустяшные речи этих женщин. Всякие пересмешные скоромские и безлепичные разговоры возбуждали их воображение, и нецеломудрие было явлением очень обыкновенным в тереме. Но если

потворенные бабы и сваживали молодых жен с чужими мужами, то это делалось всегда тайно. Явная же связь посторонних мужчины и женщины среди высшего круга была примером редким, а тем более на престоле. Одно это уже заставляло всех осуждать правительницу Елену и князя Ивана Овчину. Но этими, так сказать, бескорыстными порицаниями дело не ограничивалось. Всех возмущало тоже во все небывалое доселе явление — возвышение мужчины за то, что он был любовником женщины, угодником ее греховных страстей. Этим путем еще никто не вылезал в люди, и мужчина, даже из наиболее безнравственных, всегда настолько дорожил своим мужским достоинством, чтобы не идти в гору, услуживая бабе, существу, стоявшему по его понятиям очень низко. Мужчину, пошедшего на такое дело, нельзя было не презирать. Тем не менее десятки людей завидовали положению презрительного любимца, который ворочал всеми делами, был резок и строптив с князьями и боярами. Особенно косо смотрел на него князь Василий Васильевич Шуйский, нелегко подчинявшийся и законному само-

державцу, и уже вовсе не умевший подлаживаться к какому-нибудь князю Овчине. Надменный, суровый и жестокий, он не стеснялся никакими крайними мерами, и когда нужно было удержать за Москвою Смоленск, он принял энергичные меры: перевешал в виду литовских войск всех знатных жителей Смоленска, державших сторону короля. Злоба на правительницу и ее возлюбленного росла в нем с каждым днем, и в среде князей Шуйских уже громко начинали роптать и порицать правительство. Как-то незаметно и исподволь вооружилась вся Москва против великой княгини и князя Овчины. Люди князей Шуйских сеяли всюду вражду против правительницы и ее друга.

— Какая она государыня великая княгиня! — говорили пьяные гуляки. — Разве настоящая-то государыня связалась бы с князем Овчиной?

— Тоже перевела весь государев род, — рассуждали другие. — И князя Юрия, и князя Андрея через нее не стало. А тоже дядья государю великому князю были.

— Догуляется, что шею самой свернут!

Любви, уважения, жалости к ней не было уже ни в ком. Казалось, кто-то незримый и неведомый сеял ежедневно вражду к правительнице и ее другу.

Но счастливая любовью и легкомысленная пара влюбленных не замечала ничего и ликовала, устранив со своего пути и старика князя Глинского, и князя Юрия Дмитровского, и князя Андрея Старицкого. Окруженные молодежью, среди пышных приемов и торжественных поездов на богомолья, великая княгиня Елена и князь Овчина были совершенно покойны и самоуверенны. Они не считали даже нужным присматриваться поближе к таким людям, как князя Шуйские.

В феврале 1538 года пышный поезд великой княгини возвратился из Можайска, где находился чудотворный образ св. Николая и куда ежегодно ездил и покойный великий князь на богомолье. Великую княгиню сопровождал Весь ее нынешний двор, всегда готовый веселиться и бражничать. Поразительна была роскошь нарядов того времени, когда все блестело золотом, серебром, жемчугом и самоцветными камнями, начиная с обуви и

кончая головными уборами. Женские одежды походили тогда на мужские, но были кокетливее и грациознее. Особенно хороши были женщины в своих меховых шапках, надевавшихся поверх расшитых узорами, ловко повязанных убрисов [19] зимою и в щегольских белых поярковых [20] шляпах летом. Летние шляпы женщины, походившие на шляпы католических кардиналов, отделявались тоже золотыми шнурами и кистями и были едва ли не самым лучшим украшением женщин. Все заботились тогда очень сильно о своей внешности и делали все, чтобы смотреться красивее. Окруженная сотнями этих щегольски одетых женщин и мужчин, великая княгиня Елена Васильевна смотрелась настоящей царицей, превосходя всех и красотой, и умением одеться к лицу, и женственною ловкостью. Надо всем этим молодым и беспечным людом, состоявшим из таких личностей, как князя Горбатые, Глинские, Оболенские, казалось, не было ни тучки, впереди готовились только новые пиры и развлечения...

В обычно веселом настроении разошлись эти люди вечером 2 апреля, после возвраще-

ния с богомолья, надеясь провести так же бес-
печно и следующий день, как проводились
предыдущие. Однако во втором часу дня 3 ап-
реля на половине великой княгини произо-
шел страшнейший переполох.

— Беда! Беда приключилась! — вдруг раз-
дался неистовый крик одной из боярынь, вбе-
жавшей в покой Челядниной. — Государыня
великая княгиня Богу душу отдает!

Челяднина не вдруг поняла, что ей гово-
рят, и начала креститься, как от дьявольского
наваждения.

— В уме ли ты? Что говоришь-то? — загово-
рила она. — Не выпалась, что ли, или что
пригрезилось?

— Да иди же, говорю тебе, кончается! —
крикнула прибежавшая с роковою вестью
женщина.

Челяднина совсем растерялась и броси-
лась в постельный покой великой княгини,
ровно ничего не понимая. За каких-нибудь
полчаса она видела Елену здоровой и весе-
лой, а теперь во втором часу дня уже говорят,
что она умирает. Совсем это походило на сон.
Она вбежала к великой княгине и увидела

молодую прекрасную женщину распростертую на полу. Лицо правительницы было неузнаваемо: глаза впали и блуждали бессмысленно, вокруг них были синие круги, лицо покрылось мертвенною бледностью. Одна ее рука судорожно вцепилась в грудь, другая была около рта, и стиснутые зубы впились в ногти, по-видимому, от нестерпимой боли. Ее всю сводило в страшных конвульсиях.

— Матушка-государыня, что с тобой? — завопила Челяднина. Ответа не было. Елена не шевелилась. Челяднина коснулась до нее рукой — тело было уже почти холодно.

— Лекарей! Лекарей! — закричала боярыня и заметалась по комнате. — Феофила позовите! За князем Иваном пошлите!

— Преставилась! — проговорил кто-то из сбежавшихся в переполохе женщин.

Все вдруг оцепенели, точно пораженные громом.

Вид покойницы, положение ее тела, все ясно говорило, что она умерла в страшных конвульсиях и мучениях.

— Да Феофил-то где же? — кричала Челяднина. — Князь-то Иван где? Господи, что с на-

ми будет!

Она хваталась в отчаянии за голову и потеряла всякую способность понимать, что нужно делать.

Не прошло и нескольких минут, как явился во дворец Шуйский. Он был угрюм и спокоен. На суровом его лице не отражалось ничего: ни ужаса, ни печали, ни смущения, точно он уже знал то, что встретит здесь. Боярыня Челяднина, метавшаяся по покою, наткнулась на князя и отступила в ужасе: что-то злое бросилось ей в глаза в бесстрастном выражении этого неподвижного лица.

— Не голосить надо, а скорей снарядить покойницу да предать тело земле, — сухо, не торопясь, сказал он.

Челяднина отступила от него в сторону с растерянным видом и поспешила к великому князю Ивану.

— Государыня наша матушка преставилась! — завопила боярыня, бросаясь к своему питомцу. — Сирота ты наш горемычный! Ни отца-то, ни матери нет у тебя!

— Что случилось? — раздался около нее крик, полный отчаяния, и тяжелая рука опу-

стилась на нее. — Да говори же скорее! Говори!

Это был голос князя Ивана Федоровича Овчины. Он, как безумный, схватил сестру за плечо и тряс ее изо всей силы, требуя ответа.

— Не стало нашей государыни, не стало! — вопила Челяднина. — Осиротели мы, Ваня, голубчик! Все мы погибли!

Князь Иван, как сумасшедший, опрометью бросился к плачущему великому князю, поднял его на руки и осыпал поцелуями, обливаясь слезами.

— Матери нашей родной не стало! — продолжала вопить Челяднина. — Погубили ее злодеи! Сиротами мы остались!

И князь Иван, и малютка великий князь, и Челяднина были в отчаянии, забыли всех и все. Они бросились в покой великой княгини и бились, рыдая, у ее тела, не обращая внимания ни на кого. Едва они успели проститься с прахом великой княгини, как разнеслась весть, что тело приказано похоронить в тот же день, сейчас же, не мешкая, в Вознесенском монастыре. Всем, как полный хозяин во дворце, распорядился князь Василий Васи-

льевич Шуйский, сохраняя все то же холодное спокойствие.

— Это он, он, злодей, извел ее отравой! — шептала Челяднина брату.

— Ничего я не знаю, — отвечал он, рыдая. — Знаю одно, что навсегда — затмилось мое солнце красное! Чего же мне знать еще больше?

Князя Ивана Федоровича охватил никогда еще не знакомый ему леденящий душу ужас. Разом он вдруг понял, что для него потеряно всё со смертью страстно, безумно любимой женщины, и даже не пытался ни бороться, ни предпринимать мер, как будто все остальное в жизни уже не стоило ничего — ни забот, ни хлопот, ни борьбы. Как сильная, широкая и цельная натура, он не умел ничему отдаваться наполовину. Он весь был охвачен отчаянием, обливал слезами гроб великой княгини и обнимал ребенка великого князя.

— Кто извёл матушку государыню? — шептал в паническом страхе малолетний великий князь, напуганный и неожиданностью смерти, и быстрым изменением лица покойницы, и торопливостью похорон.

И, не дожидаясь ответа, он продолжал пугливо шептать:

— Шуйский? И нас изведет? Всех изведет?

— Ничего я не знаю, ничего! — шептал сквозь рыдания князь Овчина, не считая нужным даже клеветать на своего врага. — Осиротели мы с тобою, ненаглядный ты мой, осиротели.

Князь Шуйский с нескрываемым презрением смотрел на этого мужчину, бьющегося в слезах у гроба своей любовницы, и тихо ворчал:

— Стида в глазах даже нет... Баба и та постыдилась бы на его месте...

Боярыня Челяднина тотчас после похорон, устроенных наскоро, пробралась в опочивальню малолетнего великого князя, куда укрылись царственный ребенок и князь Иван Овчина. Глаза ее были еще красны от слез, но уже сухи. В лице выражались не скорбь и горе, но забота и тревога. Ее мысль была далека от смерти великой княгини и всецело была поглощена вопросами о будущем. Она опасливо спросила брата:

— Как же быть-то теперь, Ваня?

— Что Бог даст, то и будет, — ответил он безнадежно.

В его голосе послышалось холодное равнодушие, казалось, он смотрел вполне безучастно на самого себя.

— Погубит он нас всех, князь-то Василий, — сказала она плачевно.

— Во всем Бог волен! — ответил князь Иван. — Да и жизнь-то на что нужна?

— Да как же так? — растерянно проговорила Челяднина. — Неужто так и погибать.

Князь махнул рукою...

А в это время уже шло заседание в думе: председательствовал в ней и руководил всем князь Василий Васильевич Шуйский.

На другой день князь Иван Федорович Овчина, по неотступным просьбам и мольбам сестры, попробовал повидаться со своими друзьями и приверженцами, но все они растерялись и все не знали сами, что делать. Все знали, что умами думных бояр уже овладел вполне князь Василий Васильевич Шуйский. Бороться с ним было не под силу ни Горбатым, ни Оболенским, ни Глинским. На это у молодежи не хватало ни хитрости, ни сноров-

ки, ни опытности. Кроме того, она не сумела даже приобрести себе сторонников. Старое боярство и зажиточное купечество было на стороне князя Шуйского и его многочисленной родни. Нельзя было поднять даже бунта против этой довольно тесной сплоченной силы. Друзья несчастного любовника правительницы трепетали теперь за свою собственную жизнь и уже, конечно, не думали о спасении его.

Князь Овчина, по-прежнему равнодушный к своей будущности, снова вернулся к малолетнему Ивану и, словно желая отдаться под его защиту или провести последние часы жизни в обществе любимого ребенка, остался при нем. Они вместе плакали, вместе проклинали бояр, вместе грозили им.

— Я им покажу! Я их всех переведу! — грозил маленький великий князь.

На минуту у боярыни Челядниной, трящейся точно в лихорадке от малодушного страха, являлась надежда на этого защитника. Но что же могло сделать это несчастное дитя?

— Ваня, поездил бы ты еще! — умоляла она

брата.

— К кому? Зачем? — тупо спрашивал он. — Воскресят люди, что ли, мать нашу государыню?

Боярыня вздыхала и поясняла:

— Уж где воскресить! А только мы-то как же? С нами-то что будет?

— Поди, спроси у князей и бояр, — отвечал князь с горькой усмешкой.

И, снова охваченный отчаянием, восклицал:

— Скорей бы, скорей бы один конец!

— Ох ты, Господи! И что с тобой приключилось, — стонала Челяднина, качая в сокрушении головой. — На полчища врагов ходил... удержу нигде не было... а тут вот...

Князь Иван выходил из себя и гнал ее:

— Уйди ты с глаз моих, уйди! Слушать тебя мне тошно! Ну, ступай, валяйся в ногах у Шуйских, если жизнь так дорога. А мне...

Он безнадежно махнул рукою:

— А, да что ты понимаешь!

На седьмой день после смерти великой княгини Елены в покой великого князя ворвались вооруженные люди, чтобы схватить

князя Овчину и боярыню Челяднину. Никто не докладывал о них, никто не предупреждал, что они придут. Великий князь, увидев пришедших, страшно перепугался, ухватился ручонками за своих любимцев и начал во все горло кричать:

— Не отдам! Не отдам их! Как вы смеее их трогать? Я государь великий князь всея Руси!

— Именем старшего боярина князя Василия Васильевича Шуйского и боярской думы приказано взять их, — отвечали воины.

— Я государь, я! — кричал ребенок, топая ногами и плача в бессильном бешенстве. — Вы не смеее! Я не хочу!

— Пусти, государь! — сурово ответили пришедшие. — Все равно силой возьмем.

— Посмейте! Посмейте! — раздался снова гневный детский крик, и маленькие кулаки сжались с угрозой.

Его схватили и начали насильно отрывать от князя Ивана Федоровича и боярыни Челядниной. Он бился и дрался, вцепляясь ногтями и зубами в противников.

— Видишь, государь, твоей воли не слушают! — со слезами на глазах проговорил князь

Овчина и обнял бившегося в слезах ребенка. — Полно! Оставь!

— Злодеи наши и тебя изведут! — плакала боярыня Челяднина. — Помяни мое слово, золотой мой, изведут!

— Я не хочу, не хочу! — кричал мальчуган.

Но его взяли за плечи чьи-то сильные руки, до боли отогнули эти плечи назад, оторвали от князя Ивана и его сестры, и через минуту этих людей уже не было в комнате. Их Поволокли силой, пиная их ногами, ругаясь над ними. Великий князь повалился на пол и бился в бессильной бешеной злобе, колотя по полу руками и ногами. Его, однако, забыли и бросили. Забыли его до того, что он в этот день остался полуголодным.

Боярам было не до того: дел было много.

Князя Ивана Федоровича Овчину-Телепнева-Оболенского оковали страшно тяжелыми цепями и бросили в тюрьму на голодную смерть. Боярыню Челяднину сослали в Каргополь и постригли в монахини. Выпустили тотчас же из тюрьмы князя Ивана Вельского и князя Андрея Шуйского. Начался тотчас же и грабеж всего, что можно было разграбить,

сел и дворов покойных князей Юрия и Андрея Ивановичей, казны покойной великой княгини Елены Васильевны. Полузабытый великий князь и его брат оставались иногда почти голодными, в то время как бояре хозяйничали во дворце. Ими не интересовался никто, так как от них нечего было ждать покуда ни зла, ни добра...

Раз великий князь забрел в опочивальню своего покойного отца; здесь был полный беспорядок — на полу валялись вещи покойной великой княгини Елены Васильевны, и боярин Михаил Васильевич Тучков небрежно пинал их ногами, как какую-нибудь дрянь. Князь Иван Васильевич Шуйский, сидевший тут же, полуразвалясь на лавке, облокотился на стол и положил ноги на постель покойного великого князя. Ребенок-государь с гневным выражением лица остановился в дверях, видя этих наглых грабителей, и сжал кулаки в бессильном бешенстве.

— Все поплатитесь! Всех изведу! — бормотал он шипящим голосом. — Я государь! Мать извели, князя Ивана уморили, маму увезли... Я отплачу...

Бояре не обратили на него никакого внимания в эту минуту грабительства.

Часто вообще не обращали они на него внимания, когда он приходил в бешенство от их наглости.

Среди преданных московскому самодержавию людей распространялась тревога и царствовало уныние. Великая княгиня Елена Васильевна могла смущать преданных престолу людей своим зазорным поведением, но, помимо этого легкомысленного отношения к нравственности, она являлась твердой и ревливой оберегательницей своих прав и прав своего сына, доходя даже до бессердечной жестокости. Теперь было не то: о правах государя не думал никто и государственная жизнь сводилась на борьбу бояр из-за главенства. Власть стала добычею, брошенною псам, и они перегрызали из-за нее друг другу горло. Это отлично понимали такие люди, как старики Колычевы. Нередко, беседуя теперь с женой о дворцовых событиях, Степан Иванович Колычев говорил:

— Да, счастлив тот, кто унес свою голову целою из дворца!

— Не говори ты уж лучше, Степан Иванович, — замечала Колычева. — Сама я об этом сто раз думала.

— Да, да, — соглашался он. — Бог весть, что еще ждало Федора...

И, качая в раздумьи головой, он рассуждал:

— Кто думал, кто гадал, что вдруг не станет и государыни великой княгини, и князь Овчина свалится, и Челяднина Аграфена в монастырь попадет, и князю Вельскому исконные его враги князя Шуйские двери темницы откроют...

И старик глубоко задумался о павших и возвысившихся, о происшедших и готовящихся событиях, и боярыня Варвара тихо шептала молитву, покорно преклоняясь перед Господней волей.

— Неисповедимы судьбы Господни, — шептали ее уста, и в душе уже не было ропота за то, что Господь отнял у нее любимого сына.

Мысленно она видела его молящемся в тихой кельи, и это утешало ее. Здесь, в мире, быть может, ей пришлось бы видеть его в темнице или на плахе. Такие люди, как кня-

зья Шуйские, никого не пощадят...

* * *

Во дворце начиналось новое течение. Там наступал уже день, когда нужно было вспомнить и о великом князе, об этом несчастном ребенке, еще недавно слышавшем при всем собрании бояр и из уст митрополита просьбу о соизволении на войну и важно восседавшем на престоле, принимая коленопреклонного царя казанского, а теперь зачастую голодавшем по небрежности окружающих.

Князь Василий Васильевич Шуйский, встав во главе всего правления, не довольствовался тем, что он был потомок удельных князей, и хотел еще ближе стать к государю, породнившись с ним. Несмотря на свои шестьдесят лет, он женился на юной Анастасии, дочери казанского царевича Петра. Честолюбие его не знало пределов, и он ни на минуту не забывал, что он потомок удельных князей. Он и его брат, князь Иван Васильевич Шуйский, казалось, забрали всю власть в свои руки и сами были государями... Но это было не по вкусу таким людям, как князь Иван Вельский и Михаил Тучков. Они вспом-

нили о настоящем государе, великом князе, поняв, что он может быть оружием в их руках, и начали заискивать у ребенка, ходатайствуя у него за своих близких и сторонников. Прежде всего начались хлопоты за то, чтобы пожаловать боярством князя Юрия Михайловича Голицына и окольниковством Ивана Ивановича Хабарова. Великий князь был согласен на их просьбу: ему было все равно, кого и во что производить, благо он слышал лесть и чувствовал себя государем. Князья Шуйские воспротивились этому назначению. На сторону князя Вельского и Тучкова встали митрополит Даниил и старый дьяк Федор Мишурин. Дьяки со времен великого князя Василия Ивановича привыкли играть выдающуюся роль; Мишурин был из их числа.

Произошла ожесточенная схватка в заседании думы.

— Благодарности в людях нет, — кричали князья Шуйские, считавшие себя не без основания благодетелями князя Вельского. — Подлыми происками да кознями пролезть хотят вперед.

— Власть-то силою в руки захватят, да и

делают что хотят, — попрекали с другой стороны князь Вельский и Тучков. — Государевой воли не слушают, а только его именем дела ведут.

— Государь еще малолетен, так не ему дела решать...

— А когда самим выгодно, тогда и на малолетство его не смотрят...

Посыпались бранные слова, попреки и обличения. В подобных случаях всплывала наружу вся подлинная грязь. Никто не стеснялся обличать громогласно своих противников и ругать их площадными словами.

Тогда князя Шуйские распорядились по-своему: схватили снова князя Ивана Вельского и заключили в тюрьму. Его сторонников разослали по деревням. Дьяка же Мишурина князя Шуйские поймали на своем дворе, приказали ободрать княжатам, боярским детям и дворянам, велели его положить голого на телегу, свезли на площадь перед городской тюрьмой и здесь отрубили ему голову без ведома государя, но его именем.

Массы народа сбежались смотреть на это давно уже не виданное зрелище. Везде толко-

вали:

— Вон как бояре распоряжаются. Не понравился — и голову долой.

— Плевать им на дьяков, и не с такими справятся.

— Что говорить, у них сила, а государь малолетен...

Не удовольствовались князя Шуйские этим. Несмотря на то, что князь Василий Васильевич Шуйский умер почти скоропостижно в эту пору, князь Иван Васильевич Шуйский остался у власти и сверг с митрополии митрополита Даниила за его заступничество за князя Вельского.

— С чего владыка-то ушел с митрополии? — спрашивали москвичи, недоумевая.

— Велят, так уйдет, — отвечали другие. — Не ушел бы, так, может, и с ним, как с Мишуриным, покончили бы.

— Ну, с владыкой-то! — сомневались третьи.

— А что ж, что с владыкой? Теперь вот и пришлось подобру-поздоровому самому уйти...

Действительно, Даниил не только должен

был уйти, но и принужден был объяснить униженно причину своего ухода. Этот еще недавно ловкий придворный и блестящий проповедник смиренно писал теперь: «Се яз смиренный бывший митрополит Даниил всея Руси, пребывшу ми в митрополии на Москве время довольно и так по неколицех летех едва в себе бывшу ми, рассмотрих разумения свои немощна к такому делу и мысль свою погрешительну, и недостаточно себя разумех в таких святительских начинаниях, отрекохся митрополии и всего архиерейского действия отступих». Ни возвращение в монастырь, ни обречение себя на молчальное житие не могли быть по вкусу тому, кто привык быть и чревоугодником, и потатчиком власти. Но перед князьями Шуйскими смирились все...

Не смог смириться перед ними один строптивый ребенок. Этот ребенок был великий князь Иван.

Видя, что у него отнимают преданных ему людей, он гневно роптал на захвативших власть бояр, а около него уже собирались наушники и желавшие выслужиться пройдохи.

Его вооружали против князей Шуйских, указывали на их алчность.

— Сам я видел, как они нашу казну после смерти матери грабили, — говорил он хмуро, слушая наушников.

— Да, да, это Шуйские казну деда и отца твоего пограбили, — подстрекали его втиравшиеся к нему в милость люди, — сосуды золоты и серебряны исковали из нее, имена родителей своих на них подписали, будто это их родительское стяжание. А всем людям ведомо: при матери твоей и у князя Ивана Шуйского шуба была мухояр зелен на куницах, да и те верхи.

— Грабили, да еще ногами пинали матери моей добро, — злобно жаловался он. — А князь Иван ноги на постель отца клал.

— Да, а твоим именем и Мишурина истерзали, и владыку согнали, — подливали масла в огонь окружающие.

Что-то мелочное и бабье было во всех этих толках и сплетнях, но именно эти мелочи и воспринимались злопамятным ребенком.

Он слушал и грозил, что в будущем эти люди узнают, каково издеваться над государем.

Глубокая ненависть к боярам уже сказывалась в этом ребенке, видевшем так много зла на своем веку.

От внимания бояр не могла укрыться эта злоба: дворец теперь полон доносчиков, наушников и шпионов. Бояре нашли средство умерить гнев мальчика.

— Играми бы ему тешиться, а не в дела мешаться, — толковали князя Шуйские. — Мал еще, чтоб дела ведать...

И вот вокруг него начала собираться разнузданная молодежь, развращенная до мозга костей, и тешила его. Тешила она его так, что с нею он забывал все. Он предавался несвойственным его возрасту порокам, развратничал с сверстниками в самом дворце, ездил на охоту, особенно наслаждаясь муками недобитых животных, сбрасывал ради мучительства собак с высокого крыльца, смотря, как они с визгом и воем разбивались о помост, скакал на бешеных лошадях, давя на улице прохожих и заливаясь смехом в ответ на пугливые крики или стоны. О делах не было уже и помину.

— Пусть себе тешится, — говорили Шуй-

ские. — Малолетен еще!

Кроме бесчинств юного государя бесчинствовали теперь в Москве князья Глинские и их челядь, бесчинствовали и князья Шуйские, и их холопы. В городе же только и разносились слухи о том, что одного боярина схватили и посадили в темницу, другого сослали в заточение. Одни правители сменялись другими. Едва успели поставить на место лишённого метрополии Даниила нового митрополита Иоасафа, как и он оказался негодным князю Ивану Шуйскому, в свою очередь лишившемуся на время власти и смененному опять князем Иваном Вельским.

Князь Иван Шуйский не мог этого стерпеть и устроил настоящий заговор. Ночью 3 января 1542 года в Кремле произошел открытый бунт. Бунтовщики схватили князя Ивана Вельского в его доме, из покоев юного государя вытащили князя Петра Щенятева, начали бить камнями окна в митрополичьих палатах, погнались за митрополитом сперва в Троицкое подворье, потом в покои государя, притащили придворных попов и приказали за три часа до света петь заутреню.

Дворец походил в эту ночь на лагерь опьяневших мятежников, и несчастный мальчик великий князь дрожал, как в лихорадке, от страха за себя, не смея ни за кого вступитьсь, не смея никого выгнать.

Для Москвы наставали времена бунтов и казней...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Суров и дик был в старые годы малонаселенный север с огромными глыбами различных каменных пород, как бы набросанными какими-то титанами среди то песчаных, то болотистых местностей, с его первобытными лесами, с высокими, большею частью хвойными деревьями, с мелким спутанным кустарником, почти без проезжих дорог, с узкими тропами, там и тут проложенными не то зверьем, не то людьми. Легко было здесь затеряться путнику, даже знающему с малолетства эти лесные тропы, и еще опаснее было попасть на них пришельцу из далекого края. Надо было хорошо знать местность, чтобы не затеряться в этом диком, созданном самой природою лабиринте, изучить здесь каждый камень, каждый пригорок, которые только и служили указаниями, куда надо свернуть, вправо или влево, чтобы попасть в то или другое место. Особенно невесело было по-

пасть сюда в пасмурные дни, когда и без того мрачный хвойный лес и темные каменные глыбы смотрят еще угрюмее и суровее.

В один из таких летних дней, когда по небу клубились низко нависнувшие над землею черные тучи, по лесу заонежской пятины новгородской области брел одинокий путник. Он был еще молод, строен, красив собою, но изнурен до последней степени. Крайняя усталость сказывалась в его походке, в выражении его сильно осунувшегося лица. Он был одет в крестьянскую бедную одежду, и она была крайне заношена, местами прорвана. Лапти едва держались на сильно натертых распухших от долгой ходьбы, местами исцарапанных до крови и едва переступавших ногах. Сразу можно было определить, что он долго был в дороге и не спускал с плеч своей одежды. Добравшись по пустынной тропе до одного из перекрестков, он на минуту усталю, с беспомощным выражением на лице, остановился в раздумьи.

— Куда теперь идти? — проговорил он, бросая тревожный взгляд кругом. — Кажись, совсем я сбился с дороги.

Он огляделся, вздохнул и решил:

— Что ж, пойду вперед этою же тропой. Авось, дойду до какого-нибудь жилья. Свернешь, еще более запутаешься.

Он продолжал путь по той же тропе, по которой шел, миновав перекрестные дороги. Тропа, извивавшаяся между зеленых стен непроходимого леса, поднималась теперь в гору и идти по ней было нелегко.

Тучи над темным лесом в это время начали рассеиваться, сквозь них стали показываться клочки бледного голубого неба. Лес постепенно начал редеть, и совершенно неожиданно перед путником, поднявшимся на возвышенность, развернулась странная картина. Проглянувшее из-за туч солнце ярко озаряло сверкающим светом огромное водное пространство, раскинувшееся у подножия возвышенности, на которой стоял теперь путник. Казалось, он стоял теперь на берегу широкого моря, залитого солнечным светом. Противоположных берегов не было видно, точно этому водяному бассейну не было и конца. На несколько минут путник залюбовался развернувшейся перед ним картиной — этим озе-

ром с густо заросшими лесом берегами, с массаами каменных глыб, волнообразно поднимавшихся то тут, то там, с яркою зеленью мхов и светлыми пятнами беловатого песку на прибрежных отмелях. На мгновенье в голове странника мелькнула мысль, не дошел ли он до Студеного моря, и радостное чувство охватило его. Но это длилось недолго: он тотчас же опомнился и со вздохом подумал, что этого не может быть, что до Студеного моря, вероятно, нужно идти еще сотни и сотни верст. Он присел на первый попавшийся бугорок и стал с вершины всматриваться в прозрачную даль. Вокруг него царствовала невозмутимая тишина, точно он был здесь единственным живым существом, стоявшим лицом к лицу с этой дикой, девственной природой. Его охватило жуткое чувство от сознания этого полного одиночества. Однако пристально осматриваясь кругом, путник был охвачен внезапно радостным чувством: в стороне он увидал ряд темных и жалких лачуг, покрытых мхом.

— Слава тебе, Господи, деревня, — тихо сказал он. — Хоть кров найду.

Он смутно почувствовал, что дальше идти у него, пожалуй, не хватило бы силы. Очень уж измучило его долгое скитание по глухим лесам и холмам. Отдых был необходим. Ему нечем было заплатить за ночлеги или за кусок хлеба, но он не сомневался в том, что ему дадут и то, и другое. Не раз уже он пользовался гостеприимством простого народа, всегда готового помочь нищему и страннику, собирающимся Христовым именем. Он побрел по направлению к деревушке и остановился у первой избенки.

— Впустите, добрые люди, Христа ради, отдохнуть и переночевать, — сказал он, оставившись в дверях сильно закопченной курной избы.

В избе находилось несколько человек баб, мужиков и ребятишек, только что усевшихся за обед. Все они были белокуры, голубоглазы, приземисты. Но пришельцу трудно было рассмотреть что-нибудь здесь сразу, так как свет падал в избу почти только из одной открытой двери. Волоковые окна, скорее похожие на продольные щели и предназначенные, главным образом, для пропуска из избы дыму,

вовсе не освещали ее внутренности. Один из мужиков, очевидно хозяин избы, окинув глазами пришедшего, стоявшего в отворенных дверях темным пятном на светлом фоне, спросил:

— Да ты откуда?

— Из-под Новгорода...

— Сюда-то как попал?

— Пробираюсь к Студеному морю... в обитель преподобных Зосимы и Савватия...

— Ну, не близкий конец...

— С дороги сбился, видно...

— Так оно и есть, что сбился! — ответил хозяин. — На Онежское озеро попал... Крюку дал...

И видя, что странник едва стоит на ногах, он с добродушной грубоватостью прибавил:

— Что ж, иди в избу, чего на пороге-то стоишь. Для странного человека да для богомольца кусок хлеба найдется...

Путник вошел, перекрестился, устремив взгляд на передний угол закопченной дымом избы, и тяжело в изнеможении опустился на лавку около дверей. Хозяева сидели вокруг стола. Перед ними стояла большая чашка с го-

рячей, дымившейся рыбной похлебкой. Они немного раздвинулись, и хозяин указал на пустое место прищельцу. Он снова перекрестился с глубокой набожностью и сел за стол.

Давно уже он не ел горячего, питаясь в пути чем и как попало, по большей части обломанными ломтями и краюхами хлеба, пор да черствого, с примесью коры и Бог весть еще чего. Как дельвали, пускаясь в путь, ессеи и первые ученики Христовы, но не запасся на дорогу ни двумя одеждами, ни медью при поясе и жил во все время своего странствования тем, что давали ему добрые люди, иногда почти такие же нищие, как он сам.

В течение некоторого времени в избе хранили молчание, искоса поглядывая на странника. Много их бродило в те времена по деревням — беглые, нищие, разбойные, богомольные люди, все являлись в одном и том же рубище, все одинаково были голодными, все одинаково просили и хлеба, и ночлега Христовым именем. Этот странник не возбуждал никаких опасений. Напротив того, он пробуждал во всех видимое участие. Молодость, кроткое выражение лица, сильное из-

нурение, какая-то особенная хрупкость всей его тонкой, стройной фигуры, все это пробуждало участие и жалость к нему. Первая заговорила одна из женщин, жалостливо, своеобразно певучим голосом заметив ему:

— Недужится тебе, видно, болезный?

Путник очнулся.

— Нет, притомился только, — ответил он тихо. — Долго шел.

— Передохнуть тебе надо, а так-то не дойти тебе до Студеного моря... Не близок путь, родной.

— Чего близкий, — заметил один из сидевших за столом мужиков. — Пока еще до моря доберешься, а там плыть верст триста придется.

— Ну, триста! — возразил другой мужик. — Можно и сто с небольшим сделать, коли с другого конца, с Выги.

— А ты доберись до Выги... в болотах застрянешь, тоже леса. Не будь этого, так и всего-то можно по морю конец верст в шестьдесят отмахать... Чего лучше!

Мужики заспорили, как и откуда лучше добраться до Соловков. Хозяин, не вмешива-

ьясь в их спор, спросил гостя:

— В монастырь-то помолиться идешь или и остаться там хочешь?

— Как Господь даст, — ответил пришелец. — Поработать хочу в обители... оставят совсем — того и хотел бы.

— Так, — согласился хозяин. — Дело доброе... Опять все помолчали.

— А ты вот поешь да сосни, — заговорила снова заботливо хозяйка все тем же певучим голосом. — Сил тебе набраться надо. Так не дойдешь, право слово, не дойдешь. Ишь ты, похудал как, в чем душа держится.

Странник поблагодарил ее. Похлебка была съедена, все поднялись с мест, стали креститься. Хозяйка указала путнику на сарай, где еще были остатки прошлогоднего сена.

— Вон сосни там, на сене-то...

Он тихо, пошатываясь и прихрамывая, пошел к сараю. Теперь усталость его была уже нестерпима. Он чувствовал, что еще бы день — и он свалился бы с ног. До этой минуты он даже и не подозревал, что он утомился до такой степени: пока шел, все казалось, что еще может идти и дальше, а тут словно разом

оставили его все силы. Добравшись до сарая, он в изнеможении опустился на сено, снял лапти с ноющих ног и впал в полное забытие. Это был сон, похожий на обморок.

Семья крестьянина собралась перед избой на завалинке и заговорила о прохожем. Сердобольная хозяйка начала говорить о том, что не дойдет никогда болезненный странник Божий до Студеного моря. В чем душа только в нем держится. Молод еще, сил не нагулял и, видно, впервые странствует. Хозяин лениво заметил, что ничего, — парень молод, поотдохнет, наберется сил и дойдет. Другие же доходят.

— Пусть поживет денек другой, не объест тоже, — вопросительным тоном нерешительно сказала хозяйка.

— Известно, не гнать же недужного, — согласился хозяин.

Сидевшие тут же мужики начали толковать о том, кто бы мог быть этот парень. Божий человек или беглый? Народа теперь всякого много бродит.

Была уже вечерняя пора, а странник все спал как убитый. Раза два заглядывали в са-

рай хозяйева и, видя, что молодой парень спит, решили не будить его до утра, понимая, что сном все как рукой снимет. Рабочему народу была хорошо известна целительная сила сна.

На землю спустилась белая северная ночь и быстро уступила место румяной заре. Горластый петух громким криком возвестил о наступлении утра. Ему ответили где-то подальше другие петухи, и началась их обычная перекличка. Когда странник, пробужденный этим раздавшимся где-то близко-близко около сарая криком, проснулся, — было уже совсем светло. Утро было ясное, теплое, солнечное. Не сразу понял бедняк, где он и долго ли он спал. Присев на сене, он огляделся, увидел, что сквозь многочисленные щели кое-как сколоченного из досок сарая светит дневной свет, услышал на дворе движение людей, где-то поблизости блеяли овцы, ржала лошадь, мычала корова. Он стал соображать, что с ним случилось, в какую местность он попал и как попал в нее. Мало-помалу сознание вполне воротилось к нему.

— На Онежское озеро попал, — рассуждал он. — Видно, как переходил от Кириллова мо-

настыря, так тогда и сбился с дороги, меж Белым озером и Лачей, к западу уклонился. Теперь не скоро доберусь до настоящего пути.

Он вздохнул.

— Не привыкнешь, видно, скоро-то к новой жизни. Ветхого человека нелегко с себя стряхнуть. Тридцать лет в мягкости и покое прожил, когда другие тяжелое бремя труда несли.

Он поднялся, помолился и вышел из сарая. На дворе хозяйка дома уже была за работой и сновала взад и вперед, насыпая муки для хлебов и шлепая по пыли босыми ногами. Это была коренастая женщина средних лет, с светлыми волосами, с светло-серыми глазами, с немного воспаленными красноватыми веками, с коротким и толстоватым носом, не особенно красивая, сильно загоревшая и рано состарившаяся. Кожа ее лица, рук и ног, сильно загрубевшая и местами потрескавшаяся, была гораздо темнее ее волос. Судя по количеству птицы и скота, можно было сказать, что хозяева этой избы, правда, тесной, почерневшей и как бы одряхлевшей, но окруженной тем не менее множеством сарайчиков, хлеву-

шек, стойл, были не бедны, однако хозяйка была одета чуть не в рубище, почти в одной толстой и длинной рубахе, ноги были босы, а ребятишки ее, беловолосые, как мать, были почти голы и едва прикрыты коротенькими и разорванными рубашечками. Пришелец поздоровался с нею.

— Ну, что, передохнул немного? — певуче спросила она, ласково и участливо взглянув на него.

— Благодарствуй, поотдохнул, — сказал он.

— Мы и то заглянули на тебя — ровно помер, так спал, — пояснила она. — Не стали и будить, хворь всякая сном проходит.

Он предложил ей свои услуги:

— Не надо ли чего поделывать, я помогу.

— Где тебе! — сказала она и усмехнулась, показав два ряда еще здоровых и сильных белых зубов. — Ишь, совсем изморился!

— Ничего, — ответил он. — Ведь и в монастырь иду не на отдых.

— Ну, а ты погоди в монастырь-то идти, — коротко и решительно проговорила она. — Монастырь-то не уйдет. Путь далекий. Не ровен час, на дороге Богу душу отдашь, вот тебе

и будет монастырь. А ты поживи здесь, поотдохнешь, тогда и иди.

Она, наклонившись всем корпусом, принялась за мытье какой-то кадки, выскабливая из нее грязь, и продолжала обстоятельно рассказывать, как труден и далек путь к Студеному морю. Леса непроходимые, болота невылазные, полное бездорожье. Все это он знал теперь хорошо и без ее рассказов, по личному опыту. Недаром он прошел уже не одну сотню верст. Он присел на приступок избы и, опустив на грудь голову, слушал ее рассказы, передаваемые ею ее своеобразным певучим голосом. Этим говором, как он убедился потом, говорили здесь все женщины.

— От нас из Хижей ходили тоже богомольцы, так сказывали, — закончила она свой рассказ. — Вестимо, у кого деньги, те все больше водой, ну, оно и легко, а пешему — беда.

Он поднял голову.

— Как никак, а идти надо, — проговорил он.

— Да тебе ко времени поспеть надо, что ли? — спросила она, приподняв голову от кадки, и, бросив на него искоса несколько подо-

зрительный взгляд, добавила пытливо: — Иль, может, нельзя здесь мешкать... Тоже всяко бывает...

Он понял, что она считает его беглым, боящимся преследований, и сказал:

— Не к спеху, а что же я даром хлеб-то буду у вас есть, чай, и самим нелегко живется.

— Где легко! — согласилась баба и со вздохом, как бы жалуясь, прибавила. — Так-то ину пору нелегко, что а-ах! Рыбой вот только и кормимся, а хлеб у нас плохо родится. Лесов больно много, а под увеем хлеб не растет. Бога гневить не хочу, худоба кое-какая есть, а все же — налетит беда, отворяй ворота. Дерут у нас с живого и с мертвого. За что, про что — не знаем, люди мы темные. Так еще тянешь день за день, а случись до суда дойти — в разор разорят. Все пограбят. Ох, жизнь!

Она махнула безнадежно рукой, потом, переменив тон, добавила:

— А все же болящего да усталого не выгоним. Ину пору, может, и не добрый человек именем Христовым просит, а и тому подадим Христа ради. Вот подожди, ужо мой Суббота, сам-то, хозяин-то, вернется, потолкуете. Ты

нам, в чем можешь, пособишь, а мы тебя покормим. Пора летняя, батраков тоже принимаем. Сама-то я дома до домашеству с ребятенками вожусь, а мужики в поле робят. И не одне руки, а со всем не управиться. Лето-то не долго, а что теперь сrobiшь, тем зимой и живешь. Тебя звать-то как?

— Федором, — ответил путник. — Федор Степанов зовусь.

— Так, — сказала хозяйка, кивая головой. — Так вот пообожди Субботу, он придет — потолкуете.

Она казалась добродушной и словоохотливой; в переливах ее певучего голоса было что-то особенно приятное; в ее рассказах о их житье-бытье была странная смесь, то жалоб на тягость положения, то некоторые гордые намеки на зажиточность; она словно боялась, с одной стороны, сказать, что они не бедные люди, а с другой, видимо, не хотела, чтобы пришелец счел их за нищих. Двойственность сказывалась, и в то же время она с любопытством бросала порою в его сторону испытующий взгляд, в котором были и тревога, и сомнения, и опасения.

В ответ на ее предложение Федор ответил:

— Хорошо, я и сам рад теперь отдохнуть от пути, а даром хлеба тоже есть не стану.

Хозяйка, добыв кадку, направилась в избу, а он остался сидеть на приступке, задумчиво глядя на видневшееся сквозь отворенные ворота озеро, расстилавшееся у подножия деревни. Там, внизу, на отлогом, песчаном берегу озера, по обыкновению уже немного обмелевшего к середине лета, шла довольно оживленная работа рыбаков, чинивших сети, челны и лодки; тут же играли и шлепали по воде полуголые ребятишки. Весь этот народ был приземист, коренаст, белокур, не особенно красив, покрыт очень сильным загаром. Поражала тишина, господствовавшая тут; разговоров мужиков почти не было слышно, все работали молча и двигались несколько медленно и неповоротливо. Что-то сонливое было в выражении всех этих лиц.

К обеду вернулся домой хозяин избы, Суббота, и его братья. Суббота, как и его односельчане, был белокурый, коренастый и мешковатый мужик. Говорил он немного, коротко, несколько вяло. Он приветливо поздоро-

вался с молодым парнем, и, когда жена сказала ему, что Федор готов у них побатрачить летом, он тотчас же, без дальнейших обсуждений вопроса, согласился оставить парня у себя.

— Дела найдется в доме, а ты отдохнешь, — сказал Суббота. — Вон у меня и овец пасти некому. Это дело, поди, как раз по тебе. Тоже ледащ ты, парнюга, многого не сробишь...

Он точно случайно взглянул на руки молодого странника и заметил, что они малы, не похожи на мужицкие руки.

— К нашей-то работе ты, чай, и не пригоден, силы нет...

Федор слегка смутился, даже покраснел и поторопился разуверить мужика.

— Дай работу, тогда увидишь, — ответил он. — И под Новгородом так же работают, как у вас. Я не от дела бегу, а на труд иду. В монастыре сложа руки сидеть не позволят.

— Где позволить! Там не такой народ, чтобы без дела сидеть, все работники...

Семья уселась за обед.

Федор решил остаться батраком у Суббо-

ты. Он чувствовал, что силы ему изменяют, если он пойдет теперь же дальше. Чем больше он говорил с Субботой и его женой о Соловках, тем яснее он сознавал, что было бы слишком опасно пускаться в дальний путь, не подкрепив своих истощенных сил. Тем не менее он не хотел и здесь даром есть хлеб и стал работать как настоящий батрак, как вполне здоровый человек. Принести воды, наколоть дров, починить рыбацьи сети или челнок, поправить то, что разваливалось в хозяйстве, все это он исполнял охотно, заботясь более всего о том, чтобы ничем не отличаться в труде от настоящих мужиков.

Но главною его обязанностью было пасти стадо овец.

С ними, опираясь на посох, в своем жалком рубище он отправлялся на заре далеко от деревни Хижей, подобно множеству других деревень, раскинувшейся на берегу Онежского озера, забирался на возвышенности, за лес, в поле со своими овцами и прежде, чем пасти словесных овец, пас бессловесных. Среди полного затишья северного леса, среди безлюдья, он отдыхал и телом, и душой. Много дум про-

ходило в его голове в эти часы уединения — дум не о прошлом, не о блестящем дворе, не о чудной тихой комнатке с массою книг, не о казни и печалях родных и близких, так как все прошлое теперь умерло для него и он умер для этого прошлого, но дум о будущем, о полном превращении в крестьянина и о продвижении труда на пользу ближних. Казалось, он хотел упорной работой рука об руку с народом и среди народа загладить, так же как и молитвою, невольный грех своего происхождения, прошлого бездействия, минувших удобств, всего того, что было куплено на счет народного труда. Но, работая здесь, он многому научился, многое узнал, чего не могли ему сказать никакие проповеди того времени. Добродушные люди Суббота и его жена, их односельчане, жители деревни Хижей, или Хижин, открыли Федору глаза на изнанку тогдашней деревенской жизни. Чего не мог бы узнать из быта народа боярин, то легко мог узнать батрак, живя и работая изо дня в день с крестьянами, ничем не отличаясь от них. Полное отсутствие справедливости и правосудия, неопределенность тяжелых поборов, гра-

бительство со стороны каждого власть имеющего, расстройство крестьянских хозяйств от лени и беспечности, губительного пристрастия к водке, к страшно распространенной игре в зернь, неуменье распорядиться даже своею собственностью вроде бестолковой рубки леса, все это он видел здесь близко и мог оценить и взвесить вполне. Порой его удивляло полное тупости равнодушие этих людей, даже относительно зажиточных, как семья Субботы, ко всяким внешним удобствам, к чистоте, к порядку; казалось, они, привыкнувшие к тому, что их всегда могут обобрать и ограбить, относились безучастно ко всей своей собственности — сегодня есть все, завтра может не быть ничего, что же дорожить всем этим, зачем заботиться об этом. Он подметил, особенно в женщинах, вроде жены Субботы, таких же словоохотливых и так же говоривших нараспев, как она, даже известную боязнь выказать свой достаток, известное стремление скрыть следы этого достатка куда-то в подполье, в лес; с этими чувствами, видимо, боролось другое, противоположное чувство — желание, чтобы люди не считали

их нищими, беспорядочными и нехозяйственными людьми. Борьба этих противоречащих одно другому стремлений сказывалась ясно: то слышались жалобы на тяжелое положение, то говорилось, что, слава Богу, жить можно. Иногда его удивляло отсутствие всякой сноровки, всякой изобретательности в этих немного сонливых и малоподвижных делях севера. Совсем непривычный к крестьянскому труду, он делал все и скорее, и искуснее, и с большею легкостью, чем остальные крестьяне. Крестьяне дивились, когда он исполнял какую-нибудь работу.

— Сноровки у Федора страсть сколько! — говорил Суббота, наивно и простодушно изумляясь его изобретательности. — Силы мало, а сноровка велика. Ловок он больно.

— И уж как до работы лют, кажись, так бы и робил, рук не покладая, — выхваляла батрака и жена Субботы.

И прибавляла:

— Уж одно сказать: батрак, а ину пору сами говорим ему: довольно, оставь, работа не волк, в лес не убежит. Другого-то в спину толкать надо...

Слушатели шутливо замечали:

— Ну, да что ж, работа, видно, ему впрок идет: пришел — одни кости да кожа были, совсем лядащий парнишка был, а теперь вон и в тело вошел.

Действительно, Федор, несмотря на все свое трудолюбие, заметно поправился, окреп и поздоровел. Смолистый воздух хвойных деревьев сделал свое дело, и молодость взяла свое. На загорелом лице молодого человека заиграл снова румянец. Чувствуя в себе новые силы, Федор задумывался уже о продолжении путешествия. Все чаще и чаще, сидя где-нибудь на пригорке среди своих овец, он устремлял взгляд в синеющую даль. В воображении рисовалось безбрежное море с большой группой островов посередине, с рядом церквей, келий, крестов на холмах. И он твердил мысленно:

— Пора и в путь! Пора!

Дни начинали становиться короче, белых ночей уже давно не было, темные звездные ночи стали длинны, смеркалось уже рано. В Соловки нужно было добраться к октябрю, а то после и сообщения с островом не будет.

Суббота, его жена и все их домашние, начиная с ребятишек, сильно привыкли к усердному парню-работнику и жалели расстаться с ним! Их привязывали к нему не одно его усердие к труду и выносливость в работе, но что-то, чего они сами не могли бы назвать, — кротость, мягкость, спокойствие, степенность и всех покоряющая твердость. Когда он говорил, что так-то лучше сделать, чем иначе, — ему даже не противоречили, сознавая, что лучше его не придумать, что он даром на ветер слова не скажет. Не отличался он только веселостью, а иногда и просто начинал тосковать, стараясь, впрочем, скрыть эту тоску от других. В эти минуты безотчетной, но непреодолимой тоски он особенно любил свое уединение. Казалось, он готов бы был тогда бежать на край света. Зачем? Для чего? В этом он не мог дать себе отчета и только чувствовал, что не может победить этой тоски даже работою. Работа казалась ему недостаточною, хотелось больше и больше работать. Порой он задумывался: уж не жаль ли ему прошлого? Не томится ли он тоскою о прежней жизни? Нет, прошлое умерло для него, он вспоми-

нал о нем с отвращением. О чем же эта тоска? Он молился, чтобы Бог избавил его от нее, как от тяжкого греха.

Путешествие было решено, как ни уговаривали его хозяева перезимовать у них. Волей-неволей пришлось расстаться с ним. Они понимали, что задерживать его нельзя: на святое дело идет человек, да и путь скоро прекратится в Соловки.

— Теперь, чай, все богомольцы с Соловков поразъехались? — замечал задумчиво Федор.

— Кому же зимовать охота, — говорили собеседники. — К октябрю всегда все разъезжаются, а кто теперь не уедет, тому и пути до весны не будет...

Федор задумывался.

А что, если кто из Москвы застрянет там? Так что же? Разве его кто-нибудь может узнать? И борода у него стала длиннее, и волосы на голове отросли, закурчавились, и загорел он, совсем как из красной меди кожа сделалась. Он смотрел на свои руки: загорелые, огрубевшие, мозолистые, они не напоминали теперь выхоленных белых рук боярского сына, не знавшего до тридцати лет никако-

го черного труда. Нет, его теперь не узнали бы сразу и отец с матерью!

Он решил, что надо идти в путь. Теперь он мог уже идти спокойнее: у него было немного заработанных денег; ему дали на дорогу хлеба.

— Не поминай лихом нас, грешных! — говорил ему на прощанье расчувствовавшийся Суббота.

— Меня прости, коли чем не угодил! — говорил, кланяясь ему Федор.

Жена Субботы вздыхала, горюя, что опять изведется парень в дороге.

Но он сам уже не боялся теперь ничего, чувствуя себя и сильным, и здоровым, и бодрым. Он пустился в путь где пешком, где на судах, пробираясь уже смело и уверенно к Студеному морю. Путь теперь был ему известен и сбиться было трудно. Достигнув моря, он сел на небольшое парусное судно и в душе почувствовал какое-то новое ощущение: ему казалось теперь, что он навсегда отрезан самою природою от всего прошлого: родные, Москва, дворец, ничего этого он теперь никогда не увидит. А там, впереди, ждут новый

мир, новая жизнь. Медленно совершалось далекое морское путешествие, приходилось проехать не один десяток верст по воде. Вот исчезли из глаз берега, кругом вода и вода. По целым дням ничего не видно, кроме воды и неба, и маленькой скорлупкой кажется простое судно среди этой водяной пустыни, то тихой, то едва зыблящейся, то поднимающей грозные валы и обдающей судно белою соленою пеной. Иной раз кажется, что не справится с этими грозными волнами эта ничтожная скорлупа и, изломанная в щепы, пойдет бесследно ко дну. Но вот завиделось что-то вдали: это островки или корги, а за ними мели, а там что-то вырезается из воды — большое пространство каменистой и слегка холмистой земли с невысоким, но густым хвойным лесом, с мелкими деревянными постройками, с несколькими деревянными церквями, кресты которых мигают звездочками в голубом небе...

— Вон и Соловки виднеются, — сказал кто-то на судне.

Федор снял колпак и с облегчающим душу вздохом стал набожно креститься. Вот оно, со-

здание преподобных Зосимы и Савватия, вот цель его стремлений, вот та обетованная земля, где должна начаться для него новая жизнь.

Какая?

Жизнь поста, молитвы и труда.

ГЛАВА II

Когда третьему соловецкому игумену Ионе Новгородская республика дала грамоту на владение соловецкими островами, она поименовала их так: Соловки, Анзеры, Муксами, остров зимний и безымянные малые острова. Эти малые острова — Бабья корга, Песья корга, Белужьи острова, а также и мели, разбросанные около главного острова, носящего название Соловков и простирающегося на двадцать пять верст в длину и на шестнадцать в ширину. Берега его довольно низки и только местами несколько возвышенны: почва то камениста, то болотиста и почти везде лесиста. Среди берез, ольхи, осины, ивы и тальника поднимаются ели и сосны, редко достигающие больших размеров, так как почва из хверща или дресвы и гранита не дает доста-

точного питания деревьям. Зато среди зеленых мхов в изобилии рождаются морошка, брусника, клюква, черника, гулубель и вороница, а также грибы. Что поражает на Соловках и на близлежащих к ним островам, так это развитие озер. На одних Соловках, Анзерах и Муксами насчитывалось их до трехсот, из которых одно доходит до четырех верст в длину и до восьмисот саженой в ширину. Вода в Студеном море около соловецкого монастыря не замерзает вполне зимою: острова только окружаются верст на пять примерзшим к берегам льдом, припай-ком или торасом, а также ниласами, или сгустившимся от мороза снегом, превратившимся в шероховатый, накрепко замерзший лед. Постоянные приливы и отливы воды, а также сильные ветры ломают этот лед, уносят его далеко-далеко от берегов или подгоняют громадные ледяные горы и спаивают их морозом с торасом. Эти плавучие громады, то отламывающиеся от затвердевшего около берегов льда или припаяющиеся к нему, окончательно отрезают соловецкие острова месяцев на семь от сообщения с материком. Пустынны и дики были

все эти острова, когда сюда явились знаменитые подвижники и просветители преподобные Герман, Зосима и Савватий, построившие на этих островах первые келий, первые церкви, и внесли свет христианского учения в среду живших на берегах Студеного моря полудиких зырян и самоедов, лопарей и чуди, карел и жителей мурманских берегов. В сотню лет, несмотря на пожары и тому подобные невзгоды, мелкие монастырские постройки довольно быстро разрослись на Соловках и на других островах соловецких. Здесь кроме больших церквей и тесных келий уже были заведены небольшие ветряные мельницы, соляные варницы, на острове Муксами было несколько лошадей и немного рогатого скота. Кроме мощей соловецких угодников монастырь уже имел свои достопримечательные вещи вроде большого запрестольного креста из рыбьих зубов с распятием Господним и ликом Святых, или Деисуса из мамонтовой кости. За монастырем числилось немало крестьян, и разные грамоты обеспечивали за ним известные права.

Когда судно, на котором ехал Федор, прича-

лило к острову, он, осеняясь крестным знаменем, сошел на берег и направился к монастырю. Прежде всего он хотел поклониться святым угодникам, под защиту которых явился сюда из греховного мира. Он в сопровождении одного из монахов вступил в церковь Николая Чудотворца. Здесь по правую сторону близ алтаря покоились мощи Савватия, Зосимы и Германа. Федор долго и горячо молился. Потом он стал спрашивать находившегося в церкви монаха, как ему пройти к игумену.

Игуменствовал в то время в Соловецком монастыре Алексей Юренев. Это был кроткий и миролюбивый старик с добродушным и простоватым выражением лица. В этом лице не было ничего своеобразного, резко отмеченного, и, глядя на него, человек начинал припоминать, где он встречал прежде это лицо, — лицо простоватого и добродушного монаха, похожего на сотни и тысячи других таких же монахов.

Представ перед ним, Федор поклонился ему в ноги. Старик благословил его и спросил, кто он, откуда родом, зачем прибыл в Соловки. Федор назвал себя крестьянином Федором

Степановым и объявил, что он прибыл в монастырь не на время, не для простого богомолья, а желал бы поступить навсегда в обитель. Старик ласково взглянул на него и покачал головою.

— Тяжек подвиг монашеского жития, друже, — со вздохом сказал он. — В нашей обители монах не одной молитвой Господу Богу служит, а и трудом неустанным. Приходят многие, выдерживают избранные.

— Я и пришел потрудиться в поте лица моего, — смиренно отвечал Федор.

— Обитель наша святая никого не гонит от себя, — добродушно пояснил Алексей, — но прежде, друже, чем образ ангельский принять, каждый должен поработать с иными богорадными приходящимися и труждающимися.

Он подумал и потом сказал:

— Вот теперь дело на мельнице идет горячее, по рыбной ловитве тоже работа не кончена; скажу, чтобы дело тебе, где надо работница лишнего, дали. Поработай с прилежанием и смирением для Господа Бога, а там, что он даст, — увидим...

Федор снова поклонился ему до земли, а игумен опять осенил его крестным знаменем. Около игумена во все время этой беседы стоял другой монах-старик, худощавый, серьезный и невозмутимо спокойный. Он молчал, но Федор не мог не обратить внимания на его глаза. Они, казалось, глядели прямо в его душу и читали в ней, как в открытой книге. Такие лица Федор встречал только на иконах в московских храмах и сразу понял, что перед ним стоит не обыкновенный простой монах, а один из отмеченных Богом избранных. Игумен между тем, позвав одного из монахов, приказал отвести новоприбывшего к старцу, заведывавшему работами на мельнице.

— Где нужно, пусть там и поможет в работе, — пояснил игумен. — Может, на мельнице не надо, так к рыбакам сведи...

Монах повел Федора к мельнице.

— Кто это с отцом игуменом рядом стоял? — спросил Федор монаха.

— Отец Иона, духовник и уставщик наш, — ответил монах.

Монах поглядел на него и спросил:

— Слышал, может, про Александра, что Свирский монастырь основал? Иона-то первым другом его был... Святой жизни человек...

Они подошли к мельнице.

В Соловках в то время все делалось ручным трудом. Механических приспособлений для облегчения труда и лошадей для замены в работе, где нужно, людской силы почти не было вовсе. Вследствие этого труд был крайне тяжел. Особенно тяжело приходилось тем, кто проходил искус послушания. Молодому novice, воспитаннику в мягкости и покое, пришлось делать все наравне с другими: рубить дрова, копать землю на огороде, таскать камни, принимать участие в рыбной ловле, носить кули на мельнице, то шлепая по грязи, то стоя по целым часам в холодной воде. Ни ветер, ни дождь не прерывали спешной работы, усиливавшейся главным образом под конец лета. Особенно кипучая деятельность шла осенью на мельнице. К этому делу и пристроили главным образом Федора Степановича.

Десятки простых серых людей богомоль-

цев, трудившихся ради усердия к монастырю и бывших на искусе послушания, желающих вступить в монахи, а также монастырских крестьян, низко нагибаясь под тяжелыми ношами, таскали здесь куле, наполненное зерном, или мешки, уже набитые мукою. Старцы-монахи в потертых и порыжевших подрысниках, в таких же потертых и поношенных шапочках, в грубых передниках, заношенных и местами продырявившихся от времени, наблюдали за работниками, таскавшими кули и мешки. Это были, большею частию, дородные приземистые старики, с простоватым, несколько тупым выражением на добродушных и обрюзгнувших круглых лицах. Их наряд и их дородность делали их фигуры похожими более на женские, чем на мужские. Их одежда, лица и руки были в мучной пыли. Шапочки были сдвинуты на затылки с запотевших лбов. Федор ежедневно с самого раннего утра начинал носить кули и уже в какую-нибудь неделю был сильно изнурен этой непривычной для него работой. Стащив как-то один из кулей на мельницу, он, наконец, в изнеможении опустился на ступени ветхой

деревянной мельничной лестницы, чтобы передохнуть на минуту, и забылся в горьких думах. Опять на него напала его неодолимая, безотчетная тоска, так часто заставлявшая его убегать от людей, искать утешения в уединении.

— Нет, видно, не скоро я еще привыкну к труду, — грустно рассуждал он, мысленно упрекая себя за невыносимость. — Привык лежебокой быть...

— Ты чего расселся, как боярин какой? — раздался над ним грубый голос.

И в ту же минуту сильная рука нанесла ему удар кулаком в спину, так что он едва не скатился с лестницы лицом в землю. У него брызнули из глаз невольные слезы от боли.

— Дармоедов-то здесь не держут, — продолжал тот же грубый голос.

Федор поднялся и взглянул на побившего его мужика, сурового и мрачного, одетого в такое же рубище, в какое он был одет сам.

— Прости, друг, — тихо сказал Федор. — Передохнуть присел, притомился...

— Притомился! — передразнил его злобно мужик. — Другие, что ли, за тебя работать бу-

дут! И другие притомились, да не сидят сложа руки. Мне вот пятидесятый год пошел, а таскаю кули, не притомляюсь.

Он пошел, ворча на лежебоков:

— Взяли тоже помогать человека! На печи таким-то лежать. Есть не притомятся, а работать силушки нет...

Федор безнадежно поник головой и пошел за новым кулем.

— Господи, пошли мне сил, — тихо молился он. — Закали их и избавь от телесных немощей...

В церкви звонили к вечерней службе. Все направились в храм. Федор встал в сторонке и не поднимался все время с коленей, в слезах прося Бога об одном — о даровании ему той силы, которая нужна для труда, которою наделен народ. Вечером, когда пришло время ложиться спать, он почувствовал тупой лом в спине и в руках. Его опять охватили тяжелые думы о его слабости. Народ с малолетства несет бремя таких трудов, какое он несет теперь: а вот он в какой-нибудь месяц монастырской жизни изнемогать стал. Надо употребить все усилия, чтобы побороть эту сла-

бость, стряхнуть с себя последние следы боярской непригодности к делу.

На следующий день он принялся с особенным упорством за работу. Казалось, он наложил на себя тяжкий обет работать за нескольких человек. Но как ни тяжка была работа, его не покидала и его тоска, мучительная, гнетущая тоска. Он пламенно молился, чтобы Бог избавил его от нее, приписывая ее недовольству тяжелой жизнью. Ведь другие же не знают этой тоски? Все простые работники были и бодры, и веселы; их говор во время работы был часто очень оживленным и бестечным, хотя многие даже плохо понимали друг друга, говоря на разных языках и наречиях. Тоскует он один Бог весть о чем.

Дни же становились все короче и короче, светало очень поздно, а смеркалось рано. Мрачная северная зима, зима соловецких островов, где иногда настоящий день длится не более двух часов, вступила давно в свои права. Все покрылось снегом, острова окружились ледяной корой, и только далеко-далеко еще шумело немолчное море своими приливами и отливами. В эти скорбные дни тру-

даться приходилось менее, часы молитв становились продолжительнее. Как-то раз Федор пилил дрова с другими рабочими, долго не разгибая спины. Когда он решился разогнуть спину, это удалось ему с трудом. Пот градом выступил на его гладком лбу, несмотря на холод.

— Что, спину разломило? — подшутил над ним один из рабочих.

— Ничего, я его раз кулаком полечил от этой ломоты, — угрюмо заметил другой работник.

И прибавил:

— Бояр-то нам здесь не надо, за которых нам надрываться приходится.

Федор молчал.

— Не надорвись в самом деле, Федор, — добродушно заметил ему старец-монах, наблюдавший за работой. — Они зубы скалят, а ты за всех работаешь...

— Ничего, отче, — ответил Федор. — Я не отдыхать сюда пришел...

Старик отечески ласково взглянул на него.

— Господь не требует, чтоб для него через силу работали и изводились под бременем

труда. Молод ты еще, да и не в теле...

Когда Федор взялся снова за пилу, старик только вздохнул. Он, изо дня в день наблюдая за рабочими, давно уже обратил внимание на этого работника и полюбил его за тихий нрав, за усердие в труде и иногда сердился, что остальные рабочие нередко взваливали на него свои обязанности и под сердитую руку давали ему тумаков, благо он не отвечал им тем же. Простодушный старец пробовал вступаться за него, но сам Федор уверял его, что он работает столько по доброй воле и что если порой ему дают пинков, то это потому, что он иногда дает себе поблажку. Теперь старик стоял и раздумывал об этом странном человеке, вовсе не похожем на других мужиков, как вдруг его окликнул чей-то тихий, спокойный голос. Толстяк обернул свое круглое простоватое лицо в сторону говорившего и низко поклонился ему.

— Отче Иона! — проговорил он.

— О чем призадумался, отец Игнатий!? — спросил подошедший.

Это был испостившийся, исхудалый, но очень бодрый, серьезный на вид старик, с

внимательно всматривавшимися проницательными глазами.

— Да вот, сейчас говорил работнику, что больно люто он за работу берется, — просто-душно пояснил толстяк Игнатий. — Оно, конечно, отче Иона, так я смекаю, что Господу Богу это не угодно. Плоть мы должны умерщвлять, а тоже если до смерти себя изводить, отче Иона-Толстяк запнулся, не умея ясно выразить свои мысли. Худощавый старик, иеромонах Иона, серьезно выслушал его и неторопливо сказал:

— Я тоже на него засмотрелся. Проходил вот и засмотрелся. Давно я к нему присматриваюсь, с первого дня, как он прибыл...

— А что, отче Иона? — поспешно спросил толстяк, и его маленькие глазки засветились любопытством.

Иона не сразу ответил ему. Он вдумчиво стал смотреть в сторону Федора и, наконец, как-то особенно многозначительно произнес:

— Подвижник из этого человека выйдет достойный. Присмотрелся я к людям за долгие-то годы. Ты вот, отец Игнатий, его на работе видишь, а я и на молитве его видел...

Старец-надсмотрщик слушал Иону с почтением и некоторым недоумением, как бы ожидая дальнейших пояснений. Однако отец Иона не пояснил более ничего и тихими шагами направился далее, проговорив только:

— Кто знает, может быть, суждено ему высокое будущее...

Простодушный старец почесал в затылке под своею ветхой шапкой, покачивая головою и не зная, как понять слова отца Ионы. Умный человек отец Иона, почитай, что умнее его и нет никого в монастыре, сам отец Алексей, их настоятель, слушает его советов, а вот говорит не напрямик, загадками. Не сразу в толк возьмешь.

— Верно, слышал отец Иона что-нибудь про Федора, — рассуждал он. — Может быть, не простой он мужик, потому он и точно на мужика не похож. И строен, и лицо точно у боярского сына, и руки белые да малые, ровно у девицы. Может, тоже отец игумен с отцом Ионою что-нибудь на счет Федора говорил, отличить как-нибудь хочет. Мало ли чего бывает.

— Ох, грехи, грехи наши тяжкие! — вдруг

перервал он свои думы, как греховное любопытство, и перекрестился.

— Ну, ну, скорее кончайте, — заторопил он работников. — Ишь, дни-то какие у нас короткие, не успеешь за работу взяться — глядишь, и огонь раздувай!

Но короткие дни уже приходили к концу, солнце оке повернуло на лето, как говорили люди. С каждым днем начало становиться светлее и светлее, а там начали выпадать и более теплые дни. Стали таять льды вокруг островов, целыми глыбами отрывались они и с глухим ропотом величаво уплывали в широкое море. Но вот начали уплывать эти белые соловецкие гости и стали на мену им появляться другие, тоже белые гости, но не на воде, а в воздухе.

— Смотри, смотри, друже, — говорил отец Игнатий, старый надсмотрщик над рабочими, полюбивший Федора, останавливая его и указывая на крест церкви.

Федор обернулся и увидел двух чаек, с громкими криками круживших над церковью.

— Весна идет, — сказал старик, крестясь и

умильно улыбаясь. — Завтра вот выдь, по-смотри — не две их уйдет, а, может, десяток, а там еще и еще, все больше и больше с каждым днем... Это первые их гонцы да разведчики. Слава Тебе, Господи, к концу пришла наша зимушка суровая.

Действительно, на следующий день чаек уже кружилось несколько над церковью. Они опускались на крест церкви и, снова расправив крылья, уносились в открытое море. А завтра их число прибавилось еще и еще от уже их сотни, вот тысячи, белых как снег, с сизыми крыльями. Везде и всюду они свивают себе гнезда: во дворе монастырском, на земле, на кровлях. Ни на минуту не прекращается их кипучая деятельность, и ни днем, ни ночью ни на минуту не смолкает их крик, похожий то на плач, то на вопли отчаяния, когда им угрожает какая-нибудь опасность и они густыми тучами внезапно поднимаются на воздух. Плачут они немолчно, и так же немолчно вторит им своим безрадостным шумом вечно движущееся, то прибывающее в течение шести часов, то убывающее в следующие шесть часов море. На Федора эти ночные

явления подействовали мучительно: томящая тоска все росла и росла, несмотря на упорный труд, несмотря на усердные молитвы. То вдруг какой-то таинственный голос нашептывал ему, что опять открывается с Соловков путь в покинутый им мир; то снилось ночью, что из далекой Москвы едут в Соловки близкие и родные люди и находят, узнают его, Федора, требуют, чтобы он вернулся обратно туда, в Москву, во дворец, в мир. Очнется он от этих сновидений во сне и на яву и видит, что по его лицу струится пот от ужаса.

Раз игумен Алексей и вся братия были в полном сборе и только что готовились, окончив обедню, начать трапезу, как вдруг вошел к ним Федор. Он был страшно взволнован и бледен. Не имея сил проговорить ни слова, он упал к ногам игумена Алексея, обливаясь слезами. Все смутились, не зная, что с ним, — обидел ли кто его, провинился ли он в чем. Наконец, сквозь его рыдания, они уловили отрывочные слова: молодой человек просил их не лишать его долею счастья быть сопричтену к богоизбранному их ограждению. Он точно хотел воздвигнуть скорее между собою и ми-

ром каменную стену, из-за которой уже было бы невозможно снова уйти в мир. Иеромонах Иона взглянул на игумена Алексея и тот понял этот взгляд: они уже давно толковали о том, что этот работник, проходивший тяжелый искуc послушания, вполне достоин быть посвященным в монашество. Игумен поднял и успокоил его.

— Отец Иона будет твоим восприемником, — сказал он. — К нему и на послушание поступишь...

Федор не в силах был говорить от счастья, бросившись целовать руки игумена и обливая их слезами. Это Студеное море еще недостаточно сильно защищало его от мира, ему нужна была еще другая, уже совсем неодолимая ограда — монашеская ряса.

ГЛАВА III

Иеромонах Иона Шамин был вторым лицом по игумене в монастыре. Духовник, типикарис или уставщик, он был когда-то другом преподобного Александра Свирского, скончавшегося 30 августа 1533 года, и пользовался глубоким уважением всей монашеской братии на Соловках. Строгий по нравственности, серьезный по взглядам на жизнь, прозорливый в сношениях с людьми, он был превосходным наставником для каждого новичка. В его-то келий и поместился новоначальный инок Филипп, отданный ему, как восприемнику, на послушание.

Теперь старец видел его не только случайно днем за работой или на молитве в церкви, но мог следить за ним постоянно. Он часто, просыпаясь ночью, замечал, что молодой монах не спит и молится. Старца глубоко трогало это благочестие, неподдельное и искреннее, как все было в Филиппе неподдельно и искренне. Узнал Иона мало-помалу и другую сторону духовного мира молодого монаха. Беседуя с ним и наставляя его, он увидел его на-

читанность, глубокое знакомство с священными и историческими книгами, знание не одних житий святых, но и догматической стороны религии и политических условий русской жизни, — увидал в молодом человеке отец Иона ту продуманность прочитанного, которая дается только людям, могущим посвятить книге много свободного времени, и в его душе начало зарождаться уже не смутное подозрение, а твердое убеждение, что этот инок далеко не крестьянского происхождения. Но он не выспрашивал его, не наводил его на рассказы о прошлом и ждал добровольного признания. Закрадываться в чужую душу тайком, делать в ней незаметный обыск, залезать без согласия в эту святую святых человека, все это было не в духе Ионы, прозорливого и знавшего хорошо людей, но далеко от всякого лукавства и двоедушия.

В одну из светлых весенних ночей Иона долго не спал и задумчиво следил за тем, как молился Филипп, склонивший смиренно колени и озаренный неподвижным мягким светом теплящейся перед образами лампады. Когда тот кончил молиться, поднялся с коленей

и, бесшумно пробравшись по келий, прилег на свое жесткое тоже, старик спросил:

— Не спишь?

— Да, отче, не спится, — ответил с тяжелым вздохом Филипп.

— Недужится или так сна нет? — спросил Иона.

Филипп приподнялся, спустил на пол ноги, сел на лавке, служившей ему кроватью, и заговорил:

— Душу раскрыть перед тобой, отче, хотелось бы... То, чего никому не говорил, тебе сказать хотелось бы... Давно томит меня это...

— Ты знаешь, всегда я готов внимать всему, что тяготит либо тревожит тебя, — спокойно ответил Иона.

Филиппа охватило необычайное, давно незнакомое волнение. В голове вдруг затеснились воспоминания, воскресли сотни сцен, образов, радостей и печалей. Он заговорил прерывающимся голосом:

— Пришел я в соловецкую обитель крестьянином Федором Степановым... но было время, когда иначе звали... Боярским сыном Федором Степановичем Колычевым звали...

Может быть, слышал?

— Как не слышать, слышал, — невозмутимо сказал Иона, не выражая ни любопытства, ни удивления. — Не знал я, из какого ты роду, а знал, что не крестьянин. Что же побудило уйти из мира тайно?

Филипп начал рассказывать, как говорил бы на духу, ничего уже не скрывая, ничего не утаивая. На минуту его охватило сладкое чувство все вспомнить, все воскресить, все передать другому лицу, близкому, родному по духу. Иона не прерывал его и молча слушал его историю. Старик знал многих Колычевых, бывая в Новгороде, слышал мельком и о боярине Степане Ивановиче, и о его старшем сыне Федоре, но то, что он услышал теперь, не возбуждало в нем изумления, казалось ему так просто и понятно, как были понятны ему все жития русских святых. Отказаться от земной славы, от земного богатства, от земных наслаждений — это не жертва, не подвиг, а высшее благо для человека, понявшего суетность всего земного. Так думал Иона, так думали все, бежавшие от земной славы и земного величия в пустыни.

Когда Филипп кончил, старец тихо спросил его:

— И не жалеешь о мире?

— Кажись, ни разу не пожалел, отче, — ответил Филипп и смолк.

Он глубоко задумался о чем-то, пораженный какой-то внезапно промелькнувшей в его голове мыслью, наконец, он поднял снова голову и решительно сказал:

— Нет, ни разу не пожалел я о мире! А вот что, отче, ину пору бывает. Работаю и молюсь я, а сердце вдруг занает, затоскует, бежал бы куда-то от всех людей, не туда, не в покинутый мир, а в пустыню, далеко, далеко... даже отсюда...

Иона тихо проговорил:

— Подвигов великих жаждет душа.

Филипп горячо, почти с испугом возразил:

— Суетных желаний во мне нет, отче, видит Господь Бог; давно отогнал я их...

— Разве суетно желание больше угодить Богу? — серьезно и твердо заговорил Иона. — Нет, друже, душа, отдавшаяся на служение Господу, как жаворонок, прославляющий Божие утро, стремится подняться все выше и

выше в пресветлое небо. Работаешь — мала кажется работа, молишься — недостаточна кажется молитва. Не суетность это, сын мой, а любовь к Богу и желание вознестись до светлого престола Его, до Него Самого.

Филиппа точно просветили внезапно эти слова. То, что так долго сокрушало его, как какой-то грех, то, чего он не мог уяснить сам себе, теперь стало ему совершенно ясно. Да, его душа неудовлетворена, ему хотелось сделать все больше и больше, не довольствуясь трудом, не довольствуясь молитвой.

Они смолкли, погружившись в тихие думы. В келии было душно и томно. Сон как-то беспричинно бежал от глаз, и в душе была не то тягостная беспредметная тревога, не то щемящая безотчетная тоска. Кругом все было сначала тихо, потом где-то начал ворчливо и глухо грохотать гром и огненные зигзаги молний время от времени разрывали темные, клубившиеся в небе тучи.

— Ранняя ныне гроза собралась, — заметил, крестясь, Иона.

В эту минуту гром грянул так близко и рассыпался несколькими оглушительными уда-

рами с такой силой, что старик проговорил со вздохом:

— Не прошел этот удар даром!

Затем снова все стихло на минуту. Только плакали где-то чайки. Вдруг их плач сделался тревожным, резким, слышалось где-то близко-близко хлопанье сотен крыльев.

— Что это наши птицы всполошились? — сказал Иона. — Не к добру это.

— Испугались чего-нибудь, — отвечал Филипп. — Не хищник ли какой налетел.

— Нет, ночь теперь...

— Так, может, ради грозы всполошились...

— Что им гроза! Не грешные люди — боятся им нечего...

Внезапно раздался новый звук, резкий и гулкий.

— В клепало бьют! — быстро проговорил Иона, поднимаясь на локте на постели. — Слышишь, Филипп? Набат...

Он торопливо поднялся со своего ложа, набожно осеняясь крестным знаменем. Вско-чил и Филипп. Через минуту они были уже на дворе и увидели страшную картину: монастырские здания были объаты огнем. Громад-

ные языки пламени, выделяясь из клубов черного дыма, торопливо облизывали деревянные здания, и они горели, как свечи, быстро обугливаясь и разрушаясь. Сильный северный ветер, пробиравший до костей холодом, отрывал и подбрасывал головни, переносившиеся среди дыма на соседние постройки, которые загорались в свою очередь. По заборам и плетням огонь постепенно пробирался красными змейками, все увеличивая число горящих построек. Монахи, работники, все были на ногах, метались от горящих построек к берегу за водой. Некоторые из них, чувствуя невозможность бороться с огнем, отстаивая жилые помещения, устремились к церкви и часовням, чтобы спасти хотя их и святыни монастыря. В воздухе слышался треск горящего дерева, крики людей: «давай воды!», «тащи багры», «руби топором», — да жалобный крик чаек, тучами кружившихся в воздухе над огнем и домом. А в небе было уже совсем светло, гроза давно стихла, ветер утнал далеко-далеко черные тучи и румяная заря майского дня весело алела на востоке. Восходящее солнце озарило целые груды дымившихся го-

ловней, угодьев и пепла. Это были остатки Соловецкой обители. Монахи упали духом, плакали, стонали, не зная, где преклонить головы. В это время раздались мерные звуки клепала, призывавшего к заутрени.

— Вот где преклоним головы наши, — набожно и твердо сказал Иона. — Бог дал, Бог и взял земные сокровища, но не лишил нас своего прибежища.

Вся масса оставшегося без крова народа, еще носившая следы недавнего бедствия, закопченная дымом, обожженная огнем, в изодранных одеждах, смоченная водою, направилась в уцелевшую небольшую церковь на молитву.

Настало горячее время для Соловецкого монастыря. С одной стороны, нужно было топорливо обстраиваться, с другой — весенние полевые и огородные работы не могли ждать. Руки требовались везде, и каждый делал чуть не десять дел. Везде слышались удары топоров, везде визжали пилы. Там, где были недавно груды черных головней и пепла, начали весело белеть новые бревенчатые срубы. Игумен Алексей сам являлся ежедневно

на постройку, подбадривал всех, распоряжался всем. Он был человек довольно хозяйственный и домовитый и умел практически управлять несложными еще монастырскими делами, хотя и не отличался ни широкими замыслами, ни серьезными знаниями. Он являлся только охранителем старины и заботился о том, чтобы при нем все шло так, как шло прежде. Такие люди могут поддерживать старые порядки, но никогда не являются создателями новых порядков. Известив прямого начальника обители новгородского архиепископа Макария о постигнувшем обитель несчастье, игумен получил из Москвы радостную весть. Государь царь и великий князь Иван Васильевич жаловал игумену Алексею с братиею в Соловецкий монастырь евангелие в полдесть [21], поводочное [22] червчатый [23] бархатом, на верхней доске распятие и евангелисты серебряные, белые, небольшие, да апостол в полдесть же, поволочен камкою [24] зеленою, да еще разных простых книг двадцать две; также пожаловал деревню при реке Шишне, пустошь, называемую Сухой Наволок, и острова, лежащие по обе стороны ре-

ки Выга: Дасугею и Рахново с рыбными ловлями и с оброчными соляными варницами, исключительно обежной [25] дани, а земли во всех этих местах имелось тридцать луков [26] или двадцать шесть обж [27]... К концу лета лихорадочная деятельность по постройке монастырских зданий кончилась и монастырская жизнь, однообразная, и неизменная, вступила снова в свои права. Опять стали короче дни, опять начали показываться ледяные глыбы, грозившие отрезать монастырь от всякого сообщения с миром. Филипп, неумоимо по-прежнему, почти все время проводил за кузнечной работой или в хлебопекарне. Как часто среди работы, при виде яркого пламени, задумывался он о другом пламени — о геенне огненной, уготованной грешникам, и, подавляя в себе всякие проявления страстей, всякие помыслы о более широкой деятельности, смиренно твердил слова Давида:

— Виждь смирение мое и труд мой и остави вся грехи моя.

Тоска, охватывавшая его иногда, смутная неудовлетворенность, пробуждавшаяся в его

душе, по-прежнему казались ему чем-то греховным, и он скорее смутился, чем обрадовался, когда игумен призвал его и назначил ему проходить послушание при храме, а не среди черного труда. Тем не менее покориться было необходимо, и он встал во главе монахов, обучая их пению и управляя ими при богослужениях. Его духовное образование, его познание в священном писании, его серьезные отношения к делу приобрели ему похвалы, почтение и любовь монашествующей братии, по большей части, мало развитой и не только плохо образованной, но и вовсе безграмотной. Казалось, это должно было бы вполне удовлетворять его, но нет, его душа томилась и жаждала чего-то большего, точно она еще и теперь не всецело служила Богу. Хотелось опять уйти куда-то далеко-далеко от этих кузниц, хлебопекарен, мельниц, определенных часов молитв и сна, отдыха и обеда.

Бледный, взволнованный, он появился снова перед игуменом Алексеем, упал перед ним на колени и проговорил:

— Благослови меня, отче, удалиться в пустыню!

Игумен был изумлен неожиданною и непонятною для него просьбою этого лучшего из иноков.

— Зачем, Филипп? — проговорил растерявшийся простодушный старик. — Чего ты хочешь?

— Ничего мне не надо, кроме уединения и безмолвия... Убить все помыслы житейские, все страсти плотские нужно мне...

Старик игумен колебался, разводя руками.

— Да уж ты ли не убиваешь плоть, — начал Алексей. — Чего еще?

— Отпусти его, отче, — посоветовал Иона, тихо перебивая его речь.

— И ты тоже, отче Иона? — с удивлением и горечью сказал игумен. -

— Что ж, если на это его желание есть? — ответил Иона. — Пути Господа неисповедимы...

— Горько мне, — сказал игумен. — Помощника я в нем своего видел, правую руку свою...

Филипп продолжал молить его об отпуске из монастыря. Иона твердо поддерживал его намерение. Волей-неволей игумену при-

шлось согласиться. Монахи удивлялись неожиданному решению своего собрата и не понимали его. Одни порицали его, другие хвалили его благочестие. Толков было много, но время прекратило и их.

Филипп ушел и поселился в глухой части острова, за две версты с лишком от обители, в полном одиночестве. Пост, молитва, священные книги, безмолвие, вот из чего сложилась теперь его жизнь. Он окончательно умер для земли и жил только помыслами о небе. Монахи порой сожалели о нем, игумен нередко вспоминал о нем, как о лучшем своем помощнике, а Иона, с полной верой в будущее Филиппа, спокойно говорил:

— Этот будет настоятелем нашей святой обители!

Прозорливый старик понимал, что Филипп вернется, когда будет нужна обители его серьезная помощь.

Он не ошибся.

Шли незаметно дни, недели, месяцы, годы. Старец-игумен давно уже начал болеть и изредка, видя приходившего в монастырь за едой или для исповеди Филиппа, жаловался

ему на свои немощи, толковал, что ему нужна опора в старости и в болезни, горевал, что среди монахов, кроме отца Ионы, никто не может заменить его.

— Простецы все, а управление обителью ума требует, — пояснял он. — Со стороны смотреть — дело и не хитрое, а возьмись за него — иногда ума не приложишь, как быть... — Он вздыхал. — И я один боюсь. Уж и не по годам мне, и не по здоровью...

Он стал, наконец, прямо просить своего любимца остаться около него, походить за ним. Филипп тотчас же отозвался на эти просьбы. Служить людям, приносить осязательную пользу ближним он считал своим святым долгом. Находя серьезное дело, он точно воскресал, делался бодрым и настойчивым, проявлял изумительные способности и ум. Как сын, стал он ходить за больным стариком, утешая его, читая ему священные книги, исполняя его приказания.

— Вот кто примет мой жезл настоятельский, — говорил, умиляясь, игумен Алексей приближенным к нему старцам. — Ублажил и успокоил он меня на старости лет...

Старцы толковали об этом среди других монахов.

— Давно на него указывал и отец Иона, — рассуждали монахи, — да кому же и быть игуменом, как не ему.

— Еще как поступил к нам Филипп, так отец Иона мне сказал, что высокие почести ждут его, — рассказывал отец Игнатий.

От Филиппа эти толки ускользали долгое время. Он не особенно любил празднословие и не поощрял тех, кто любил много говорить.

Наконец, и Алексей стал намекать ему самому насчет своих планов.

— Близится мой последний час, — говорил печально старец. — На кого, обитель святую оставлю? Вот если бы ты...

Филипп испугался.

— Полно, отче, полно, никогда этому не быть... Здесь я, покуда ты жив, а не станет тебя, опять удалюсь в пустыню. Не для исканий почестей бросил я ее...

— Знаю, знаю, — соглашался благодушно старец, желая только успокоить Филиппа. — Но если тебя Бог призывает на служение обители...

Филипп прервал его:

— Оставь, отче, ты знаешь, что я ищу только тишины и уединения... Есть люди более меня достойные и способные к этому трудному делу...

Еще более встревожился он, услышав мельком и от братии намеки на то, что ему предстоит настоятельство в обители. Опять поднялась в душе глухая борьба. Для почестей разве он шел сюда? Разве он не умер для жизни? Не стало ли для него чуждо все житейское?

Неожиданно для него игумен почувствовал особенный упадок сил, поспешно собрал всю братию и заговорил:

— Час мой пришел! Скажите, отцы и братья, кого выберете из среды вас, чтобы я мог умереть покойно?

— Не быть лучше Филиппа к наставлению, — раздались голоса старцев. — Кто сравнится с ним житием и разумом, да и во всех вещах кто искуснее?

— Филиппа! Филиппа выберем! — подхватили все, как один человек.

Филипп, бледный и смущенный, не мог

сказать ни слова в свою защиту.

— Видишь, сам Господь их устами призывает тебя к настоятельству, — сказал добродушно Алексей. — Пока я жив, отправлю я грамоту к преосвященному отцу нашему новгородскому архиепископу Феодосию и буду молить его утвердить тебя, чтобы я мог умереть спокойно.

Он приказал написать просительную грамоту к Феодосию, сменившему Макария в качестве новгородского архиепископа, к епархии которого принадлежал Соловецкий монастырь, и сказал Филиппу:

— Повезут ее старцы наши, и ты поезжай с ними!

Это было новым ударом для отшельника. Тяжко ему было взять на себя обязанности настоятеля, но еще тяжелее было ехать в Новгород, туда, где кругом еще разные Колычевы, его родные братья, его племянники.

Но отказываться было поздно, нужно было повиноваться воле игумена, избранию всей братии.

Наскоро собрались старцы и Филипп в путь. Перебрались они благополучно на судне

через море. Опять ступил Филипп на твердую землю того берега, на который он никогда не думал более ступить.

Опять замелькали перед его глазами густые, темные леса, деревни и города. Открылся перед глазами и Новгород, еще почти по-прежнему богатый и многолюдный, если и утративший свою былую вольность, то не утративший еще своего вольнолюбия. Филипп почувствовал сильное волнение, въезжая в этот центр кипучей торговой деятельности, и в душе проснулось желание куда-нибудь укрыться, не видеть и не слышать ничего. Пристали старцы на бедном и убогом подворье соловецкой обители и собрались с грамотою к архиепископу. Владычные палаты поражали тогда роскошью и богатством, не уступая архитектурой кремлевскому великокняжескому дворцу. Старцы думали о посещении этих палат, не без боязни. Давно они отвыкли и от роскоши, и от встречи с высокими особами, а тогдашнее высшее духовенство любило пышность и относилось свысока и презрительно к низшим духовным лицам. Владыки были в своем роде царьки и великие

князя. Старцы возлагали все свои надежды на Филиппа, умевшего и говорить, и держать себя с высшими, но он наотрез отказался идти с ними к владыке.

— Ступайте одни к преосвященному, — сказал он и остался в своей келий, все еще точно ограждая себя от мира.

Архиепископ Феодосий, серьезный и величавый старик, вышел к смиренным старцам, принял их грамоту и, прочитав ее, неожиданно спросил:

— Почто не вижу его между вами?

Он уже много слышал про великого подвижника и, глядя на смиренных, простоватых старцев, по-мужицки кланявшихся ему и не умевших толково говорить, сразу угадал, что между ними нет того, молва о котором уже давно ходила в Новгороде, заносимая с Соловков многочисленными богомольцами. Он хотел лично повидаться с этим иноком-отшельником, успевшим прославиться, несмотря на свое затворничество. Пришлось Филиппу волей-неволей представиться архиепископу. Феодосий принял его почтительно, без обычной заносчивости большинства тогдаш-

них владык, не только смотревших свысока на простых иноков и иереев, но и живших вообще не хуже великих князей. Архиепископ и отшельник остались наедине для беседы. Беседа продолжалась долго и была серьезна. Филипп говорил сдержанно и твердо о многих недостатках в Соловецкой обители, о необходимости разных новых мер, о нуждах монашествующей братии, о расширении монастырских построек. Ему невольно пришлось коснуться взглядов на монашество и духовенство Иосифа Волоколамского и Даниила, Заволжцев и Максима Грека. Феодосий изумился начитанности и светлому уму инока-отшельника.

— Из какого рода ты? — спросил он его.

— Из Колычевых, — ответил Филипп.

— Из Новгородских? — не без удивления спросил Феодосий, с любопытством вглядываясь в него.

— Да, все Колычевы новгородские, только я в Москве вырос. Боярина Степана Колычева сын.

— Слышал! Слышал! — сказал Феодосий с удвоенным любопытством разглядывая его,

этого выросшего среди московской знати человека, добровольно обрекшего себя на бедность, труд и лишения, ушедшего, наконец, в пустыню. — Братья твои здесь живут, сродственники...

Филипп вдруг почувствовал: что-то сдавило ему горло, и он едва удержался от слез при напоминании о братьях, о родных. Воспоминания о прошлом сразу нахлынули в его душу. Братья! Братья! Они могут сказать ему об отце, о матери. Он может еще раз в жизни обнять их, прижать к груди родных и близких.

— Я рад за обитель, что отец Алексей тебя игуменом назначить вместо него просит, — любезно сказал Феодосий. — При тебе обитель процветет.

— Все в воле Божией, — ответил Филипп. — Я одного искал — тишины и уединения.

— Ну, на месте игумена отшельником нельзя быть, — заметил архиепископ.

— Я от труда не бегу, если на то будет воля Божия, — сказал Филипп.

Феодосий отпустил его на подворье.

Забыв все другие соображения, Филипп,

вернувшись на подворье, с лихорадочною поспешностью собрал кого мог из родных и, обливаясь слезами, целовал их, всматриваясь в их полузабытые, но все еще дорогие черты. Семейные узы тогда еще были крепки, и родственные отношения чтились свято.

Сколько сладких воспоминаний, сколько горьких новостей разом нахлынуло на него! Отец его уже умер, мать после его смерти постриглась в монастырь под именем Варсонофии и тоже скончалась. В Москве князя Шуйские, уморившие князя Ивана Федоровича Овчину голодом в тюрьме, свергли сперва митрополита Даниила с митрополии, а потом и Иоасафа, выдвинутого ими же.

Князей Шуйских сменили князья Вельские, и первые снова изгнали вторых. Новые любимцы явились у царя Ивана Васильевича, и он казнил родных и единомышленников князя Ивана Шуйского. Десятки виновных и невиновных пали от лютой казни в это время, пали некоторые, как безгрешные агнецы, вроде князя Федора Ивановича Овчины-Телепнева-Оболенского, убитого в самом наусии, как выразились рассказчики, то есть

чуть не ребенком. Филипп хотя видал только мельком, но хорошо помнил этого несчастного ребенка, почти брошенного отцом, бывшим возлюбленным великой княгини Елены Васильевны. Родные же продолжали рассказывать, как, наконец, венчался царь Иван Васильевич на царство и выбрал себе невесту, дочь вдовы Захарьиной, Анастасию. Она добра и богомольна; царь полюбил ее горячо. Но лучше не стало: около царя бесчинствовали князья Глинские. Казни и опалы продолжались, и народ терпел не столько от царя, сколько от князей Глинских. В прошлом же году постигли Москву страшные бедствия. 12 апреля сгорели лавки с дорогими товарами, гостинные каменные дворы, Богоявленская обитель и многое множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки. Башню с порохом взорвало с частью городской стены, и пала она в реку, запрудив ее кирпичами. Не успели передохнуть от этой беды — пришла другая. 20 апреля погорели за Яузою улицы гончаров и кожевников. Все, точно метлой, огнем смело. Мало и этого. 21 июня охватило пожаром церковь Воздвижения на

Арбатской улице за Неглинною, на острове, перекинуло бурей огонь на Кремль, на Китай, на Большой посад. На царском дворе вспыхнули кровли на палатах и деревянные избы государя. Потом занялись и каменные палаты, украшенные золотом. За ними занялись Казенный двор с царскою казною, Оружничья палата с воинским оружием, Постельная палата, царская конюшня. В погребах под палатами выгорело дотла все, что было там деревянного.

— Что это было, и сказать нельзя, — рассказывали родственники Филиппу. — Перед пожаром-то этим из Пскова семьдесят человек прибыли с жалобой от наместника, князя Турунтай-Пронского. Знавал ты его, с Глинскими он водился. Царь Иван Васильевич разгневался, потому Турунтай с князьями Глинскими дружил по-, прежнему, и велел он псковичей донага раздеть, поливать голых горячим вином и свечами палить им волосы и бороды за жалобы их. Дело было в Островке, а тут пришли люди и сказали, что в Москве колокол упал, как к вечерне зазвонили. Царь в Москву поскакал, бросив пытаться псковичей.

Известно, не к добру колокол упал. Беды надо было ждать. Тоже Вася, юродивый, все его на Москве ныне знают, как Адам первозданный ходит, так он пророчествовал: встал перед церковью Воздвиженья и стал горько плакать, воззрившись на нее. На другой день и погорела. Железо от огня рдело, медь плавилась. И царские палаты, и казна государева, и сокровища, и книги, и оружие, все погорело. Церковь-то Благовещение Златоверхую помнишь? Ну, и она не устояла. Деисус Андрея Рублева, обложенный золотом, сгорел, иконы греческого письма, от многих лет собранные, все погибли. Да что говорить! Мощи святых и те сгорели. Владыко, митрополит-то Макарий, в Успенском соборе молился, так чуть не задохся от дыму. Страсть, что было. Силой выволокли его оттуда да хотели спустить с тайника к Москве-реке на веревке, веревка-то порвалась, упал владыка и больно зашибся, еле жив отвезен был в Новоспасский монастырь. Страсть!

— А буря-то, буря какая была, такой и не запомнят в Москве, — дополняли рассказ другие. — Хуже чем тогда, когда царь Иван Васи-

льевич родился. Помнишь? Целый день она редела, крики людей заглушала. Тут же и порох взрывало, пуще грома был грохот. Только к вечеру утихла гроза, а в три часа ночи и пожар погас. Тлели-то пни обгорелые чуть ли не неделю. Смердило так, что и не приведи Господи. На людей смотреть было страшно: обгорелые, с опаленными волосами, нагие бродили по улицам, а то иные и совсем сгорели, тысяча семьсот человек, толковали, сгорело да в убогих домах похоронено, младенцев это не считая.

— Да пожар-то еще что, — продолжали рассказывать Филиппу. — После пожара что было. Царь-то Иван Васильевич с испугу на Воробьевы горы укрылся, словно от народа прячься; в это время мятеж и устроили те, кто злоумышлял против князей Глинских. Распустили это слухи, что, мол, они подожгли Москву. Сказывали, что княгиня Анна, — помнишь старуху мать-то великой княгини Елены Васильевны? — сердца из мертвых вынимала, клала в воду да улицы той самой водой кропила, ездя по Москве. Люди всякое зря болтают, а темный народ верит. В ярость на-

род в те поры пришел. Княгини-то Анны в Москве в те поры на ее счастье не было, так народ вломился в церковь Успения, куда сын княгини Анны, князь Юрий, укрылся. Там, в самом храме святом, его и прикончили, дохнуть не дали. Ни-ни! Потом на лобное место выволокли тело-то для поругания, пограбили имение князей Глинских и слуг их перебили. Много они досады народу делали. Тут-то и явился к царю поп новгородский Сильвестр.

Филиппу рассказали, что это был за муж. Суровый, правдивый, смелый. Простой иерей, он предстал перед царем Иваном Васильевичем и обличал его за жестокости, говорил, что Суд Божий гремит над главою легкомысленного и злострасного царя, что огонь небесный испепелил Москву и разлил гнев в сердцах людей. Писание раскрыл он перед царем и указал на правила, данные Вседержителем для земных царей, которые должны следовать начерченным им Господом путем. Плакал перепуганный молодой царь и клялся исполнить все и покориться Господним велениям. Великий страх напал на него.

— С той поры и не узнать царя, как стали

около него Сильвестр да Адашев, — продолжали рассказывать. — Поп Сильвестр его духовный наставник, а Алексей Федорович Адашев, хоть и юн летами, а правой рукой ему служит, народолюбец великий он. Душу свою за народ положить готов.

И Филипп услышал, что произошло в Москве после пожара и мятежа. Царя окружили люди, которые были убеждены, что он должен искать совета не только у своих советников, но и у всенародных чело­веков. Совершилось нечто небывалое доселе на Руси. В Москве собрали первый земский собор из выборных людей всей русской земли. Не бояре одни, не москвичи одни в думу сошлись, а все русские люди, так как русская земля была уже объединена московскими великими князьями и самодержавцами. Собрали этих выборных людей всех сословий в один из воскресных дней на Красной площади. Царь Иван Васильевич слушал обедню и потом с митрополитом и духовенством вышел на площадь на лобное место. Впереди него несли кресты. За ним шли бояре и военная дружина. Начали петь молебен. Когда он окон-

чился, царь, постившийся и исповедывавшийся перед этим великим днем, обратился к митрополиту.

— Молю тебя, владыко святой, — начал он громогласно, — да будешь нам помощник и любви поборник. Вем, блага дела и любви желатель еси. Я, владыко, и сам знаешь, как я остался после отца своего четырех лет; а после матери своей осьми лет. Родители о мне не брегли, а сильные мои бояре и вельможи о мне не радели и самовластны были, и сами себе саны и чести похитили моим именем, им же некому было возбранять, и во многих корыстиях, и в хищениях, и в обидах упражнялись. Я же словно глух был и не слышал, и не имел во устах своих обличения, юности ради моя и пустоты. Они же властвовали... О, неправедные лихоимцы и хищники и неправедный суд по себе творящие! Как ныне нам ответ дадите, многие слезы на себя воздвигнув? Я же чист от крови сея. Ожидайте воздаяния своего!

Царь поклонился на все стороны и обратился к окружающим с воззванием:

— Люди Божий и нам дарованные Богом!

Молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Ныне нам ваших обид, и разорений, и налогов исправить невозможно, замедления ради юности моей и пустоты и беспомощества и неправд ради бояр моих и властей и бессудства несправедного, и лихоимания, и сребролюбия. Молю вас, оставьте друг другу вражды и тяготы свои, кроме каких больших дел, и в том, и в иных вновь я вам, сколько вместно нам, сам буду судия и оборона, и неправды разорять, и похищения возвращать...

Впервые царь и народ стояли лицом к лицу помимо местничавшихся между собою бояр и наживавшихся неправдой служилых людей.

Тут же царь Иван Васильевич решился пожаловать в окольные Алексея Федоровича Адашева, молодого человека, случайно приблизившегося к царю и бывшего на его свадьбе стольником и мовником, то есть спавшего у его постели и мывшегося в мыльне с великим князем Жалуя своего любимца, царь обратился к нему с речью:

— Алексей! Взял я тебя от нищих и самых молодых людей, слыша о твоих добрых делах,

и ныне взыскал тебе выше меры твоей, ради помощи души моей; хотя и твоего желания на сие нет, но я пожелал не только тебя, но и иных таких, кто бы печаль мою утолил и на люди моя, Богом врученные нам, презрел. Вручаю тебе челобитный принимать о бедных и обидимых, и назирать их с рассмотрением. Да не убоишься сильных и славных, восхитивших чести себе и своим насилием бедных и немощных погубляющих; не верь и бедного слезам ложным и клеветущим на богатых, хотящим ложными слезами несправедливо обогатиться и быть правыми; но все рассматривать испытано и к нам приноси истину, боясь суда Божьего.

Он приказал ему избирать правдивых судей из бояр и вельмож. Ему же поручил важнейшие переговоры с иноземцами.

— Сильвестр и Адашев, — говорили Филиппу Колычевы, — и народ заставили собраться, и путь царю указали, каким Господь велит царям народом править. Ныне и казни, и убийства поутихали на Москве. Царица тоже всем нищим мать родная. Все ее славят.

Глубоко потрясен был Филипп всем слы-

шанным им в Новгороде. Какие перемены произошли в эти одиннадцать лет! Старые, надменные бояре, Глинские, Шуйские, Вельские, враждебные друг другу, не любящие отечества, не преданные престолу, ищущие только почестей и богатств, перебивают один другого, губят других и гибнут сами, вызывая ради личных выгод народ к мятежам и развращая умышленно юного царя поблажкою его порокам, чтобы он погряз в них, не касаясь дел. В Москве всегда безучастный к делам правительства народ начинает бунтовать, врывается во дворец, бьет окна у митрополита, совершает убийства в храме. Прекрасный юноша-царь, развратившийся и спившийся среди доброзрачных юношей, терзает ради потехи животных, давит конями народ, казнит одного боярина за другим, людей, ищущих правды, обливает кипящим вином и поджигает свечами, утратив светлый ум среди буйных оргий. И вдруг среди этого хаоса водворяются мир и спокойствие. Кто совершал это чудо? Бог! Но кто избран им орудием для совершения чуда? И в воображении Филиппа ясно рисуются два образа. Суровый обличив-

тель неправды, постник иерей, не поминающий древних пророков, и юный, чистый, как ангел, вышедший из темной массы всенародник, желающий только добра и добра народу. Вот кто теперь являются истинными исполнителями воли Божией, слугами царевыми, друзьями народными. Он еще не видал в лицо этих людей, но уже был глубоко проникнут уважением, благоговением к ним. Их путем должен идти теперь каждый, кому судил Господь стоять в их положении, и он, Филипп, пошел бы этим путем, стоя на их месте. Но нет, что же он думает об этом? Его доля — скромная доля настоятеля монастыря.

Вот этот монастырь уже вырисовывается перед ним вдали на сером фоне полупустынного острова. Судно, распустив паруса, быстро приближалось к берегу, подгоняемое попутным ветром. Завидели эти паруса в монастыре, и вся братия со старцем-игуменом, собравшим последние силы, двинулась навстречу судну на берег. Алексей облобызал своего премника, и его торжественно ввели в храм, прочли ектению за государя и стали читать во всеуслышание грамоту архиепископа. За-

тем Филиппа возвели на его настоятельское место. Он благословил братию, сказал взволнованным голосом несколько наставительных слов и велел иереям и дьяконам готовиться к соборной литургии. Как только кончилась служба и трапеза, Филипп прошел в келью Алексея и с видимой тревогой стал просить его:

— Отче, ты еще в силах, укрепился немного, отпусти меня снова в пустыню...

— Что ты, что ты задумал? — воскликнул испуганно Алексей. — Ты же принял мой настоятельский жезл...

— Облегчи хоть немного мое бремя, — настойчиво сказал Филипп. — Придет пора, с полной покорностью все сделаю, что повелишь... а теперь ты меня отпусти на время...

Алексей уже не спорил и отпустил снова Филиппа. Филипп опять удалился за две с половиною верст от обители, в свое любимое место, полное тишины и уединения. Все виденное, все слышанное глубоко потрясло его, и ему нужно было в тишине и безмолвии отдохнуть от массы нахлынувших впечатлений, чувств и дум.

В обители видели его теперь только в то время, когда он приходил приобщиться св. Тайн...

ГЛАВА IV

— Отче, отче, отец игумен кончается! — Второпях говорил еще довольно молодой монах, стоя перед Филиппом и едва переводя дух от усталости.

Он пробежал от монастыря до уединенной келии Филиппа, спеша вовремя известить отшельника о встревожившей всех старцев новости. Филипп, углубившийся в чтение книги, очнулся и поднял голову, вопросительно смотря на запыхавшегося монаха и как будто не совсем понимая его.

— За тобой, отче, спсылал настоятель, — продолжал монах. — «Чувствую, сказывал, что конец мой настал».

Филипп вздохнул, поднялся с места и, крестясь, окинул глазами свой любимый уголок, сознавая, что теперь уже не придется ему часто и подолгу бывать здесь, что настает для него пора упорной и живой деятельности. Он выпрямился, вышел из келий и направился

со своим спутником к обители. Ни колебаний, ни нерешительности не было теперь в выражении его лица. Казалось, в этот год, проведенный им снова в одиночестве, он и помолодел, и поздоровел. Все тревоги улеглись в его душе. Ему было уже более сорока лет, но он казался моложе своего возраста. Прямой, стройный, он ходил легкой походкой, как юноша.

В обители его встретили монахи почтительно и радостно. Старец Алексей тоже обрадовался его приходу и тихо прошептал ему:

— Видишь, отхожу в вечность!

Филипп облобызал его и присел около его ложа. Старик начал дремать. Иона, сидевший тут же, обратился к Филиппу, видя, что Алексей забылся сном.

— Не сказывал я отцу нашему игумену, — тихо начал Иона. — Из Москвы грамота пришла. Тебя вызывают совета ради.

Филипп немного изумился и сказал:

— Что ж, я готов... Не такое время теперь, чтоб обитель без настоятеля оставлять, ну, да что делать. Ты, отче, меня здесь заменишь, если Богу будет угодно отозвать отца нашего

Алексея.

Потом он спросил Иону, не знает ли тот, для чего его зовут в Москву.

— Судебник государь написать задумал и на совет зовет избранных, — ответил Иона. — Помнит он тебя и ради тебя обитель нашу вспомнил, не лишил своего жалованья. Пока ты в пустыне был, много даров в обитель прислал он, много милостей показал нам, грешным.

Действительно, как только узнал царь, что настоятелем Соловецкой обители является никто иной, как Федор Колычев, тот самый Федор Колычев, которого он так любил в светлые годы детства, тотчас же он стал оказывать свои милости монастырю. До этой поры в монастыре для звона к церковным службам были только каменные плиты, клепала, а не колокола. Взамен этих клепал было сделано жалованье государево — присланы колокола. Один из них, вылитый в немецкой земле по старанию князя Александра Ивановича Воротынского, весил сто семьдесят три с половиной пуда и стоил триста семьдесят рублей; другой, тоже большой, весил девяносто пять

пудов и обошелся в триста рублей; кроме того, на зазвонные колокола и на провоз их было израсходовано до пятидесяти рублей. В том же году для поминовения родителей государя и молитвы о его здоровьи была пожалована монастырю поморская волость Колежма с церковью Климента, папы Римского, а при ней девять обж и восемь соляных варниц со всеми угожьями и оброками. Также пожалованы на реке Суме остров с тремя дворами. В то же время получилась грамота, где говорилось: «А игумену с братьею на мои имянины пети молебн собором и обедня служити о нашем здоровье, и на братью корм большой и милостыня: а по моим родителям представлявшихся по памятем игумену пети панихиды и обедни служити собором, и на братью корм большой с милостынею». Царь приказал производить отпуск милостыни в Соловецкий монастырь и игумену, и всей братии по рукам тогда, когда он благоволит посылать в прочие монастыри из Москвы или Новгорода, то есть сравнить Соловки с другими первоклассными монастырями.

— Много и нужно для обители, — прогово-

рил задумчиво Филипп, выслушав рассказа Ионы о пожертвованиях государя. — Нельзя тому быть, что прежде было. Народ все прибывает, а ину пору и хлеба нет. Тоже вот, помилуй нас, Господи, случись опять пожар — можно без крова и пристанища остаться, да и святынь всех лишиться. В Москве вон каких-каких сокровищ не истребил огонь...

Он серьезно задумался.

— Немало я передумал в этот год об обители, о строении ее, — сказал он тихо и твердо. — Потрудиться, должны мы, сильно потрудиться...

Иона пристально посмотрел на него, как бы стараясь угадать его мысли.

— В твоих руках все, — проговорил он, понимая, что в голове нового игумена созревают широкие планы.

— В Божьих руках все, отче! — ответил Филипп. — А я потружусь, насколько сил пошлет Всевышний.

Прошло несколько дней. Старец-игумен тихо уснул вечным сном. Его похоронили с подобающей торжественностью, и новый настоятель обители заторопился ехать в Моск-

ву, поручив отцу Ионе наблюдение за монастырем.

Филипп был сильно возбужден и оживлен. Ему предстояло увидеть те места, где прошла его тихая юность, и того человека, которого он когда-то носил на руках. Станным казался ему тогда этот ребенок. Что из него вышло теперь? Рассказы о нем были так разнообразны: кровожадность и разгул сначала, теперь полное смирение и горячая любовь к жене, все это было так противоречиво. Филипп и в годы детства этого человека подмечал в нем эти порывы к добру и злу, сменявшиеся быстро и бурно, как какой-то ураган, как что-то стихийное.

Не без смущения, приехав в Москву и поклонившись московским святыням, ждал соловецкий настоятель свидания с царем. Десятки дальних родственников и старых знакомых спешили повидаться с приезжим, о котором уже говорили в Москве как о необыкновенном человеке. Все сообщали ему разные новости и говорили про молодого царя, выражая сочувствие к нему, прославляя происшедшую в нем перемену. Чем больше слушал

эти рассказы Филипп, тем сильнее желал он лично увидеть царя. Наконец их свидание состоялось, и Филипп был обрадован горячей и искренней ласкою молодого государя.

— Не забыл я тебя, — заговорил царь Иван Васильевич, обнимая его. — В годы счастливого детства, когда мать моя еще жива была, знал я тебя! Изменился ты, а узнал бы я тебя.

Царь был красив, статен, строен. Филипп с любопытством всматривался в него, и чем-то знакомым повеяло на него. Вспомнил он и этот характерный орлиный нос, и эти немного бегающие, резкие серые глаза, и эту лихорадочную подвижность, какой-то след вечной неутомимой душевной тревоги. Трудно было себе представить большую противоположность, чем эти два человека: один не мог ни минуты остаться спокойным; другой был строго сосредоточен; у одного поминутно бегали по сторонам глаза, другой смотрел пристально вдумчивым взглядом; один то и дело жаловался на прошлое, другой как бы отсек от себя все свое прошлое.

— Много я горя видел с той поры, как мы виделись, — торопливо стал рассказывать го-

сударь. — Бояре извести хотели; ину пору покормить нас с братом забывали. Нашим именем дела вершили, а нас не спрашивали. Не государем я был, а игрушкою в руках проклятых мятежников. Казну наших отцов пограбили они и поместья, и дворцы дядей наших, князя Юрия да князя Андрея, себе присвоили. Бабку нашу, княгиню Анну Глинскую, убить хотели; Москву, толковали, она спалила, а дядю нашего, князя Юрия Глинского, так в храме Божиим и прикончили...

Он говорил, волнуясь и горячась, перескакивая от одной обиды к другой, точно воспоминания о них бурными волнами осаждали его мозг. Филипп слушал его с опущенной головой, погруженный в тяжкие думы.

— Слава Богу, что он пронес все мимо над твоей головой, государь, — сказал спокойно соловецкий настоятель. — Прошлое прошло.

— Да, да, прошло, — упавшим голосом сказал царь, не то опомнившись от вспышки, не то бессознательно грустя о том, что все это прошло. — Прошло, а все же много испил я зла в эти годы и немало их было. Вот я уж и бородой оброс, и пожениться успел, а ты чуть

не старцем стал...

И совершенно неожиданно он спросил Филиппа, узнал ли бы тот его.

— Узнал бы, государь, — ответил Филипп, и в тоне его голоса прозвучала грустная нота.

В голове его мелькнула скорбная мысль: «Все тот же»!

У него защемило сердце от горького сознания, что не сегодня, так завтра этот теперь смиренный и набожный, но глубоко несчастный юноша может снова вернуться на старый путь зверства и разгула.

Царь заговорил с ним об обители Соловецкой и припомнил все свои милости и жалования, оказанные ей. Что-то вроде желанья похвалиться зазвучало в его голосе, а удивительная память сохранила в его голове даже такие мелочи, о которых не стоило и помнить. Казалось, он все ставил на счет — и вины других, и свои заслуги. Эта черта его характера сказывалась в каждом его слове. Филипп при упоминании об обители оживился и горячо стал рассказывать о ее нуждах.

— Церковь каменную задумал построить я, государь, — пояснил между прочим Фи-

липп. — Тоже расширить надо помещения для братии, да дороги провести, да болота осушить. Дела много, хватило бы только сил.

— Я тебе и братии помогу, — милостиво пообещал царь.

И тут же он отдал приказание отдать в дар монастырю деревню у реки Сороки с оброчною обжею и с церковью Живоначальной Троицы, при которой был погребен по представлении преподобный Савватий. Перешла к монастырю и речка Сорока с оброками.

Пылкий и увлекающийся царь Иван Васильевич при встречах с Филиппом вспоминал теперь каждый раз свое детство. Оно казалось ему теперь необычайно счастливым и прекрасным в сравнении с последними годами, которые, наоборот, рисовались в его пылком воображении рядом каких-то нестерпимых пыток и унижений. Его воображение, не имевшее пределов, преувеличивало все, и хорошее, и дурное. Сам Филипп теперь представлялся ему лучшим из его друзей первой поры жизни, точно он не сходил с рук у Филиппа и только с ним и проводил время в эти детские годы. И на Филиппа, заседавшего в

собрании составителей Судебника, а в следующий год приезжавшего на заседание церковного собора, долженствовавшего составить «Стоглав», сыпались щедрые милости. Его дядья Иван Рудак-Колычев и Иван Умной-Колычев получили знатные чины окольничих. На гробы соловецких чудотворцев пожалованы два атласных лазоревых покрыва. Потом были подарены ризы и стихарь [28] белой камки, подризник, епитрахиль [29], поручи [30] и пояс, тканые из золота и серебра с кистями, орарь [31] и поручи с дробницами [32]; все эти вещи и у пояса кисти были сажены жемчугом. Кроме того, приказано игумену Филиппу и будущим по нем, на случай проезда в Москву и из Москвы по делам монастырским, выдавать кормовые деньги и записывать оные в книгу дворецкого.

Филипп в эти дни пребывания в Москве успел близко познакомиться и с Сильвестром, и с Адашевым. Увидав их, он сразу понял, что все хорошее теперь исходит от них и их близких людей и что царь Иван Васильевич только покоряется их воле. Более всего смущало Филиппа в государе стремление вечно жало-

ваться на прошлое, на бояр, на мятежников. Какие-то особенные ноты горечи и желчи улавливал Филипп в этих жалобах и каждый раз тоскливо опускал голову. Этот странный человек ничего не забыл, никому не простил и только мирился по необходимости со своим настоящим положением, под влиянием более сильных и цельных натур, чем он.

Когда 24 февраля 1551 года уже возобновленный после пожара каменный Кремлевский дворец наполнился знатнейшими лицами из мирян и духовенства для заседания в Соборе слуг Божиих, Филипп впервые увидел царя Ивана Васильевича говорящим публично при большом собрании людей. Митрополит Макарий, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, бояре и сановники уселись в полном молчании на своих местах, в просторной палате только что подновленного дворца, и перед ними предстал в царской одежде царь Иван Васильевич, блиставший красотой и величием. Он сразу заговорил горячо и многословно, как это он делывал всегда, щеголяя своими познаниями в писании и истории. Прежде всего он произнес несколько

напыщенно прекрасные слова о возвышении и падении царств, зависящем от мудрости или буйства властей, от благих или злых обычаев народных. Потом перешел к своему любимому предмету — к положению России, вдовствовавшей во дни его отрочества и юности. На этом месте речи он весь точно преобразился, и в его движениях, в его глазах отразилось беспокойство. Его голос задрожал от закипевшей в нем злобы, когда он заговорил о гибели его родных, о мятежах бояр, о дурных примерах, испортивших его сердце. Какие-то шипящие ноты прорывались в его голосе, а серые глаза с хищническим выражением забегали из стороны в сторону, как бы ища и пересчитывая мысленно виновных.

Филипп следил за ним и, казалось, читал в его душе.

— Но теперь мы все прошлое забвению предали, — вдруг заключил царь Иван Васильевич упавшим голосом свои жалобы, тяжело переводя дух.

— Ничего не забыл! — с горечью подумал Филипп.

Царь продолжал:

— Сам Господь послал нам испытание, по грехам нашим испепелил Москву. Тогда содрогнулась душа моя и кости мои затрепетали. Дух мой смирился, сердце умилилось. Теперь ненавижу зло и люблю добродетель. От вас требую ревностно наставления, пастыри христиан, учителя царей и князей, достойные святители церкви! Не щадите меня в преступлениях, смело упрекайте меня в моих слабостях, гремите словом Божиим, да жива будет душа моя...

Он заговорил о Судебнике, все положения которого были одобрены думою. Потом царь указал на необходимость твердых уставов и для церкви, о необходимости устройства школ. Духовенство находилось в страшном упадке, было невежественно и развращено до мозга костей; монастыри были рассадниками тунеядства, пьянства и гульбы, превосходившей даже гульбу мирян; монахи заразились духом бродяжничества и шлялись из монастыря в монастырь; самые возмутительные пороки гнездились в обителях. Все это нужно было исправить, преобразовать, создать заново. Широки и разумны были начертания

всего того, что задумывали власти создать и упорядочить, не упуская из виду, никаких мелочей.

Собрание деятельно принялось за обсуждение предложенных на его рассмотрение вопросов, и эта работа поглотила мысли Филиппа. Вспоминая среди серьезных дел о царе, он только мысленно молился, чтобы Бог укрепил царя идти по тому пути, по которому он шел Теперь, как великий преобразователь России.

Несмотря на серьезную деятельность в думе, несмотря на расположение государя, Филипп стремился скорее уехать из Москвы в Соловецкую обитель, где его ждали сотни задуманных им самим дел. Два года он уже был настоящим настоятелем в обители, и два раза приходилось ему в это время проводить целые месяцы в Москве. Это его сильно тревожило. Работа предстояла горячая. Число братии за последние годы умножилось, а средства оставались почти прежние, и потому оскудение в монастыре нередко порождало ропот. Особенно неудобство ощущалось в тесном размещении монахов, так как после по-

жара здание было почти наполовину меньше прежнего, а и в прежних помещениях жили люди в тесноте. Еда была недостаточна, не питательна и не здорова. Это было не монашеское содержание, а отравление плоти или проголодь. Не лучше была и одежда монашествующей братии. Монахи не только нередко походили на нищих, но не было даже однообразия в одеяниях. Тут была не необходимая для монаха скромность в одежде, а невольная неряшливость и нечистоплотность, недопустимая для служителей церкви. Все в обители требовало не только перемены, но создания наново всего строя жизни. Десяток предшествовавших Филиппу соловецких настоятелей не оставили после себя никаких следов, кроме ничего не говорящих имен этих игуменов. Жизнь монастырская текла сегодня, как вчера, и носила характер полного застоя.

Когда Филипп, возвратившись в свою обитель, начал развивать свои планы переустройства монастыря перед Ионою, тот спросил его;

— А где средства?

— Их-то и надо отыскать, отче, — ответил

Филипп. — Без денег, конечно, ничего не поделаешь. Ну, да Бог не без милости, авось, пошлет и их.

И решительным тоном он прибавил:

— Одно я знаю, что в прежнем положении обитель нельзя оставить.

— Помоги тебе Бог в благих начинаниях, — сказал Иона.

Он с глубокой любовью смотрел на своего бывшего ученика и твердо верил в его силы.

Прежде всего новый игумен обратил внимание на главную доходную статью обители, на соляной промысел, прибавив до шести новых соляных варниц. В то же время он воспользовался железной рудой и завел железный завод, чтобы не иметь нужды покупать на стороне железо на монастырские нужды. Чувствуя, что деревянные постройки всегда будут легкой добычей пламени, он устроил обширный кирпичный завод, на котором можно бы было изготовить необходимое для построек количество кирпичей. В монашеской трапезе чувствовался недостаток молока, масла, огородных овощей, всего того, что так необходимо для поддержания сил и здо-

ровья, особенно на севере, где так легко распространяется цинга. Филипп тотчас же испросил владычное разрешение завести на острове скот, которого до этой поры было крайне мало, да и то в очень далеком расстоянии от Соловков.

Так как по завещанию Св. Зосимы запрещалось разводить плодящихся животных в обители, то Филипп построил в десяти верстах от монастыря на острове Муксами новый обширный скотный двор. Привезли на этот двор значительное число коров да кроме того пустили в леса лапландских оленей, кожа которых стала служить к выделке сапожного товара, шерсть для набивки подушек и тюфяков, а мясо в пищу мирских людей, всегда прибывавших в большом количестве в обитель.

Одна эта деятельность требовала страшной, неутомимой энергии и изумляла окружающих, как нечто сверхъестественное. С наивным удивлением перечисляет древний летописец соловецкий, как улучшилась трапеза монастырская при игумене Филиппе.

«При Филиппе игумене, — повествует

он, — прибыли шти с маслом да разные масляные приспехи, блины, и пироги, и оладьи, и кружки рыбные, да и киселя, да и яишница. Да при Филиппе ж игумене прибыло: стали в монастырь возити огурцы да рыжики»...

Заботясь о том, чтобы братия была обеспечена в отношении здоровой пищи, игумен в то же время установил ради благообразия и равенства в одеянии, на сколько должен иметь монах в келий одежд и обуви. Стараясь улучшить условия монашеской жизни, Филипп, как проповедник необходимости и благотворности труда, вызвал всех к неутомимой и энергичной деятельности. Заведение скота заставило расчищать и распространять места, удобные для сенокоса, и монахи стали собирать сена до полуторы тысячи копен. Построив в двух верстах от монастыря к востоку кирпичный завод, игумен указал места для порубки дров на завод и на монастырь, с тем чтобы вырубка не только не портила и не истребляла леса, но, напротив того, очищала бы его и способствовала дальнейшему его размножению.

— Дороги вот тут надо провести, — гово-

рил он, обозревая зоркими глазами леса с группой сопровождавших его монахов. — Да пригорки-то выровнять придется, а где болотины — ручьи провести да плотины сделать следует...

Монахи безмолвно слушали его, а у него уже созревали новые планы.

— Тоже к мельнице воду провести надо, — объяснял он. — Озера-то соединить да вот там пруд выкопать для стока воды. Большую мельницу можно будет выстроить, вода поработает за многих...

И он начертывал целую систему каналов, соединяющих пятьдесят два озера. Это должно было служить мельничному делу и осушению почвы от болот и доставлению в монастырю свежей воды.

— Да вот губу-то морскую надо оградить насыпями, чтобы судам легче было приставать, — продолжал он начертывать планы преобразований обители. — На насыпях-то кресты поставить, чтобы издалеча видны были. Тоже суда задерживаются на пути ветрами, так на Большом Заяцком острове пристань каменную, да палату, да поварню со-

орудить пригоже. Не помирать же с голоду тем, кто там причалит.

Монахи не верили, что все это возможно сделать, что это не мечты, а действительности. Но игумен не остановился в своей работе. Великий гениальный ум, как бы дремавший до этой поры, развернулся теперь во всем своем могуществе. Он не упускал ничего из виду, не забывал ни малейших нужд монастырских. Поверенные игумена строили по городам подвория, в Новгороде, в Суме, а в самой обители уже кипела постройка каменной соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Храм был задуман и построен превосходно. Огромная братская трапеза и келарская [33] келия должны были примыкать к храму. Внизу располагались хлебопекарная и муко-сейная службы, под келарскою келиею; под алтарем и под церковью помещалась просви-ренная; под трапезою погреба квасной и хлеб-ный; над трапезою должна была быть коло-кольня с боевыми часами; над церковью по-мещался придел Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Здание было обширно: церковь бы-

ла длиною в шесть саженой и поперек в три сажени; алтарь в две сажени; квадратная трапеза в двенадцать саженой; келарская, квадратная же, в семь саженой; снаружи все здание в окружности, кроме паперти, занимало восемьдесят две сажени. Подвалы были устроены со сводами. Кроме того, для братских келий были основаны двухэтажные и трехэтажные корпуса.

Не знаящий сам ни усталости, ни упадка сил, Филипп заботился о немощах других и создал при монастыре не только больницу, но и помещение для престарелых монахов, не имевших сил к труду и нуждающихся в покое и отдыхе. Зная по себе, что есть люди, чувствующие непреодолимую потребность полного уединения, он создал пустыни, построил отдельные келий на Заяцком острове.

Но всего этого казалось ему мало.

Едва успели окончить призванные из Новгорода мастера постройку Успенского собора, как неутомимый игумен решился начать постройку еще более обширного храма Спаса Преображения. Он созвал братию для совещания. Лицо его было радостно и, спокойно.

Огромное дело пересоздания обители было совершено им с неожиданным успехом, и душа была полна надежд на Божию помощь во всех его начинаниях. Он излагал братии свой новый план.

Их охватило тогда невольное смущение. И то, что было уже сделано, казалось им каким-то необъяснимым чудом, а тут еще задумывается новая страшно дорогостоящая постройка великолепного храма. Совсем разорится обитель, и храма не удастся достроить.

Тихо простирая беседу, один из братии решился заметить:

— Кто от вас, хотяй столп создати, не прежде ли седь разчтет имение, аще имать, еже есть на совершение, да не когда положить основание и не возможет совершити, вси видящи начнут ругатися ему?

Филипп удивился, услышав эти знакомые ему слова. Но прежде чем он успел сказать что-нибудь, другой из сидевших с ним старцев откровенно объяснил ему то, что пугало монахов:

— Отче! Киновия терпит всякие недостатки, казна ее в оскудении, от городов мы уда-

лены: помысли, откуда возьмем злата на совершение храма огромного?

Филипп спокойно и твердо ответил:

— Братие, упование на Бога не обманчиво. Если угодно Господу дело наше, он невидимо подаст нам от нескудных сокровищ своих и дом святому имени его воздвигнется несомненно.

Старцы вздохнули и тихо согласились:

— Да будет, как изволишь, отче честный, вся бо еже просиши у Бога, даст ти Бог.

Собор стали закладывать.

На ста семидесяти саженьях основания должно было возвыситься прекрасное здание. В основе лежали кладовые погреба, своды должны были в храме подпираться двумя столбами. Храм сооружался не только под наблюдением самого Филиппа, но отчасти и его руками. Со всех сторон уже свозили материал для этого здания: разноцветные стекла, в узорчатых рамах, с кругами и коймами [34], серебряные свещники, серебропозлащенные кадила, сосуды, книги, драгоценные ткани, образы, ризы. Государь продолжал все время жаловать обитель. Сначала получил мона-

стырь разрешение торговать десятью тысячами пудов соли, вместо шести тысяч пудов, беспошлинно и на вырученную сумму делать закупки для обихода монастырского тоже беспошлинно, так как, сказано было в грамоте, монастырь сторел до основания, а строить нечем за недостатком строевого леса. Потом, по уничтожении у всех монастырей жалованных торговых грамот, пожалована была монастырю волость Сума с приходскими церквями Успенскою и Николаевскою, при волости же семьдесят обж земли с соляными варцами, оброком и угодьями. Утверждено во владении монастыря также село Пузырево с церковью Николая Чудотворца в тверских землях. Узнав о постройке храма, царь пожаловал на строение тысячу рублей, потом внес на поминовение царицы Анастасии сто рублей, по брате князе Юрии Васильевиче сто рублей, по великой княгине Марии сто рублей, по царице великой княгине Марфе семьдесят рублей. Присланы были два колокола, весом оба в двадцать пять пудов, пожалован крест со святыми мощами, весь золотой, с дорогими каменьями и крупным жемчугом.

Сам Филипп той дело совершал вклады в обитель для вечного поминания его родителей и брата Бориса. Иконы, серебряные стопки, лжицы [35], блюда, позолоченные кадила, книги вносились им от себя в обитель. Соловецкие острова сделались неузнаваемыми, творческая рука преобразила их, в то же время этот разносторонний гений успевал обращать внимание на все, начиная с мелочей и кончая крупными преобразованиями. Неподражаема простота, с которою описывает изобретения Филиппа соловецкий летописец.

«Да, до Филиппа игумена квас парили, ино сливали вся братия и слуги многие и из швален, а при Филиппе парят квас: старец да пять человек, и сливают те же, а братия уже не сливают, ни слуги, ни из швален; а тот квас сам сольется со всех щанов да верх подымут ино трубою пойдет в монастырь, да и в погреб сам льется, да и по бочкам разойдется сам по всем. Да, до Филиппа игумена на сушило рожь носили многие братья, а Филипп игумен нарядил телегу, сама насыпается, да и привезется, да и сама и высыплет рожь на сушило. Да, до Филиппа игумена подсевали

рожь братья многие, а Филипп игумен доспел севальню, десятью решеты один старец сеет, да при Филиппе ж доспели решето само сеет и насыпает, и отруби и муку разводит розно, да и крупу само же сеет, и насыдает и разводит розно крупу и высейки. Да, до Филиппа братья многие носили рожь на гумно веяти, а Филипп нарядил ветер мехами на мельнице веяти рожь, да прежде сего на вараке глину на кирпич копали людьми, а ныне волом орут одним, что многие люди копали и глину мяли на кирпич людьми, а ныне мнут глину на кирпич конями; да и на церковь лошадыми воротят ворота кирпич, и брусья, и известь, и всякий запас ворота на телегах возили кирпич, и каменья, и всякий запас...»

Но все это казалось недостаточным широкому уму Филиппа, и, часто беседуя со своим возлюбленным учителем старцем Ионою, он сетовал, что народ живет в притеснениях и среди неправды.

— Кто может, тот и обижает, — говорил Филипп. — Его-то оградить как?

— Уповай на Господа, друже, — отвечал старик. — Он тебя научит, что и как сделать.

— Произвола бы только не было, — задумчиво рассуждал настоятель, — а то берут, что хотят, последнюю копейку тянут с крестьянина.

Он тяжело вздохнул.

— И сами-то не умелы, устроиться не умеют. Лес начнут рубить — все вырубят. Горе приключится — вином его залить думают. А кругом злые враги, в мутной воде рыбу ловят, одного споят, другого в зернь обыграют, третьего обведут так, что последнюю лошаденку продаст, а после и в поле не с чем выйти...

И первую его заботою по делу управления крестьянами было новое устройство волостного управления. Он назначает особых должностных лиц, старца-приказчика, старца-келаря и доводчика, строго определяя, сколько они должны получать с кого и в каких случаях. Тут же даются правила судопроизводства, указываются полицейские распоряжения насчет казаков, запрещается торговать вином и курить его дома, определяется штраф за игру в зернь. Прибавляется также, что если старец-приказчик или доводчик кого избидят или поступят не по грамоте, то старец-при-

казчик или доводчик являются ответственными за свои вины. В другой грамоте он указывает на выборных, из каких людей они должны быть взяты и как должны относиться к делу, указывает точно на взимание податей и определяет, кто должен платить бирючам и кто освобождается от платы. Он входит во все нужды крестьянского хозяйства и создает правила, касающиеся даже таких мелочей, как оберегание рощиц, принадлежащих крестьянам. Забота о правосудии выражается вполне определенно: дела крестьян обсуждаются людьми добросовестными, вместе с приходским священником и выборными людьми. Судная пошлина по окончании суда взимается с виновного, и строгая ответственность падает на судей в случае пристрастия. Доводчику дается наказ беречь накрепко своих крестьян на суде с посторонними людьми, то есть с сильными и богатыми.

Но и среди этой кипучей деятельности бывали минуты, когда вдруг тоска охватывала Филиппа и хотелось ему хоть на день укрыться в пустыню, уйти от всего и всех. Причин для осадка горечи в душе было немало...

ГЛАВА V

Смотря во время пребывания в Москве на царя Ивана Васильевича, Филипп с горечью думал, что рано или поздно в этом несчастном юноше проснется снова греховный человек. Что-то неуловимое для недалеконувидных людей, но ясное для наблюдательного взгляда говорило, что страсти в этом странном, полном противоречий существе загнули на время, но не умерли навсегда. Их могли подавить посторонние сильные умом и духом люди, явившиеся на помощь к царю в удобную минуту, но вырвать их с корнем не могла никакая человеческая сила. Филипп не ошибся.

Тяжелое чувство проснулось в его чуткой душе, когда в Соловецкий монастырь поступили от царя сто рублей с приказанием:

— Поминать царицу и великую княгиню Анастасию.

— Отлетел в селения горния ангел-хранитель государя, — сказал со вздохом Филипп старцу Ионе. — Не жду я ничего доброго теперь для государства.

— А Сильвестр и Адашев? Они-то еще живы, — заметил Иона. — Ты же говорил, что ими он только и обуздывается...

— Они случайные люди, отче... Сегодня они, завтра другие явятся... Царь молод, женится вторично, новые любимцы приблизятся к нему...

Его предчувствие сбылось. Почти следом за известием о смерти Анастасии получилось известие о ссылке Сильвестра в Соловецкий монастырь. Филипп как громом был поражен этим известием и нетерпеливо ждал приезда в обитель знаменитого священнослужителя. Сильвестра привезли в Соловки. Он был одет в монашескую рясу. Его немного суровое лицо смотрело грустно, но было спокойно. Филипп приветливо и почтительно встретил попавшего в опалу иерея и постарался сделать все зависящее от него, чтобы старику жилось вполне спокойно в обители, чтобы он чувствовал здесь себя не узником, а всеми уважаемой личностью. Сильвестр успел уже в Москве хорошо узнать Филиппа и не был удивлен этим приемом. Беседуя теперь каждый день с Сильвестром, Филипп узнал все,

что делалось в Москве.

Ссылка Сильвестра должна была быть первою вестницею новых порядков в Москве. Действительно, порядки там начались совершенно новые и такие, что даже наиболее мрачно смотревшие на все люди не могли ожидать ничего подобного. Перемена явилась слишком резкою и крутою, как все в поведении царя Ивана Васильевича было резко и круто.

Долго покорявшийся воле Сильвестра, Адашева и членов думы, молодой государь не мог вдруг освободиться от всякого постороннего влияния. Он долго верил в окружавших его людей и, может быть, не скоро утратил бы в них веру, если бы не произошло одно горькое событие — его смертельная болезнь. Это событие точно отдернуло перед глазами царя Ивана Васильевича плотную завесу, скрывавшую вполне тайные страсти, намерения и ковы окружавших его людей. Вся Москва пришла в волнение, узнав, что царь умирает.

Его за последние годы уже искренне и горячо любил народ, и у каждого являлись опасения насчет будущего. Кто будет царство-

вать? Неужели снова настанет правление бояр? Москва уже знала по недавнему опыту, как тяжела правящая рука враждующего между собой боярства. Приближенные к царю Ивану Васильевичу люди были тоже смущены этими мыслями, и один из них, царский дьяк Михайлов, смело сказал царю, что надо написать духовную. Царь, сознавая, что его смертный час близок, согласился с предложением Михайлова и велел написать, что оставляет престол своему сыну, младенцу Димитрию. Другого распоряжения не могло быть сделано, так как царевич Димитрий был законным наследником престола в качестве царского первенца. Тем не менее этого назначения было довольно, чтобы разыгрались страсти бояр и царедворцев. Захарьины-Юрьевы обрадовались, поняв, что власть попадет в их руки, как родственников царицы Анастасии. Сильвестр и Адашев со своими сторонниками, видя эту нескрываемую радость Захарьиных, испугались за отечество, предвидя, что Захарьины-Юрьевы явятся вторыми князьями Глинскими, а может быть, и похуже последних. Сын покойного князя Ан-

дрея Ивановича Старицкого, князь Владимир Андреевич, и, главным образом, его честолюбивая мать, княгиня Евфросиния, много испытывавшая и горя, и унижений и предвидевшая, что ей и ее сыну придется при Захарьиных не лучше, чем при Глинских, принялись поспешно подговаривать людей на свою сторону, поясняя, что царевич Димитрий мал, а брат царя, князь Юрий Васильевич, слабоумен. Возбуждение страстей было вообще среди бояр, так как каждый из них был более или менее заинтересован в решении этого вопроса о престолонаследии. В Москве то и дело одни вельможи заезжали к другим, охали, сетовали, совещались и подозрительно смотрели друг на друга, видя один в другом врага в будущем. В самом государевом дворце произошло нечто такое, чего не бывало никогда и что сразу открыло глаза несчастному больному царю на многое. В царской столовой комнате, куда наскоро собрали бояр для присяги царевичу Димитрию, поднялись страшнейшие шум и гам.

— Не дадим присяги! — упрямо кричали одни.

— Кто смеет ослушаться государя? — с угрозой кричали другие.

— Захарьиным креста не будем целовать, — противились первые, оправдывая свое поведение. — Царевич Димитрий младенец, не он править будет. Захарьины все заберут в свои руки.

Более всех волновался князь Владимир Андреевич, наотрез сказав, что присягать не будет.

— Ослушник царев! — грозно крикнул ему князь Воротынский.

— Да смеешь ли ты-то браниться со мною? — накинулся на него князь Владимир Андреевич. — Не знаешь, кто я?

— Не браниться, а и драться с тобою смею! — закричал грозно князь Воротынский. — Я слуга государей Ивана Васильевича и Димитрия Ивановича. Не я велю присягать, а они!

Больной царь услышал этот шум, узнал, в чем дело, и смутился. Он позвал к себе бояр и стал с трудом говорить, приподнявшись на локте на своем ложе.

— Если вы сыну моему Димитрию креста

не целуете, значит, другой Царь у вас есть, — начал он, — а ведь вы целовали мне крест не один раз, что мимо нас других государей вам не искать. Я вас привожу к крестному целованию, велю вам служить сыну моему Димитрию, а не Захарьиным.

Говорить ему было очень тяжело. Едва переводя дух, он тоскливо сказал:

— Я с вами говорить не могу много... Вы души свои забыли, нам и детям нашим служить не хотите, в чем нам крест целовали, того не помните, а кто не хочет служить государю-младенцу, тот и большому служить не захочет, а если мы вам не надобны, то это на душах ваших...

Он утомился, упав без сил на подушки и проговорив еще раз:

— Не могу говорить!

Первый отозвался на его слова изворотливый и хитрый князь Иван Михайлович Шуйский:

— Нам нельзя целовать крест не перед государем; перед кем нам целовать крест, когда государя тут нет?

Это была пустая отговорка желавшего вы-

городить себя на всякий случай придворного. Окольничий Феодор Адашев, отец царского любимца, высказался прямее и проще:

— Тебе, государь, и сыну твоему, царевичу князю Димитрию, крест целовали, а Захарьиным Даниле с братьею нам не служить; сын твой еще в пеленках, а владеть нами будут Захарьины, а мы уж и в твое малолетство беды видали многие, сам знаешь.

Царь молчал, сознавая, что его уже считают ни за что, что его не хотят слушать. В его воображении проносились страшные картины того, что ожидает его жену и сына. Представить ужасы этого положения было легко, потому что он хорошо помнил смерть своей матери, свое сиротство. И теперь будет то же, хуже еще будет.

Отпустив ослушников и узнав, что некоторые из испугавшихся за себя бояр уже присягнули, он призвал к себе их и обратился к присягнувшим князьям Мстиславскому и Вортыньскому с пугливою мольбою:

— Не дайте боярам извести моего сына, бегите с ним в чужую землю. Укройте их от врагов.

Потом сказал стоявшим тут же и совершенно растерявшимся в решительную минуту Захарьиным:

— А вы, Захарьины, чего испугались? Думаете, что бояре вас пощадят? Нет, вы у них первые мертвецы, так вы бы за сына моего и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали.

Среди бояр между тем началась смута. Никто не знал, за кого выгоднее стоять, к кому следует примкнуть. Упрекая друг друга и перебраниваясь, все князья и бояре, привыкшие к розни и боявшиеся друг друга, начали, наконец, один за другим присягать младенцу Димитрию. Многие из них понимали, что в случае нужды это их ни к чему не обязывает. Клятвам приходилось изменять не раз, и это смущало не многих. Но об этом им следовало подумать раньше, так как их временное упрямство раскрыло перед больным царем настоящее положение дел и подняло в душе бурю, которую успокоить было нелегко. Он прозрел.

В это время князь Владимир Андреевич и его мать подлили еще более масла в огонь:

они у себя в доме раздавали жалованье детям боярским, желая подкупить их в свою пользу. Бояре, стоявшие за присягу, попрекали их, ругали, наускивали на них чернь и даже самовольно запретили князю Владимиру Андреевичу вход к государю. Москва волновалась. Во дворце произошло новое столкновение — столкновение бояр с Сильвестром, выступившим защитником князя Владимира Андреевича перед царем. Сильвестр всегда любил князя Владимира Андреевича, давно зная его за доброго и мягкосердечного человека, которого горячо любили все близко стоявшие к нему люди. Сближение знаменитого иерея с князем Старицким произошло ранее даже того времени, когда Сильвестр явился перед царем. Все это знали и теперь считали проповедника пособником князя, а значит, и противником царевича Димитрия, Анастасии и Захарьиных. Заступничество за князя Владимира со стороны Сильвестра показалось подозрительным, а в том числе и самому царю. Бескорыстной любви к отечеству, бескорыстному заступничеству за кого бы то ни было тогда не верил никто, так как всеми руково-

дили прежде всего корыстные расчеты. Однако на этот раз все обошлось внешним образом мирно. Большинство не придавало этой истории того значения, которое она должна была иметь впоследствии. Царь Иван Васильевич ничего не забывал.

Глубоко запали в его душу все эти сцены мятежа, показавшие ему, что его жена и его сын подвергались бы горькой участи после его смерти, что и его власть в сущности призрачна. Но он не подал никому и вида, что он по-старому стал ненавидеть крамольников-бояр. Нужно было быть очень тонким наблюдателем, чтобы по разным мелочам уловить происшедшую в царе перемену. Он тотчас после выздоровления собрался ехать по обещанию на богомолье, в Кирилло-Белозерский монастырь.

— Не езди, государь, — уговаривали его приближенные, опасавшиеся за его здоровье. — Не совсем ты оправился еще, а путь тяжел и далек. Как бы не занедужил снова...

Но царь Иван Васильевич теперь особенно упорно и строптиво настаивал на своем, точно желая упрямством доказать свою само-

стоятельность. По дороге он заехал к Троице-Сергию, и здесь снова начали его отговаривать от дальнего путешествия. У Троицы-Сергия жил Максим Грек, уже в сущности прощенный, но не отпускаемый по чисто политическим соображениям на родину. Царь должен был зайти в его келию, и потому бояре уговорили Максима Грека тоже посоветовать царю отложить богомольное путешествие. Максим Грек стал говорить с царем в этом духе. Царь понял, по чьим советам действует Максим Грек, и опять заупрямился. Разговор принял даже несколько резкий характер, и Максим Грек сказал пророчески царю:

— Поедешь — сына потеряешь!

Царь рассердился.

— Чем пугаешь! В животе и смерти Бог волен, — сказал он, выходя из келий.

Он настоял на своем, как бы доказывая этим, что его никто не переломит, если он на что-нибудь решился.

По дороге в Кирилло-Белозерский монастырь он заехал в Песношский монастырь, где жил теперь бывший коломенский владыка и любимец великого князя Василия Ивано-

вича Вассиан, сильно пострадавший от бояр после смерти великого князя. Честолюбивый и обиженный боярами, старик был очень обрадован встречей с царем, зашедшим в его келию. Государь заговорил с старцем о временах своего отца.

— Добрые были времена, — со вздохом сказал Вассиан, и в его старческом голосе зазвучали злые ноты. — Ни смут, ни мятежей не было. Государь великий князь, родитель твой, государь, сам все дела ведал... От бояр встречи не терпел, а что задумал, то своим дьякам приказывал исполнять. Да, добрые были времена! Не то потом было...

Он снова тяжело вздохнул.

— Ох, ох, солоно пришлось русским людям от боярского правления, — продолжал он. — Никто добром того времени не помянет. У много и по сию пору раны телесные и сердечные не зажили и болят, и ноют...

Он искоса посмотрел на оживившееся лицо царя, кивавшего ему в знак согласия головою. Когда старик замолчал, царь не выдержал и начал жаловаться на претерпенные им от бояр обиды во время его сиротства. Это бы-

ла любимая тема разговоров царя, но теперь жалобы вышли особенно страстными. Вассиан, умный, наблюдательный, воспитанный в школе придворной жизни времен великого князя Василия и митрополита Даниила, хорошо читал в людских сердцах. Он слушал и понимал, какая страшная ненависть кипит в душе молодого царя против бояр. Царь, наконец, умолк на минуту и потом резко спросил:

— Как лучше править, отче, чтоб бояр держать в повиновении?

Злобный и мстительный Вассиан обрадовался этому вопросу, склонился к уху царя и прошептал:

— Коли хочешь быть истинным самодержавцем — не держи около себя никого мудрее тебя самого: ты всех лучше. Коли так будешь поступать, то будешь тверд на своем царстве и все у тебя в руках будет, а коли держать станешь около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться.

Царь схватил руку старца, прижал ее к губам и воскликнул:

— Если б отец родной был жив, так и тот не сказал бы мне ничего лучшего!

Эта минута вознаградила Вассиана за многое, и он злорадно думал о том, что ему удалось в эту минуту отмстить многим.

Царь Иван Васильевич вышел из его келий с сияющим лицом, точно получив откуда-то свыше разрешение мучивших его душу сомнений.

Началась при дворе глухая борьба. Захарьины-Юрьевы вооружили царицу Анастасию против Сильвестра и Адашева. Она, богомольная, мягкосердечная, нищелюбивая, но не отличавшаяся ни сильным характером, ни ярким умом, сама начала видеть в них своих противников, и, может быть, впервые в этой мягкой, безмятежной душе пробудилось мелочное мстительное чувство. При дворе ходили уже слухи, что она, как царица Евдокия, хочет извести Златоуста, то есть Сильвестра. Кто распускал эти слухи — хитрые ли приверженцы Захарьиных или неумелые приверженцы Сильвестра, — этого никто не знал, но приписывались эти слова самому Сильвестру и вооружали против него еще более царя и царицу. Начались первые трусливые попытки к бегству. Задумали бежать в Литву князя

Никита и Семен Ростовские, князья Лобановы и Приимковы. За подобные попытки наказывали страшно. Однако в настоящем случае наказание было смягчено. Сильвестр с митрополитом Макарием и владыками избавил виновных от смертной казни и сосланного на Белоозеро князя Семена Ростовского держал в великом береженьи, как жаловался царь Иван Васильевич. Произошла размолвка с Сильвестром и из-за ливонской войны, от которой Сильвестр отговаривал царя, что страна и без того сильно истощена. Дело дошло до того, что Сильвестр счел нужным удалиться в монастырь, а Алексея Адашева отправили на войну, как в почетную ссылку. В это время заболела царица. Во время ее болезни вспыхнул новый пожар в Москве на Арбате. Она сильно перепугалась, ее вывезли из Кремля, а 7 августа 1560 года ее не стало.

Страшно бился и рыдал царь, провожая ее гроб. Необузданный в радости и в горе, в любви и ненависти, он не знал в отчаянии, что начать. Окруженный близкими людьми, он вернулся из церкви во дворец и не знал, что делать, точно для него со смертью жены по-

гибло все.

— Да, государь, ты вот убиваешься тут с ними да глаз не осушаючи плачешь, а злодеи, поди, радуются, своего добившись, — заметил один из Захарьиных.

— О каких злодеях говоришь? — спросил царь.

— Сам знаешь, государь, кто нашу возлюбленную царицу к Евдокии приравнивал, что Златоуста извести хотела...

Кто-то проговорил:

— Чародейством тебя подчинили воле своей, чародейством, может быть, и государыню извели...

Царь ничего не возразил. Внутри у него все горело, и он, утоляя внутренний жар, осушал кубок за кубком. Приближенные продолжали разговор на ту же тему.

— Простой человек не мог бы так-то забрать все в руки. Не то что государевы дела ведали, а и сам государь и пить, и есть должен был, как они изволят. Чародейством да колдовством только и добились своего.

Царь очнулся от тяжелых дум и мрачно проговорил:

— Суд и на чародеев есть!

— Суд! — воскликнул один из присутствующих. — Да они одним взглядом околдовать могут человека. Ты вот их судить станешь, а они тебя околдуют змеиными взглядами да чарами, и станешь делать то, чего они требуют...

— Таких-то и к ответу призывать нечего, — слышался совет. — Вина их налицо. Не хуже прежних бояр дела делали.

Со всех сторон слышались обвинения, благо удрученный горем и жаждавший мести царь не возражал. Провинностей за Сильвестром и Адашевым было много. Связали они царя по рукам и ногам. Пить и есть приказывали в меру. Давали советы, как царь с женой должен жить. Не допускали излишнего веселья, называя его распутством. За князя Владимира Андреевича стояли против царевича Димитрия. Перебежчиков миловали и в великом береженьи держали. Не хотели креста целовать царевичу Димитрию.

— Видеть их не хочу! — крикнул внезапно царь, ударив по столу кулаком.

— Погоди, государь, вернутся еще, если не

осудят их, — раздалися голоса.

— Ну, и осудить! — решил царь. Этого только и ждали.

Наряжен был заочный суд над Сильвестром и Адашевым. Оправдываться обвиняемых не допускали, так как их обвиняли в колдовстве и продолжали утверждать, что они одними взглядами могут снова подчинить своей воле царя. Сильвестра сослали в Соловецкий монастырь, Адашева в Дерпт, где он вскоре и умер. Один из видных членов Адашевской партии, князь Андрей Курбский, бежал в Литву. В Москве начались оргии и казни. Несмотря на печаль царя, бояре и духовные особы тотчас посоветовали ему:

— Ты, государь, молод, жену тебе нужно искать! Мертвой слезами не воскресишь, а свое здоровье потеряешь.

Царь согласился, и уже на восьмой день после смерти Анастасии вопрос об отыскании невесты был решен. Слезы разом прекратились, начались попойки. Теперь некому было обуздывать разнузданные страсти царя. Напротив того, приближенные его делали все возможное, чтобы спойть его и завлечь в раз-

врат. Они надеялись, что это облегчит им возможность обдѣлывать свои темные дела. Вместе с пирами пошли и казни. Царь казнил всех, кто казался ему близким к его прежним опекунам, как он называл думных бояр, и старался затопить свое горе в разгуле среди новых любимцев, боярина Алексея Басманова и его сына, красавца Феодора, князя Афанасия Вяземского, Василия Грязного, Малюты Скуратова-Бельского.

Среди шумных оргий несчастным царем проливалась нередко кровь неповинных ни в чем людей.

Однажды царь Иван Васильевич, окруженный своими новыми любимцами, шел в церковь. Когда он вышел на Красное крыльцо, перед ним предстал какой-то человек в дорожном наряде, по виду челядинец. Он, сняв с головы колпак, сделав земной поклон, протянул к царю руку со свитком и промолвил:

От господина моего, твоего изменника, государь, от князя Андрея Курбского.

Это был единственный бежавший с князем Курбским слуга Василий Шибанов. Царь изменился в лице, гневно взглянул на по-

сланца и с яростью ударил его в ногу остроконечным железным посохом. Кровь брызнула из ноги несчастного и темной струей потекла по каменному помосту. Шибанов не изменился даже в лице и молчал. Царь налег на посох и приказал читать письмо изменника-князя.

«Царю, от Бога препрославленному, паче же в православии пресветлу явившуся, ныне же, грех ради наших, сопротив сим обретшемся, — писал князь. — Разумевай да разумеет, совесть пракоженну имущий, якова же ни в безбожных языцех обретается! И больше сего о сем всех по ряду глаголати и не попустих моему языку: гонение же ради прегорчайшаго от державы твоя, от многия горести сердца потшуся мало изреци ти. Почто царю! Сильных в Израили побил если? И воевод от Бога данных ти, различным смертям предал еси? «И победоносную кровь их во церквах Божиих, во владыческих торжествах пролиял еси? И мученическими кровями праги церковные обагрил еси?»...

Чем далее читалось это послание, тем сильнее становилась ярость царя, никогда не слышавшего такого резкого языка, таких горь-

ких упреков, какие были здесь. Укрывшийся в Литву князь мог безнаказанно говорить царю все, что думал. Ответчиком за него являлся только его верный и покорный холоп, а не он сам. Как только кончилось чтение этого длинного послания, царь вытащил жезл из ноги Шибанова и приказал пытаться этого мученика-раба. Шибанов ничего не сказал про своего господина, кроме похвал ему. Не добившись ничего истязаниями княжеского холопа, царь написал в ответ князю Курбскому длинное и витиеватое письмо, где излилась вся его злоба на бояр, опекавших и утеснявших его. Рядом с жалобами на свою долю шли ругательства на князя и его единомышленников. «Иуда», «собака», «аспид» и тому подобные выражения так и сыпались в этом письме. Все, что осаждалось в душе царя много лет, вылилось теперь наружу. Но, может быть, самым горьким и самым метким упреком в письме царя было то место, где царь упрекнул князя за его измену, указав ему на пример его собственного слуги Шибанова, посланного заведомо, на мученическую смерть и оставшегося верным своему господину-пре-

дателю.

Зверства в Москве усилились еще более после этого. Иногда казнили почти ни за что и глумились над жертвами. Раз в Столовой палате государя шел пир. В числе других был призван на пир князь Михаил Репнин. В половине пира общество было уже пьяно, все понадевали маски и начали петь и плясать. Царь тоже плясал в маске среди своих собутельников и шутов. Ничего подобного не делывалось в старые годы. Князь Репнин не вытерпел этого самоунижения государя и со слезами на глазах сказал ему:

— Недостойно христианского государя такое дело! Царь, ничего уже не понимая, засмеялся пьяным смехом и стал принуждать князя Репнина:

— Веселись и играй с нами!

Он взял маску и, едва стоя на ногах, стал силою надевать ее на князя. Тот вышел из себя от этого оскорбления, схватил маску, бросил на пол и в негодовании растоптал ее ногами.

— Не мне творить это безумие и бесчестие! — воскликнул Репнин. — Не мужу совета

государева!

— Как ты смеешь слушаться? — кричал царь Иван Васильевич. — Что я велю, то и делай!

Он обратился к своим приближенным:

— Гоните мятежника в шею!

На князя набросились и вытолкали его вон из Столовой палаты.

Царь был в ярости и решился наказать ослушника.

Дня через два князь Репнин отправился в церковь ко всенощной. Он вошел в храм, прошел к алтарю и стал молиться. Началось чтение Евангелия. Вдруг в церковь ворвались какие-то вооруженные люди и при всем народе набросились на князя и убили его на месте. Это были посланцы царя Ивана Васильевича. Всех присутствующих охватил ужас, до того необычайно было это явление.

В это время князь Дмитрий Овчина-Оболенский, племянник покойного любимца княгини Елены, сильно поссорился с любимцем царя, Феодором Басмановым. Слово за слово ссора перешла, как обыкновенно бывало в то время, в простую грубую перебранку и

всякие попреки.

— Ты служишь царю гнусным делом содомским, — сказал он и тут же похвалился своей родовитостью: — а я, происходя из знатного рода, как и предки мои, служу государю на славу и пользу отечеству.

Басманов, как мальчуган, разревелся и побежал в слезах в опочивальню царя. Царь встревожился, увидав плачущего любимца.

— Что? Кто посмел обидеть? — стал он допрашивать плачущего.

— Князь Овчина... Митька... — сквозь слезы пожаловался Басманов. — Попрекать вздумал... при всех поносил...

— Да перестань же, — уговаривал его ласково царь. — Ну, полно! Говори толком, чем обидели.

Басманов рассказал все. Царь Иван Васильевич утешал его, говоря с угрозой о князе Овчине:

— Плюнь ты на него, Федя, плюнь! Мы ему еще отплатим за это! Увидит, как кто нам служит!

Однако вместо изъявления опалы князя Димитрия Овчину-Оболенского милостиво

пригласили к царскому столу.

Царь, после многих выпитых чаш, приказал подать ему большую чашу вина и сказал:

— Осушай, князь, одним духом! За мое государево здоровье!

Князь не мог выпить и половины, поперхнулся и закашлялся.

— Не могу, государь, — с пьяной улыбкой пробормотал он и стал отирать выступившие на глаза слезы. — Подавился совсем...

— Так вот как ты государю здоровья желаешь! — с усмешкой воскликнул царь и шуточно прибавил: — Не захотел пить здесь, так иди же в погреб, там вина много разного. Напьемся там за мое здоровье!

Князь поклонился, едва стоя на ногах. Его повели со смехом в погреб.

— То-то, князь, напьется вволю, — говорили ему. — В государевых погребах всяких заморских вин много.

Князь улыбался улыбкой пьяного человека. Однако едва он переступил порог погреба, как его повалили на пол и стали душить.

На следующий день царь послал в дом князя Овчины-Оболенского пригласить его к

себе.

— Да князь еще вчор ушел к государю, — отвечала княгиня. — Домой еще не возвращался.

— Да как же государю-то отвечать мы будем? — говорили посланцы царя, едва сдерживая смех.

— Я уж и ума не приложу, где запропал князь, — говорила тревожно княгиня.

— Экая беда! — рассуждали царские советники, удаляясь из дома князя Овчины.

Царю принесли ответ княгини, и он заливался смехом с Басмановым над сыгранной им шуткою.

Казням, казалось, не предвиделось теперь и конца.

Донеслись слухи обо всем этом и до Соловецкой обители, приходившей теперь в частные сношения и с Новгородом, и с Москвою. Тяжело отозвалось в сердцах Филиппа, Ионы и Сильвестра каждое новое известие о том, что делается в Москве.

Эти три человека близко сошлись между собою. Их образ мыслей, их взгляды на вещи, их жизнь, все способствовало их сближению.

— Что же дальше-то будет? — каждый раз, получив новые известия, спрашивали они. — И ума не приложить!

Иногда, горюя о новых порядках и глубоко скорбя о несчастном царе, Сильвестр высказывал свои взгляды на общественные дела, выяснял, к чему он стремился и что завещал русским людям. Говорил он со свойственной ему простотой и поразительной ясностью.

— Не хотят люди понять, что все мы братья, — толковал он. — Как свою душу следует любить, так следует слуг своих да всяких бедных кормить. Должны хозяин и хозяйка всегда наблюдать, расспрашивать слуг и подчиненных об их нуждах, еде и питье, об одежде и всякой потребе, скудости и недостатке, обиде и болезни. О них пеклись, как о родных, следует...

Филипп, слушая эти слова, с умилением вспоминал свою светлую юность, страстное увлечение проповедями митрополита Даниила. Но у Сильвестра взгляды были человечнее, шире, яснее, и притом здесь уже не было противоречия между словом и делом. Это был человек цельный и не столько книжник,

сколько практик. Его радовало особенно сильно осуществление известных его идей и на практике. Он с искренним наслаждением рассказывал:

— Я не только своих рабов освободил и наделил, но и чужих выкупал из рабства да на свободу отпускал. Все наши рабы свободны и живут добрыми домами, а домочадцы наши свободные живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирых и убогих мужеского и женского пола и рабов и в Новгороде, и в Москве я вскормил и вспоил до совершенного возраста. Выучил тоже, кто к чему был способен, грамоте, писать, петь, иконы писать, рукоделию книжному, торговле. Жена тоже учила девиц домашнему хозяйству да работам женским. И Бог благословил увидеть всех тех людей в достатке, хорошими работниками.

Этот истинный христианин мог служить образцом для каждого человека и сильно опередил свой век, не будучи ни аскетом, ни приверженцем монашества. Он был сам женат и проповедовал брак, прибавлял при этом, что каждый муж должен быть безусловно верен

своей жене, также как и жена должна знать только мужа.

Излагая Филиппу и Ионе свои человеческие взгляды на частную и государственную жизнь, Сильвестр часто сокрушался, что теперь в государстве все пошло иначе, чем при нем и при Адашеве. В то же время он жалел, что царство находится не в руках князя Владимира Андреевича. Каждая новость из Москвы поражала горем этих трех выдающихся представителей всего хорошего в тогдашнем обществе. Особенно тяжело было Филиппу. На душе и без этих новостей теперь было особенно не сладко.

Друг и любимый наставник Филиппа духовник Соловецкой обители Иона отходил тихо в вечность. Его предсмертные часы походили на его жизнь: они были тихи и невозмутимы; он не выражал нетерпения при виде, как медленно тянутся они, и в тоже время не тревожился мыслью, что вот-вот угаснет его жизнь. Нароботавшись за день над устройством обители, над постройкой храма, Филипп, утомленный работой, но бодрый духом, проводил ночь у одра умирающего. Здесь в

небольшой келий при мягком свете лампы много передумывал невеселых дум настоятель монастыря. Старец Иона, с любовью глядя на своего любимца, спокойно и ровно говорил о своей близкой кончине.

— Да, блажен тот, кто может тихо и мирно перейти в вечность, — с вздохом замечал Филипп.

— Еще счастливее тот, друже, кто пострадает за правое дело и примет венец мученичества, — пророческим голосом отвечал старец.

Филипп тяжело вздыхал и задумывался о будущем.

— Окончить бы дело, храм бы достроить, тогда и я умер бы спокойно, — раздумывал он.

— Будущее, друже, знает один Господь Бог, — замечал старик. — Не унывай только и будь тверд, что бы ни ждало тебя. Здесь все мимотечно: и радость, и горе, и утехи, и страдания. Кто понял это, того ничто не смутит — не опьянит счастье, не пригнетет страдание.

Умиравший забывался тихим сном, а Филипп продолжал бодрствовать около его ло-

жа, прислушиваясь к слабому дыханию больного. Крутом все спало, все затихало, и только плакали вечно бодрствующие чайки да где-то далеко шумело вечно немолчное море своим безрадостным шумом...

Как давно было то время, когда юного Федора Колычева смутила первая попытка великого князя нарушить церковные предания и когда он горевал о доле насильно постриженной великой княгини Соломонии! Теперь игумен Филипп не успевал возмущаться известиями о разных святотатствах, вроде убийства князя Репнина в храме, и оплакивать павших под мечами убийц и палачей. Чего же смотрят духовные отцы?

Горькие думы об этом отгоняли сон от глаз Филиппа, и он бывал рад, когда мог забываться от них среди дневных хлопот и работ. В одну из таких ночей старец Иона уснул навсегда, вздохнув в последний раз сладким вздохом, как вздыхают утомленные люди, погружаясь в желанный сон. Несколько минут просидел над ним Филипп в глубоких думах, всматриваясь в черты лица святого подвижника...

Тяжелая была для Филиппа эта утрата. С горькими слезами опускал он в могилу прах любимого человека и велел приготовить рядом с его могилою еще одну могилу — для себя...

ГЛАВА VI

Среди разгула, пьянства, внезапных казней си опал царь Иван Васильевич неожиданно стал созывать со всех концов русской земли поименно дворян и боярских детей в Москву. Для чего было сделано это распоряжение, этого не знал никто. Все видели только, что царь ходит особенно хмурым, точно грозовая туча, и трепетали, сознавая, что замышляется что-то недоброе, что-то небывалое. Теперь Москва была давно уже не похожа на Москву времен великого князя Василия Ивановича: тогда она относилась довольно безучастно ко всему, что делалось во дворце, и жила довольно спокойно; теперь, напротив того, она горячо принимала к сердцу все, что совершалось там: жизнь улицы, площади, базара сделалась шумнее, появилась буйная чернь, уже не раз видевшая уличные свалки или участвовав-

шая в мятежах бояр, принимавшая участие в таких делах, как убийство князя Глинского и грабеж его семьи. Сам царь, чего не делалось при прежних великих князьях, не раз всенародно жаловался на притеснения, претерпенные им от бояр, и как бы призывал всех к отмщению за него. Выставляя себя жертвой вошло у него в привычку, и он делал это при каждом удобном случае в частных разговорах, в публичных речах, в письмах к князю Курбскому, к королеве английской Елизавете. Мало того: частые казни бояр и служилых людей, совершавшиеся на площадях и на улицах Москвы, развили кровожадные инстинкты в черни и заставили ее если не полюбить подобные зрелища, то горячо интересоваться ими, сбегаться каждый раз массами, когда кого-нибудь выводили на лобное место.

Высматривая и выспрашивая, что задумал теперь царь, Москва, наконец, начала наполняться более или менее определенными слухами.

— В путь собирается! — рассказывали знающие люди.

— Да с чего ж в экое время собрался госу-

дарь? Дороги, поди, еще не установились, морозов крепких не было, — соображали другие. — И реки, почитай, что нигде не замерзли. Куда в такую распутицу ехать?

— Да куда едет-то, на богомолье, что ли? — допытывались третьи.

На этот вопрос никто не мог ответить.

А слухи начинали делаться более тревожными.

— Сказывают, созвал государь духовенство да бояр и объявил, что не желают его многие на царстве и против него злоумышляют, — рассказывали уличные вестовщики, — а потому и восхотел он оставить прародительский престол и земле государство оставит.

— И жезл, и корону, и одежды царские отдал, — добавлялись подробности.

— Иконы из церквей к нему свозили, прикладывался к ним да благословение от попов принимал, а сам все по монастырям ездит, прощается, значит, со святынями, — со вздохом говорили рассказчики.

— Да едет-то куда? — допрашивали снова любопытные.

На этот вопрос все еще на находилось от-

вета.

Настало 3 декабря 1564 года. Рано утром начало наезжать в Кремль великое множество саней и крытых возков. Все они, и сани, и каптаны, направились ко дворцу. Здесь шла оживленная деятельность. Царские слуги таскали из дворца и укладывали в сани и в возки всякие драгоценности в кованых сундуках и в разнокалиберных ящиках. Иконы и кресты, украшенные золотом и драгоценными камнями, золотые и серебряные сосуды. Груды нарядных одеяний, вся государева казна и деньги брались теперь царем в путешествие. Сюда же прибывали целые семьи людей всяких званий. Одни прибыли с женами и детьми, другие только с конями и слугами. Все были укутаны по-дорожному, у всех был захвачен весь домашний скарб. В толпе сбежавшегося глазеть на невиданное зрелище народа уже объясняли:

— И повелел государь боярам, ближним и приказным людям взять с собою жен и детей. А это вон выборные дворяне и дети боярские; им повелел ехать с слугами, конями и служебным порядком. Сам поименно всех вы-

брал.

— Да куда едет-то? — добивались по-прежнему любопытные.

— Господь ведает, — безнадежно отвечали растерянные москвичи.

Наконец, все было уложено, готово к отъезду. Вышел царь со всей семьей, со второю своею женою Марией, из татарского рода князей Черкасских, и с детьми, провожаемый духовенством и боярами, ни на кого не глядя, опустив глаза в землю, мрачный, суровый. Невесело смотрели и окружающие, недоумевавшие, что совершается перед ними. Покидающий государство царь не только не делал никаких распоряжений, но даже не сказал, куда он намерен уехать. Все избранные царем люди уселись в повозки, и длинный поезд саней, каптанов и верховых всадников тронулся в путь. На площади остался народ и стоявшие у крыльца бояре и духовенство. Все смотрели растерянно и в недоумении, провожая глазами поезд, двинувшийся из Кремля по направлению к Ярославской дороге. Начинал падать мокрыми хлопьями снег; сгустившиеся в воздухе черные тучи, клубившиеся низко

над землю, не обещали ничего хорошего...

С каждым часом погода становилась все хуже и хуже. Теплый ветер, мокрый снег, оттепель, все это превратило мягкие дороги в сплошную грязь, глубокую, невылазную. Царский поезд, минуя дремучие леса, тянувшиеся за Москвой, едва дотащился до села Коломенского и дальше не мог уже двинуться. Распутица была страшная.

— В селе Коломенском государь остановился, — заговорили в Москве. — К празднику Николая Угодника, значит, хотел попасть на богомолье.

— Да людей-то зачем столько набрал и тоже казну всю увез, и образа, и все такое? Нет, на богомолье так никогда не ездил царь.

Но вот прошел и праздник Николая Чудотворца, а царь все оставался в Коломенском. Недели через две стало подмораживать, грязь замерзла, а белый снег прикрыл ее густой, ярко блестящей на солнце пеленой. Стал лед на реках.

Разнесся слух, что царь двинулся в село Тайнинское, а из Тайнинского к Троице-Сергию, а от Троицы-Сергия в Александрову сло-

боду. Среди множества своих подмосковных сел государь особенно любил слободу Александрову, хотя она и не отличалась особенно красивым местоположением, раскинувшись на двух пригорках, разделенных рекой Серой.

Настало Рождество.

Москва была в унынии и тревоге. Смиренный и бесхарактерный митрополит Афанасий, вступивший на место скончавшегося блестящего умом и даром слова Макария, честолюбивый и злой новгородский архиепископ Пимен, ростовский архиепископ Никанор, бояре, окольниковые и приказные, все одинаково растерялись и не знали, что делать, как быть.

Ровно через месяц после отъезда царя 3 января в Москву прибыл гонец из слободы Александровой Константин Поливанов и привез две царские грамоты. Одна из них была на имя митрополита, в другой царь обращался к гостям, купцам — всему московскому народу. В первой говорилось, что царь положил свой гнев на богомольцев своих, архиепископов, епископов и все духовенство, на бояр, окольниковых, дворецкого, казначея, конюшего, дья-

ков, детей боярских и приказных людей. По своему обыкновению он припоминал все старое, все злоупотребления, хищения и убытки, причиненные государству во время его малолетства и сиротства. Как всегда, он жаловался, что бояре присваивали себе, своим родным и ближним земли его и его родных, собрали великие богатства, не радеют о государстве, притесняют христиан и бегут от службы. Припомнил он и то, что они заступаются за виновных, когда он хочет кого-нибудь наказать, и стоят стеной друг за друга против него. Следствием всего этого было то, что он, от великой жалости не хочет более терпеть их изменных дел и поехал поселиться там, где его Господь Бог наставит. Во второй грамоте говорилось, чтобы московские люди, гости, купцы и народ, не сомневались нимало, так как на них нет от царя ни гнева, ни опалы.

Небывалый переполох произошел в Москве, когда эти грамоты прочитались боярами и народу. Сразу по указанию царя обозначались два разряда людей: изменники и верные слуги. Первыми были духовенство, бояре, приказные, служилые люди; вторыми яв-

лялись гости, купцы, народ, чернь. Вопли и крики, стоны и слезы обезумевшей толпы слышались всюду, и никто покуда не знал, что делать. Изменники боялись поголовного избиения; толпа еще не решилась произвести повальный мятеж.

— Государь нас оставил, погибаем мы, грешные! — кричали на площади малодушные. — Кто будет нам на войне заступником? Как останутся овцы без пастыря? Увидавши овец без пастыря, расхитят их волки!

— Увы, горе нам! — согрешили мы перед Богом, — продолжали вопить на улицах, — прогневили государя своего многими согрешениями и милость его великую превратили на гнев и на ярость!

— Пусть государь не оставляет государства, не отдает его на расхищение волкам, избавит нас от руки сильных людей, — с угрозой кричали в народе. — Пусть казнит своих лиходеев! В животе и смерти волен Бог и государь!

Бояре, служилые люди, и духовенство приступили к митрополиту с резкими требованиями:

— Поезжай к государю! Мы все своими головами едем за тобою бить челом государю и плакаться!

А среди черни уже раздавались дикие крики:

— Пусть укажет государь на своих изменников и лиходеев, мы сами их перебьем!

— Только клич кликни, государь, ни одного лиходея не останется!

Сооравшиеся в митрополитовых палатах духовные лица, бояре и служилые люди начали толковать о том, что небезопасно оставить Москву без митрополита, когда все главные представители власти удалятся из нее.

— Неровен час, пограбят и жен, и детей наших перебьют, — рассуждали бояре.

— И так уж на улицах грозятся, а уедет владыко — тогда и удержу не будет.

Решили ехать без Афанасия.

Не заезжая даже в свои дома, все они тронулись в путь. Тут были и новгородский архиепископ Пимен, и ростовский Никандр, и суздальский Елєвєерий, и рязанский Филофей, и архимандриты троицкий, спасский, андрониковский; за духовенством следовали князья

Иван Дмитриевич Вельский и Иван Федорович Мстиславский, бояре, окольничие, дворяне и приказные; среди людей, достойных полного уважения, были и такие личности, как царский наушник и собутыльник, глубоко безнравственный чудовский архимандрит Левкий. Вся эта толпа, малодушная, перепуганная, принизившаяся, ехала ударить челом государю и плакаться.

Не доезжая слободы Александровой, в деревне Слотине депутация была остановлена стражей. В слободу уже было приказано не допускать никого без доклада царю. К государю поскакал гонец с докладом о прибытии духовенства и бояр. Из слободы прибыли приставы с вооруженными людьми, и депутацию, как военнопленных, окружила стража, чтобы проводить прибывших в слободу.

5 января они предстали пред царем Иваном Васильевичем, окруженным своею многочисленною свитою, и пали пред ними на колени. Прежде чем он заговорил, их уже охватил ужас при одном его виде. Он был неузнаваем. Прекрасные его волосы на голове, на бороде и над верхней губой вылезли по-

что совсем, недавно еще живые и пронизательные серые глаза померкли и смотрели исподлобья, его римский нос с горбиной обострился и походил на клюв хищной птицы, лоб избороздили складки, все лицо выражало дикую ярость. Все существо этого несчастного человека, казалось, говорило, что от него теперь нечего ждать пощады. Затяжная им самим страшная и опасная игра возбуждения народных страстей и месяц оргий не прошли для него, как видно, даром. Трусливый по натуре, не раз прятавшийся от бояр, под влиянием страха подпавший и под власть Сильвестра, жаловавшийся, что его силой тащили и под Казань, он пережил в этот месяц невыразимые муки, поставив со смелостью отчаяния на карту ребром свое падение или свое безусловное торжество. Теперь, смотря на прибывшее посольство, он уже понимал, что победа осталась за ним, что крамольная боярская Москва не поднимет головы, не скажет ни слова ему навстречу, чтобы он ни сделал.

Московское посольство заговорило приниженно и льстиво, восхваляя его заслуги, его

мудрость, его правление. «Победитель неверных», «распространитель государства», «единственный правоверный государь», все эти названия расточались перед ним, и люди молили его об этом: дозволить видеть его царские очи.

— Коли ты, государь, — говорили представители Москвы, — не желаешь помыслить ни о чем временном и преходящем, ни о твоей великой земле и градах ее, ни о бесчисленном множестве народа, покорного тебе, то помысли о святых чудотворных иконах и вере христианской, которая с отшествием твоим от царства, если не придет во конечное разорение и истребление, то осквернится еретиками. Коли же тебя, государь, смущают измена и беспорядки в нашей земле, о которых мы не ведаем, то твоя воля будет и миловать, и казнить виновных, все исправляя мудрыми твоими законами и уставами.

Царь заговорил, по обыкновению многоречиво и сбивчиво, с бесконечными цитатами из священного писания и примерами из истории, опять напоминая о боярском самовластии в дни его малолетства, указывал, что бо-

яре были искони врагами государей и виновниками междоусобий, что они хотели извести супругу его и детей его. Все, что он писал в ответ сделавшемуся ему ненавистным князю Андрею Курбскому, сказалось в этой речи. Заклучая ее, царь прибавил:

— Только для отца моего, митрополита Афанасия, да для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов, я соглашаюсь паки взять свои государства, а чего требую — после узнаете.

Посольство было отпущено, и, спустя некоторое время, царь призвал снова всех. Опять говорил он о кознях бояр, о своем горьком сиротстве в детстве, об умыслах бояр против Анастасии и сыновей его.

— Того ради мы и из Москвы удалились и выбрали себе иное жилище и опричных людей и советников.

Жезл правления он согласился принять, но не иначе, как разделив государство на две части: на земщину и опричнину...

Отпуская посланцев Москвы, он сказал, что скоро сам вернется в Москву.

В Москве ждали этого возвращения со

страхом и трепетом, не зная еще вполне ясно, что задумал сделать царь. Как он разделит государство? Ничего такого никогда не бывало. Выяснилось все только второго февраля, когда государь прибыл в кремлевский дворец.

Перемена в его лице, выражение помешательства в глазах, в беспокойных движениях, в злобных речах, все пугало окружающих. Предложенные им меры были странны: Русь делилась на земщину и опричнину; земщиной управляли бояре и служилые люди, носившие прежние звания; опричнина составляла телохранителей царя и исполнителей его воли; некоторые города очислились от земщины и принадлежали собственно царю и его детям, содержа опричнину; за подъем государя ему отсчитывалось сто тысяч рублей; жить он будет не в Москве, Ю в Александровской слободе. Все это было не так еще важно, как страшно было последнее и самое главное условие: он принимал власть с тем, чтобы ему вольно было класть опалы на своих изменников и непослушников, казнить смертью и отбирать на себя их имущество и чтобы духовные особы вперед ему не надо-

едали челобитием о помиловании опальных. Он требовал не только полного произвола для себя, но и отнимал у святителей великое и святое их право печаловаться.

Несмотря ни на что, духовенство, бояре, служилые люди, купцы, народ, все люди московские безмолвно приняли условие царя, изменявшего, по-видимому, разом весь строй русской земли.

Над Соловками настала новая весна, уплыли далеко в океан ледяные глыбы, стали кружиться в воздухе тысячи чаек, залепляя, где можно, места своими гнездами, и около жилых новых монашеских домов, и около высокого тына, окружавшего теперь монастырь, начался знакомый инокам крик этих птиц, похожий на плач, не смолкающий и в солнечные весенние дни, и в белые весенние ночи. Показались на море и иные белокрылые чайки — суда с распущенными парусами, подвозящие из дальних краев и жизненные припасы, и богомольцев к святой обители. Число приезжих богомольцев в процветавшей теперь обители было уже велико, приезжали они и из Новгорода, и из Москвы, а то и из бо-

лее далеких городов. Около некоторых из них между молитвою и работой собирались группы монахов в часы отдыха, расспрашивая о том, что делается в миру, о знакомых, о родных, оставленных там, за пределами Студеного моря. В одной из таких групп, окруживших в теплый весенний вечер одного прибывшего из Москвы богомольца, шли оживленные расспросы о новом для всех явлении.

— Да что ж эта такая за опричнина? — допытывались монахи, продолжая начатый разговор.

Богомолец, сидя на камне, на берегу, рассказывал:

— Стража царева, братия, стража! Песьи головы у них около конских седел и метлы. Значит, ровно псы, должны они за государя стоять и измену выметать метлами.

— Чудно что-то, — заметил кто-то из монахов.

— Сказок тоже много рассказывают, — проговорил другой монах.

— Не сказки, божий ты человек, не сказки, — ответил богомолец, — все тебе то же скажут.

Он вздохнул и обратился снова к группе монахов.

— Шесть тысяч душ их, и все в слободе Александровой около царя живут, — продолжал он говорить. — Ни въезду, ни выезду туда нет без их пропуска. Клятву берет государь с них, чтобы обо всем доносить государю, а с земскими людьми не дружить, не пить и не есть с ними. От отца и матери, от жен и детей отрекаются, клятву-то давая государю. Зато кого хотят они, того и грабят, и Именья себе отбирают, и по миру разоренных пускают. Тысячи душ ходят теперь без крова и пристанища. Из земских все. Всех-то опричников душ будет с шесть тысяч, а при самом государе триста душ. Понашивал им государь черные рясы, по сверх золотых кафтанов их носят, да тафьи [36] черные же у них.

— Ну, а уж это-то сказки ты рассказываешь! — перебил его недоверявший ему монах. — Рясу-то без пострижения нельзя надеть.

— Воля государева на все, — со вздохом проговорил рассказчик. — Не я один это видел, вся Москва это знает. И сам государь сре-

ди их игуменом зовется, а князь Вяземский келарем, а Малюта Скуратов пономарем служит. За трапезу садятся — царь им жития святых читает...

Он вздохнул.

— Ох, молятся, а пьянство великое идет у них, и блуд всякий, и непотребства разные, женам и девицам бесчестие и растление. А уж крови, крови что льется, так и не перескажешь всего.

Все помолчали, охваченные тяжелым чувством. Одни с сомнением качали головами, другие, видимо, поверили богомольцу. Не стал бы он врать ничего такого, если бы не знал. Странник начал снова:

— Как объявил царь про опричнину, так через день и казнить начал. Первым сказнил воеводу князя Александра Борисовича Горбатового-Шуйского да сына его Петра. В юношеских годах князь-то Петр был. Семнадцать годков минуло только. Так и шел рука в руку с отцом он на лобное место, да не захотел он видеть казни отца своего, склонил голову на плаху, а отец взял его, отвел, да и говорит: «Да не узрю тебя мертвым». Сам лег. Первым, зна-

чит, хотел умереть. Известно, отец. Нелегко было сына-юношу мертвым видеть. Отрубили ему голову. Взял ее князь молодой, лобызать стал, на небо глянул, не стало и его тоже... Много князей и бояр в тот день полегло, и князь Сухой-Кашин, и князь Горенский, и Головин, и Хозрин. А князя Димитрия Шеварева на кол в те поры посадили, до ночи вплоть пел канон Иисусу...

Монахи набожно перекрестились. Некоторое время длилось молчание. Наконец кто-то спросил:

— А что же владыко разве не печалуется?

— Запрет на владык положен, чтоб не печаловались, — ответил богомолец. — Да владыко наш Афанасий и стар, и болезнями удручен. Где ему против воли государевой идти?

Зазвонили к вечерней службе, и собеседники поднялись со своих мест, крестясь и направляясь в церковь.

Рассказ богомольца возбудил толки среди братии, а тут прибыли и еще, и еще богомольцы и принесли запас новых известий, еще более безрадостных. Не верить им было уже невозможно, хотя все их рассказы походили

на страшный сон. Братии казалось, что мир, покинутый ею, тонул теперь в крови и погрязал в безбожии. Богомольцы и странники соглашались, что теперь тот и счастлив, кто укрылся куда-нибудь в глухую обитель, хотя и там было не всегда безопасно: царь и оттуда вытаскивал на казнь своих врагов и изменников.

Ходили эти толки и слухи по всему монастырю, доходили отрывки их и до игумена, и до Сильвестра. Но Филипп тотчас же прекращал эти суетные разговоры. В душе же у него была горечь невыносимая. Он знал лучше, чем кто-либо из монахов, все то, что делалось в Москве. Родные и знакомые извещали его тайком о московских делах, один из его близких, двоюродный его брат Василий Иванович Колычев-Умной уже назывался опричным боярином, стоял близко к царю.

Кошунство над верою православною, отнятое у владык право печаловаться, беспутное поведение царя Ивана Васильевича, все это возмущало его строгую, полную великих помыслов душу. Когда-то с горечью смотрел на развод великого князя, как на первое наруше-

ние церковных правил; когда-то он возмущался поведением царедворцев, юношей добродетельных. Но что все это было в сравнении с тем, что делалось теперь? Теперь не церковное постановление приносится в жертву государственным интересам, а происходит глумление над церковью; теперь не окружающие царя оказываются недостойными своего положения, а сам государь роняет сан, свое значение.

— О, блажен тот, кто в такие времена уже лежит в могиле!

ГЛАВА VII

Москва осталась снова без митрополита: старец Афанасий, сменивший на митрополии покойного знаменитого проповедника Макария, стоявшего за товарищей Сильвестра и Адашева, должен был за немощью великою удалиться на свое пострижение, то есть в Чудов монастырь, где он был когда-то пострижен в монахи.

Пришлось искать нового митрополита, и выбор царя остановился на казанском архиепископе Германе, происходившем из знатно-

го рода Полевых, потомков князей смоленских. Это был человек крупного роста и крупного ума, отличавшийся чистотою и святостью жизни, знакомый одинаково хорошо с священным писанием, с учениями Максима Грека и Иосифа Волоколамского, прямой и твердый в своих убеждениях, готовый всегда идти на помощь ближним. Этот основатель Свяжского монастыря тотчас же отказался от предназначенного ему высокого сана, хорошо понимая, что при таком государе, как царь Иван Васильевич, и при таких порядках, какие завелись в государстве со времени создания опричнины, трудно быть митрополитом именно ему. Не будучи никогда резким, он был честным и правдивым человеком и не умел молчать там, где считалось своим долгом говорить, как ни был он мягок и спокоен, — уклончивость не была в его характере и правда была всегда на его устах. Однако его стали упрашивать высшие духовные лица принять звание митрополита, и он волей-неволей, наконец, согласился.

Уже дня два он жил в митрополичьих палатах, ожидая дня посвящения, как вдруг по-

сетил его царь.

Несколько времени они беседовали с глазу на глаз, наконец, царь вышел от будущего владыки московского, мрачный и задумчивый. Давно уже никто не говорил ему ничего такого, что сказал ему в этот день Герман, по своему обыкновению мягко, спокойно, не повышая голоса, но с твердостью глубокого убеждения.

Постоянные царские собеседники — опричники тревожно переглядывались между собою, глядя на безмолвно сидевшего среди них государя и не зная, что случилось с ним. Они прибегнули к обычному способу развлечения — к шутовству и скоморошеству, но на лбу царя не разглаживались глубокие морщины.

— Да, мы вот тут бражничаем, — проговорил, наконец, неожиданно царь с глубоким вздохом, — а что там ждет? Геенна огненная, огонь неугасимый за все мимотечные радости. Всех одинаково призовет Господь на последний страшный суд, и царей, и холопов.

Он стал рассказывать, что говорил ему Герман о загробной жизни, о страшном суде, на

котором цари и черные люди явятся равными перед лицом Всевышнего Судьи и дадут ответ за все содеянное ими на земле.

— Да, надо и о смертном часе подумать! — угрюмо закончил он свой рассказ. — Не ждет смерть-то да не сказывает, когда придет. Как тать подкрадется!

Окружающие испуганно переглядывались между собою, смущенные настроением царя. На минуту воцарилось тяжелое молчание.

— Сильвестром вторым захотел быть! — грубо и резко сказал среди наступившей тишины Малюта Скуратов хриплым от попоек голосом. — О своем бы смертном часе думал. Сегодня жив — завтра умрет!

Царь угрюмо взглянул исподлобья на его широкое лицо, обрамленное рыжими волосами. Что-то недружелюбное скользнуло в этом взгляде. Казалось, царь теперь ненавидел этого страшного приспешника своего в делах казней и насилий. Всем стало на минуту жутко. Казалось, жизнь каждого из них висела в это мгновение на волоске. Одно неосторожное слово могло вызвать бурю. Нрав царя Ивана Васильевича был хорошо известен всем

его окружающим.

— Государь, не создавай себе нового учителя и опекуна! — вдруг раздался молящий, женственный, ласковый голос, и кто-то припал к ногам государя.

Он взглянул на этого молодого красавца не без грустной ласки, а тот уже со слезами целовал его руки и ноги. Это был молодой Басманов. Он, как женщина, во всех затруднительных случаях прибегал к слезам. Царь бес сознательно погладил его по голове. Прояснившееся немного чело царя и вмешательство в дело Басманова придало смелости окружающим, за минуту перед тем испугавшимся грубой выходки Малюты Скуратова.

— Хороши были Адашев и Сильвестр, а митрополит-опекун вдвое лучше будет, — раздались голоса опричников, и несколько человек из них начали умолять царя не отдавать себя опять в руки духовенства и бояр.

— Изведут они тебя, государь, и род твой изведут, слышалось со всех сторон. — Герман заодно с боярами из их гнезда. Еще ничего не видя, запугивает Страшным судом, а потом по рукам и ногам свяжет. Мало разве, что

Алешка Адашев и Сильвестр извели царицу Анастасию?

Теперь все говорили наперебой.

Отец молодого Басманова из подражания сыну вместе с последним валялся у ног царя и целовал его руки, умолял его не слушать Германа.

Царь молчал и задумчиво продолжал гладить по голове своего молодого любимца. Наконец, он как бы очнулся и сказал с мрачной усмешкой:

— Будь по-вашему! Не нужно мне пестунов! Выгнать незванного советника! Еще и на митрополию не возведен, а неволею обязует! Найдется и другой митрополит

Государь поднялся с места и в сопровождении молодого Басманова прошел в свои внутренние покои.

Опричники возликовали, точно гора у них с плеч свалилась. Грозная туча пронеслась и рассеялась.

Среди пьяной оргии только и было толков, что про этот случай.

— Одного Сильвестра да Адашева Алешки довольно! — говорили одни.

— Теперь и другим неповадно будет царя-государя учить, — соображали другие.

Подпивший Малюта Скуратов смеялся над ними:

— Лежать бы вам всем на плахе!

— Да у тебя у первого голова слетела бы с плеч! — говорили ему.

— Так я сам ее и отстоял! — бахвалился он. — А вы без меня и носы повесили!

Царь же раздумывал уже, кого теперь избрать в митрополиты, но этот вопрос уже не имел важности для опричников.

Пример казанского архиепископа, сосланного в Свяжский монастырь за один скромно и осторожно высказанный намек об ответе царя перед Страшным судом, должен был обуздать каждого смельчака и удержать от непрошенных советов. Царь решился, наконец, послать грамоту Филиппу, приглашая его в Москву для духовного совета.

Филипп получил царскую грамоту, созвал братию и объявил о своем немедленном отъезде в Москву. Глубоко поразила она его, так как он знал и о страшном смятении, царствовавшем в Москве, и о перемене в жизни

несчастливого государя. Заботило его и то, что начатый им собор, хотя уже приближавшийся к концу постройкой, все-таки не был еще окончен. Время было дорого, а на проезд в Москву и обратно требовалось немало дней, если даже в Москве и не задержишься долго. И время-то какое пропадало — летнее, то есть как раз самое горячее для постройки, да и вообще для монастырской практической деятельности. В Соловках чего не сделаешь летом, того зимой не наверстаешь. Тем не менее Филипп являлся перед братиею твердым и внешне спокойным, хотя его сердце снедалось жалостью. Братия просто плакали. Он утешал их:

— Чада мои любезные, возложите печаль на Господа, положитесь на представительство Пречистой Богородицы, призовите на помощь преподобных отцов наших Зосиму и Савватия и заботьтесь о душевном спасении, храня предания монастырские. Назавтра в последний раз совершим литургию вкупе...

Утром храм наполнился всеми монахами соловецкими и массою богомольцев и мирян, работавших в монастыре. Филипп сам торже-

ственно служил обедню и приобщался в последний раз вместе со всею братиею. Из храма перешли в смежную с ним трапезную, все уселись по местам. Один из иноков, по обыкновению, стал читать житие святого, которого память праздновалась в этот день. Среди всей этой массы чернецов царствовала обычная глубокая тишина, ничем не выдававшая, что происходило в душе каждого. Всем было невыразимо тяжело. Обитель так сжилась со своим великим подвижником-настоятелем, так полюбила его, что каждый монах как бы сиротел с отъездом этого человека. Он был для всех и советником, и другом, и отцом. Трапеза кончилась, и все длинной процессией тронулись на берег провожать своего настоятеля. На берегу началось прощание. Филипп обнимал и лобызал каждого из братии, чувствуя, как на его руки падают горячие слезы его духовных детей. Он сам не мог удержаться от слез, и они катились по его щекам. Еще несколько тяжелых минут — и он вошел на палубу судна, уже поднимавшего паруса. Он стоял на палубе, и его взор пристыл к этому берегу любимой обители.

— Когда вернусь? Вернусь ли? Что ждет в Москве? Тяжкие теперь времена.

Эти вопросы задавал себе Филипп. Их задавала себе и вся братия. А судно, подгоняемое попутным ветром, уходя все дальше и дальше, точно таяло в синеющем пространстве сливавшегося с небесами моря...

Достигнув берега, Филипп поехал знакомо ему дорогою на Новгород. Не доезжая трех верст до Новгорода, он увидел на дороге многочисленную толпу. Тут были старики и молодые, мужчины и женщины, вынесли даже грудных младенцев на дорогу. Вся эта густая толпа ждала знаменитого своею жизнью соловецкого настоятеля, рассевшись где попало на дороге, на опушке леса. Завидев его, все заволновались, сбились в кучу, стеснились вокруг него и кланялись ему в ноги, ловили и целовали его руки. Он благословлял их, недоумевая, что вызвало их на встречу к нему.

— Отче, — говорили между тем в толпе, — дошли до нас слухи, что царь держит гнев на нас. Будь ходатаем за нас и за город наш перед государем. Заступи свое отечество! Не мало бед вынес Новгород, а теперь, смотри, и со-

всем конец ему придет. На тебя одна надежда! Не дай в обиду!

Филипп, едва сдерживая охватившую его тревогу, успокаивал народ, говоря гражданам, что дело духовных лиц предстоять перед государем за ближних.

— Не попусти нам вконец погибнуть! — кричали голоса. — Ни за что ни про что изведут нас вороги!

Филипп старался обнадежить их, устранить мысль о том, что их могут ни за что ни про что погубить.

Окруженный благоговейной толпой, он двинулся к городу, где его встретили с большою почестью светские власти Новгорода. Все давно привыкли глубоко чтить этого человека, и среди новгородцев он чувствовал себя, как среди своих детей.

Пробыв недолго в Новгороде, он тронулся далее в путь, в Москву.

Царя Ивана Васильевича известили о прибытии соловецкого игумена, и он тотчас же назначил ему прием, приказав встретить его с великой честью. С прежней любовью отнесся государь к Филиппу, опять вспоминал, го-

вора с ним, детство свое счастливое при жизни матери, по-видимому, умиляясь и преображаясь снова. Но Филипп, хорошо знавший людей и прозорливый, уже не видел в нем прежнего царя Ивана Васильевича. Следы пьянства и разгула, сластолюбия и кровожадности наложили страшную печать на это лицо, а полубезумные, бегающие и блуждающие взгляды не обещали ничего хорошего. Злые советники и гнусные потворщики успели окончательно испортить этого человека. У Филиппа сжималось сердце от печали. Он глубоко скорбел об этом загубленном человеке. Сколько надежд подавал он когда-то, какой крупный ум мог бы выйти из него.

Государь пригласил Филиппа к обеду во дворец и, когда все уселись за столы, начал говорить о настроении и неурядицах в государстве. Теперь он жаловался не на одних бояр, окружавших его во время его сиротства, а и на злоумышленников, желавших лишить его престола и чарами успевших околдовать его. Имен Адашева и Сильвестра он старался избегать, хотя и помянул недобрым словом изменника и собаку князя Курбского.

— Да вот и церковь Божия, — продолжал беседу царь, — вдовствует ныне без пастыря. Не стало владыки Макария, митрополит Афанасий за недугом великим отказался от митрополии. А ты сам знаешь, какво церкви без пастыря...

Он зорко взглянул на Филиппа и неожиданно скороговоркой прибавил:

— И решили мы по моей державной воле и по соборному избранию возвести тебя на митрополию.

Филипп вздрогнул. Окружающие пришли в смущение. Никто не ожидал, что простому настоятелю Соловецкого монастыря выпадет такая завидная доля. Более всех был смущен прямой начальник Филиппа новгородский архиепископ Пимен. Его злые глаза зорко глядели на Филиппа и словно хотели уничтожить его.

— Так ли, преподобные отцы и бояре? — обратился царь к присутствовавшему духовенству и боярам.

— Кто же более достоин упрочить престол соборной и апостольской церкви, как не Филипп, — раздались усердные голоса.

Даже владыка новгородский Пимен, подавляя в душе зависть, счел нужным из угождения царю согласиться с ним, что лучшего выбора не может быть.

— Давно я Филиппа знаю, — сказал он резким голосом, — и знаю, какое он попечение прилагал к устройству обители Соловецкой.

Филипп очнулся, точно его разбудил от сна этот исполненный враждебности голос, так противоречивший изрекаемым им похвалам.

— Нет, государь милосердный, — со слезами на глазах проговорил настоятель соловецкий, — не разлучай меня с моею пустынею, не налагай на меня бремени выше сил. Отпусти, Господа ради, отпусти! Не вручай малой ладье бремени великого!

— Я моей воле не изменю, а ты подумай, — милостивым голосом решил государь, понимая, что Филипп отговаривается ради простого смирения, как и приличествовало ему, простому монастырскому настоятелю.

Отпуская ласково Филиппа, он обратился к духовенству и сказал, что теперь их дело уговорить Филиппа принять митрополию.

Оставшись одни с Филиппом, высшие

представители духовной власти стали уговаривать соловецкого настоятеля не идти против воли царя. Они так же, как и царь, понимали, что упрашивание Филиппа принять митрополию было одной формальностью, что инок не мог не радоваться предложенной им чести. Он молча слушал их и, наконец, с неожиданною для них строгостью обратился к ним:

— Как я вступлю на митрополию, — заговорил он, — когда в земле русской нестроение, когда разделена она, когда сам государь губит ее? Пастыри церкви должны быть служителями правды и говорить царям земным истину. Молчать, как вы молчите, я не могу.

Пимен с злой усмешкой насторожил слух и ловил его речи, запоминая каждое слово. В его голове уже забродили мысли, что с такими взглядами Филиппу не сдобровать. Филипп без всяких колебаний стал увещевать духовных особ.

— Не смотрите на бояр, отцы и братия моя, что они безмолствуют, — страстно заговорил он. — Они корыстью житейскою связаны, а нас Господь для того и отрешил от мира, что-

бы им истине послужили, хотя бы и души наши положить за паству пришлось, иначе вы будете истязаемы за истину в день судный...

Духовенство заволновалось. Давно оно отвыкло от смелых речей. Одни пугливо молчали, озираясь кругом, другие зашумели, протестуя.

— Не наше дело в мирское управление мешаться, — сказал резко Пимен, возвышая голос. — Воля государя превыше нас.

— Превыше Бога никого нет, а мы служители Бога! — твердо сказал Филипп. — Молчание наше душу цареву в грехи вводит, вашей душе готовит горшую погибель, а вере православной наносит скорби и смущение.

Прения продолжались долго. Большинство возражало несмело, и только Пимен как бы умышленно возвышал голос. Казалось, он хотел и вызвать своими противоречиями на большую откровенность Филиппа, и отличиться перед кем-то своими взглядами на невмешательство пастырей церкви в дела государя. Филипп настаивал на своем и уже прямо требовал уничтожения опричнины.

— Не могу я вступить на митрополю, — го-

ворил он твердо, — пока государство разделено, не могу быть пастырем над враждующими между собою земщиной и опричниной. Пусть будет едино стадо и над ним один пастырь. А оберегать и овец, и волков в одну и ту же пору никто не может.

Духовенство стало расходиться, не порешив ничем вопросы о назначении Филиппа на митрополию.

На следующий день Филиппу пришлось снова предстать перед царем. Царь был на этот раз мрачен. Он уже знал через таких людей, как архиепископ Пимен, благовещенский протоиерей духовник царя Евстафий и чудовский архимандрит Левкий, наушники царя, что Филипп ставил условием своего вступления на митрополию уничтожение опричнины. Этого не посмел высказать даже и Герман.

— Ну, что же, отче, вступаешь на митрополию? — отрывисто спросил государь, исподлобья глядя на него сердитыми глазами.

— Я повинуюсь воле твоей, — ответил спокойно Филипп. — Но оставь опричнину, иначе мне быть в митрополитах нельзя. Не бого-

угодное твое дело. Сам Господь сказал: наше царство разделится — запустеет. Да не будет опричнины, да будет единое царство; На такое же небогоугодное дело нет и не будет тебе благословения нашего!

Царь едва владел с собою, тем не менее он сказал тихо и смиренно:

— Владыко святой, воссташа на меня мнози, коя же меня поглотить хотят

— Благочестия хранитель, — мягко заговорил Филипп, охваченный чувством сожаления к несчастной жертве всяких злоумышленников, ты, как поборник истины и блюститель православия, как мудрый правитель державы своя, поверь мне, никто не замышляет против державы твоей. В этом я свидетельствуюсь тебе оком всевидящим. Все мы приняли заповедь отцов и правотцев наших любить царя. Показывай нам пример добрыми делами, а грех влечет тебя в геенну огненную наш общий владыко, Христос, повелел любить Бога и любить ближнего, как самого себя: в этом весь закон Прошу тебя: престани от неугодного начинания

Царь Иван Васильевич начинал терять

терпение, видя смелость и непокорность Филиппа, говорившего уже не иносказательным языком Германа, а прямо обличавшего его, царя Ивана Васильевича, за «неугодные начинания». Но Филипп не обращал внимания на то, как отзывались его речи на царе, и без страха продолжал говорить то, что считал необходимым высказать откровенно и прямо.

— Благочестивый государь, — продолжал он, — держися прежнего изволения своего, хотения и разума. Подражай добродетелям отца твоего, великого князя Василия Ивановича, славного благочестием, смирением и любовью. Просветись лучем Божественного света и назидай правой твоей вере даяния благая.

— Не вызывай моего гнева, владыка! — дрожащим голосом крикнул запальчиво царь. — Принимай митрополию!

— Если меня и поставят, то все-таки мне скоро потерять митрополию, — спокойно сказал Филипп. — Пусть не будет опричнины, соедини всю землю воедино, как прежде сего было.

Это свидание должно было кончиться ни-

чем. Противники были одинаково упорны и не делали ни малейшей уступки один другому. Гневный царь торопливо ушел и снова приказал высшему духовенству образумить непокорного настоятеля соловецкого.

Растерянные представители духовной власти не знали, что делать: одни уговаривали Филиппа, другие радовались, что его постигнет участь Германа, третьи уговаривали царя не гневаться на Филиппа. Царь не высказывался, затаил в душе все свои чувства и желал, по-видимому, одного: сломить этот упорный характер и сделать митрополита, чтимого и уважаемого во всей земле, как бы сообщником всех своих дел. Филиппу намекали со всех сторон — одни с искренней верой в свои слова, другие с коварною целью погубить его, что опричнина временное установление, что царь покуда не может уничтожить ее, что у Филиппа остается великое оружие против дел опричнины — право печаловаться.

Ни на минуту не отступаясь от намеченной себе цели — от стремления уничтожить раздвоение государства, Филипп, наконец, согласился принять сан митрополита. С него по-

требовали характерную запись, где он писал:

«Лета 7074 июля 20, понуждал царь и великий князь Иван Васильевич всея России со архиепископы и епископы и с архимандриты и со всем собором благолепного Преображения Господа нашего Иисуса Христа, и великих чудотворцев Зосимы и Савватия Соловецких игумена Филиппа на митрополью. И игумен Филипп о том говорил, чтоб царь и великий князь отставил Опришнину; а не отставит царь и великий князь Опришнины, и ему в митрополитах быти невозможно; а хотя его и поставят в митрополита, и ему затем митрополья отставити; и соединил бы воедино, как прежде было. — И царю великому князю со архиепископы и епископы в том было слово, и архиепископы и епископы царю и великому князю о том били челом о его царском гневу; и царь и великий князь гнев свой отложил, а игумену Филиппу велел молвити свое слово архиепископом и епископом, чтобы игумен Филипп то отложил, а в Опришнину и в царской домовой обиход не вступался, а на митрополью бы ставился; а по поставленьи бы, что царь и великий князь Опришнину не

отставил, и в домовой ему царьский обиход вступаться не велел, и за то бы игумен Филипп митрополю не отставивал, а советы-вал бы с царем И великим князем, как прежние митрополиты советовали с отцем его великим князем Василием, и с дедом его великим князем Иваном. И игумен Филипп по царьскому слову дал свое слово архиепископом и епископом, что он по царьскому слову и по их благословению, на волю дается стати на митрополю, а в Опришнину ему и в царьский домовый обиход не вступатися, а по поставленьи за Опришнину и за царьский домовый обиход митрополю не отставляти. А на утвержденье к сему приговору нареченный на митрополю Соловецкий игумен Филипп, и ерхиепископы и епископы руки свои приложили».

Подписали этот приговор сам Филипп, архиепископы Пимен и Никандр и епископы Симеон, Филофей, Иосиф, Галактион и Иосаф.

За собой Филипп оставил только высокое и священное право печалования, о котором не упоминалось в данной им записи...

ГЛАВА VIII

25 июля с самого раннего утра вся Москва была уже на ногах. Торопились все в Кремль к Успенскому собору. Сюда съезжались все высшие духовные лица, пребывавшие в Москве архиепископ Новгорода и Пскова Пимен, архиепископ ростовский Никандр, епископ суздальский Иоасаф, важнейшие князья и бояре, гости, купцы и простой народ. Все были одеты по-праздничному и смотрели весело. Светлый солнечный летний день придавал особенную живописность пестрой, нарядной движущейся массе народа, которую едва сдерживали расставленные для порядка стражи, охранявшие свободные проходы от митрополичьих палат и от царского дворца к Успенскому собору. Привлекало в Кремль не одно блестящее зрелище эту массу людей; всем хотелось увидеть пользовавшегося громкою известностью соловецкого настоятеля в день его восшествия на митрополию. О нем говорили везде и всюду, и богомольцы, успевшие побывать на Соловках, рассказывали о святой жизни соловецкого

настоятеля, о его видениях и чудесах. В народном сознании его уже окружал ореол святости. Он уже несколько дней жил в митрополичьих палатах после своего избрания на митрополию.

В соборе начался благовест, и этим возвестилось, что избранник двинется в сопровождении святителей в собор. Народ заволновался, всем хотелось видеть великого духовного пастыря. Вот он показался на крыльце митрополичьих палат и, тихо шествуя среди блестящего духовенства, прошел в собор. Его прекрасное лицо с тонкими чертами было спокойно и светло. Народ крестился, провожая его глазами. Тотчас же по приходе в храм нареченный и епископы начали облачаться в светлые ризы. Тогда дали знать государю. Началась другая процессия: государь, окруженный детьми, князьями, боярами, рындами, двинулся из дворца с Красного крыльца в храм среди двух рядов стражников, сдерживавших и здесь народ, как и на пути будущего митрополита. Войдя во храм, царь помолился у образа Богородицы, у мощей святителей Петра и Ионы и прошел на приготовленное

для него место. Заняли свои места и высшие духовные лица. Тогда привели нареченного пред написанным заранее орлом в сопровождении восьми огнеников, из которых четверо шли впереди и четверо позади. Здесь нареченный должен был прочитать исповедание православной веры и все прочее поставление. Затем уже началась служба. Когда раздалось:

— Во-первых, помяни Господи...

И произнеслось имя митрополита, священосец зажег свечу с лампадою, подошел к митрополиту, ударил ему челом и поставил фонарь перед ним за престолом. Его посох во время всей литургии держали архиепископы.

По окончании литургии архиепископы и епископы взяли митрополита под руки и повели на место пред орлом. Грянуло:

— Исполати [37] деспота!

На обоих клиросах запели «преосвященному», и это повторилось трижды.

Тогда, поднявшись с места, митрополит снял с себя сак [38] и все служебные одежды, архиепископы и епископы возложили на него золотую икону воротную, мантию с ис-

точниками и белый клубок. Они взяли его снова под руки и повели на его каменное святительское место.

Тогда встал царь и подошел к нему, произнося:

— Всемогущая и животворящая святая Троица, дарующая нам всея Россия самодержавство Российского царствия, подает тебе сей святой великий престол великого чудотворца Петра архиерейство, митрополию всея России, Российского царства, руковождением и освящением святых отец, архиепископов и епископов нашего самодержавного Российского царствия. И жезл пастырства, отче, воспригаши; и на седалище старейшинства, во имя Господа Иисуса Христа и Пречистыя Матери, на престол великого Чудотворца Петра възыди; и моли Бога и Пречистую Его Матерь и великих Чудотворцев Петра и Алексея, и Иону, и всех святых о нас, и о нашей царице, и о наших детях, и о всем православии, и яже на пользу нам и всему православному христианству душевне и телесне, и подаст ти Господь Бог здравие и долголетствие во ески века, аминь.

Затем государь подал посох митрополиту в правую руку. Грянуло многолетие митрополиту сначала со стороны царевичей, архиепископов, епископов и бояр, затем оно подхватило на обоих клиросах. Лицо Филиппа сияло тихой радостью и благоговением. Опираясь на посох святого Петра, вместо официальной речи, он громко произнес:

— Царю благочестивый! Великих благ сподоблен ты от Бога, но ты должен и воздать Ему с лихвою. Воздай же Благодетелю долг благохваления, памятуя, что и долг он приемлет, как дар, и за возвращенный долг воздает новыми дарами безмерно. Облекись духом кротости, преклони свой слух к нищим, страждущим, и уши Господи будут к молитвам твоим, ибо подобает и нам помиловати клевет своих, если желаем обрести себе помилование у Господа. Многочитый царский ум, как всегда, бодрствующий кормчий, наблюдает пути закона и истины. Отвращайся, о государь, льстивых словес ласкателей: они, как враны хищные; но сии лишь телесные исклевывают очи, а те душевные ослепляют мысли и заслоняют собою свет благодетельной

истины, хвалят хулы достойное, порицают достохвальное. Да не возмогут же укрыться от тебя их коварства и козни. Доброчестие паче всего украшает венцы царей: и богатство отходит, и держава мимо грядет, и слава земная проходит, но слава жизни праведной одна с веками веков продолжает бытие. Отвергай слова человекоугодников; но принимай с любовью совет правдивый. Наказывай льстецов, карай злодеев, смиряй, побеждай врагов оружием, но памятуй, что для царя славнее всех побед те, что приобретает он над сердцами рабов своих любовью безоружною. Еще же, да стоит твердо и непоколебимо святая православная вера, да сокрушатся ереси, да процветает учение святых Апостолов и предание божественных отцов, и тем да соделаешься ты истинным Божиим слугою, о государь царь православный!

Опять раздалось многолетие царю сперва среди царевичей, духовенства и бояр, потом на клиросах...

Церемония возведения митрополита на его престол окончилась, и все присутствующие во храме тронулись торжественно во

дворец к обеденному столу. Блестяща была картина этого шествия царя, царевичей, князей, бояр, митрополита, архиепископов и епископов, медленно двигавшаяся в дорогих одежаниях среди густых масс народа, едва сдерживаемого стражей. Митрополит, шествуя, благословлял на обе стороны народ. После этого был парадный обед во дворце, в Столовой палате. Столы были накрыты на несколько сот человек с обычной пышностью. Кроме обыкновенного изобилия и яств и питья за обедом были выпиты чаши Чудотворца Петра, царя и великого князя и митрополита. После этих чаш начался расход

Новый митрополит принялся за исполнение своих обязанностей. Прежде всего он озаботился назначением архиепископа в недавно открытую, имевшую теперь очень важное значение полоцкую епархию, где умер от морового поветрия первый полоцкий архиепископ Трифон. Его заместил Афанасий, епископ суздальский. В декабре освятил митрополит в присутствии царя и царевичей новый придел в Благовещенском соборе. Во дворе своей митрополии он построил храм во

имя Зосимы и Савватия. С Соловков он получил известие, что начатый им храм достроен и туда перенесены мощи Зосимы и Савватия. Он часто виделся с царем, и царь был по-прежнему благосклонен к нему. Жил царь во время приездов из слободы покуда в старом дворце, причисленном к земщине. Постройка нового опричнин-ского дворца, укрепленного со всех сторон, у Ризполо-женских ворот приходила, однако, в это время уже к окончанию. В Москве царствовала тишина, казни и опалы прекратились на время, и Москва радовалась, толкуя шепотом, что митрополит умили-вил сердце государя. Тем не менее Филипп не был ни счастлив, ни радостен. Деятельность в Москве была недостаточна для него, он чувствовал себя здесь как бы со связанными руками и притом вполне одиноким. Среди высшего духовенства он видел многих недостойных этого звания людей. Родных в Москве у него почти не было. Отец, мать, брат Борис, дядя Иван Умной-Колычев умерли, двоюродный брат Федор Иванович Умной-Колычев находился послом при Сигизмунде; Василий Иванович Умной-Колычев состоял среди

опричных бояр. Из всех Колычевых, может быть, только один племянник, сын Бориса Венедикт, был особенно близок и дорог Филиппу, как кроткий и добрый юноша. Кроме этого одиночества Филипп чувствовал и то, что государь затих только на время, что буря может разразиться не сегодня, так завтра. Тревожные движения, блуждающие глаза, строптивые речи царя Ивана Васильевича ясно говорили, что не усмирилась эта больная душа. Охватываемый невыносимой тоской, Филипп нередко бродил по своим обширным палатам, горько сетуя и повторяя:

— Что случилось с тобою, бедный, бедный Филипп. Ужели начальства над киновиною было мало для тебя? Восхотел большого: посмотри же, на что ты променял свою благословенную долю, от такого спокойствия в какие ты предал себя труды, от такой тишины безмятежной в какую устремился пучину корабль души твоей. Но что прошло, то невозвратно: да будет воля Божия. Вы же, угодники Божий, Савватне и Зосима, не оставьте меня помощью своею, не дайте мне забывать своих обетов!

Он проходил в новопостроенный им храм Зосимы и Савватия и устремлял взор на изображения этих святых, переносясь мысленно далеко-далеко от Москвы, туда, где Студеное море отделяет от мира тихую Соловецкую обитель...

В Москве же готовились новые события.

— Как от чумы, от нас все в Москве бегает, — рассказывали опричники царю, являясь в Александрову слободу. — Слова ни от кого не добьешься. Видно, на душе нечисто, если говорить бояться.

Царь мрачно слушал их.

— Добились бояре, поставили на митрополию своего Филиппа да научили еще просить, чтобы опричнины не было, — продолжали они нашептывать, как злые демоны, — народ и думает, что точно опричнине конец пришел.

Выдвигали на сцену царского дурака, и тот жаловался, кривляясь:

— Ох, и точно конец нам, горемычным, пришел!

Царь пинал его ногою и еще более хмурился. С каждым днем все более и более убеждал-

ся он, что Филиппа хотели на митрополию бояре, а не он. Западавшие в его больную душу ни на чем иногда не основанные подозрения всегда принимали чудовищные размеры и росли как снежный ком, пущенный вниз с горы. Но чудовищнее всего развивалось в нем теперь одно подозрение, что бояре продолжают замышлять измены против него. Этого он боялся как огня и глубоко был убежден, что боярство еще недостаточно обуздано, что оно по-прежнему способно на все то, что он видел во дни своего печального детства и во дни своей смертельной болезни. Ни вычеркнуть этого из жизни, ни забыть не было возможности. В голове постоянно являлся один вопрос «Что же они, эти вечные крамольники-бояре, теперь замышляют? Как узнать?»

Совершенно неожиданно князя Вельский, Мстиславский, Воротынский и конюший Иван Петров-Феодоров получили тайно грамоты за подписью короля Сигизмунда и гетмана Хоткевича. Земских представителей король и гетман звали в этих грамотах к себе, давая им разные заманчивые обещания. Князя, как и следовало верноподанным, пред-

ставили эти таинственные и Бог весть кем составленные грамоты государю и дали резкий ответ королю и гетману. Сам царь взялся доставить эти ответные грамоты королю, почему-то не допустив князей отправить их от себя, помимо его. Были ли посланы эти грамоты к Сигизмунду и Хоткевичу, были ли причастны вообще король и гетман к этому делу, какое участие принимала в нем Александра слобода, — этого никто не знал. Известно было одно, что князья не попались в расставленные им сети и с достоинством удержались на этот раз от всякой измены. По-видимому, все кончилось благополучно, но царь, испытавший бояр, все-таки вообразил, что конюший Феодоров в душе таит измену, стоит во главе какого-то злодейского заговора и хочет сам сесть на престол. Безумная мысль, раз закравшись в больной мозг мнительного царя, требовала уже расплаты. Феодоров в глазах царя Ивана Васильевича был уже настоящим изменником и мятежником, хотя против него не было никаких улик, никаких доказательств.

Старика призвали к царю.

Он был изумлен тем, что встретил. Царь принял его необычайно торжественно в большой палате, где на возвышении стоял приготовленный на этот случай трон. Феодоров недоумевал, что это все значит, — и торжественность встречи, и стоящий на возвышении трон. Сам Иван Васильевич был окружен всеми своими опричниками-друзьями и низко поклонился пришедшему.

— Надеть на него царские одеяния и посадить его на престол, — приказал он окружающим, указывая на Феодорова.

Опричники бросились на старца, облекли его в царскую одежду и потащили на трон. Для них это была смешная комедия.

Феодоров не понимал, что с ним хотят делать, но уже сознавал, что готовится нечто ужасное, еще небывалое. Царь Иван Васильевич подал ему державу, снял с себя шапку и, насмешливо кланяясь, заговорил:

— Здрав буди, великий царь земли русския! Се приял ты от меня честь, тобою желаемую.

И тотчас же, не дожидаясь ответа, свирепо нахмутив брови, с сверкающими гневом гла-

зами, быстро переменяя тон, грозно прибавил:

— Но если я могу тебя царем сделать, то могу и свергнуть с престола!

Он быстро выхватил из-за пояса нож и поразил им в сердце старика.

Разом, по данному им знаку, бросились на Феодорова и опричники, нанося ему удары. Старик, обливаясь кровью, покатился с престола и со ступеней помоста на пол. Опричники, шумя и ругаясь, поволокли обезображенный труп из дворца и швырнули его с высокого крыльца на съеденье выпущенным из псарни собакам.

Затем они бросились в дом Феодорова убивать жену старика Марию и грабить его палаты.

Первые пролитые царем Иваном Васильевичем капли крови всегда точно опьяняли его. Он никогда не довольствовался одною жертвою, и его больная душа начинала искать еще и еще новых жертв, покуда не утомлялся он и не бросал мгновенно своего кровавого дела. Переходы эти от гнева к милости и от милости к гневу всегда были быстры и

неожиданны, как нечто стихийное. И теперь казни начались опять массами. Князь Иван Андреевич Куракин-Булгаков, князь Дмитрий Рязановский, трое князей Ростовских, князь Петр Щепотев, князь Иван Турунтай-Пронский и другие несчастные пали жертвами свирепости царской. Князь Щепотев ушел в монастырь, но его накрыли и там жгли на сковороде, вбивали иглы за ногти; князю Ростовскому отсекли голову, тело бросили в реку, а голову принесли к царю, который пнул ее ногой и пошутил над князем, любившим проливать кровь недругов в битвах и обогрившимся теперь своею кровью; казначея Тютина казнили с женою, с двумя юными дочерьми и двумя младенцами-сыновьями, и эту казнь совершал собственноручно беспощадно жестокий брат царицы Марии князь Михайло Темрюкович-Черкасский

Москва пришла опять в ужас.

Трупы валялись на площадях, их не смели погребать, опричники рыскали везде. Вельможи и простые граждане надеялись только на митрополита и часто не смели даже выходить из своих домов. Ежедневно в митропо-

личьих палатах теснились люди, с трепетом ожидавшие своего конца, и просили митрополита о заступничестве. Он выслушивал их, утешал и давал слово защитить их. Безмолвствовать и потакать он считал несовместным со своим саном. Что ожидает его за вмешательство в дела царя, об этом он и не задумывался ни на минуту. Он помнил только то, что он служитель истины.

Филипп явился среди архиепископов и епископов и снова торжественно напомнил им:

— На то ли мы сошлись, отцы и братие, чтобы молчать, страшась вымолвить истину?

Снова начал он горячо говорить о том, что духовенство губит царя своим молчанием, что оно на то и поставлено, чтобы быть борцом за истину. В его душе была надежда пробудить совесть в этих пастырях православной церкви и при помощи их совершить то, что трудно было сделать ему одному. Он все еще верил, что окружавшие его тогда духовные особы способны поставить превыше всего свой долг. Он жестоко ошибся. В ответ на горячую речь духовенство молчало. Одни, сми-

реннообразные пособники темных дел царя Ивана Васильевича и предатели, радовались в душе смелости митрополита, так как это давало им в руки оружие для борьбы с ним; другие, разделяя в душе мнения Филиппа, были настолько запуганы, что не решались ни в чем противоречить царю Ивану Васильевичу и боялись и за Филиппа, и за себя.

Кто-то заметил коротко:

— Царя нужно слушать, волю его творить и не размышлять!

Пимен, уже думавший о митрополии для себя, и приспешник опричнины Пафнутий нередко переглядывались между собою, как бы сговариваясь тотчас же передать речи митрополита его злейшему врагу благовеценскому протопопу Евстафию. Этот низкий и развращенный друг опричников находился уже в запрещении от митрополита; тем не менее царь оставлял его своим духовником и доверял ему по-прежнему.

Огорченный Филипп, не находя себе поддержки, тихо вышел из собрания. Он скорбел за этих низко павших людей, скорбел за церковь, пасомую такими людьми, скорбел за на-

род, отданный в руки таких духовных наставников. Стоять за истину ему приходилось одному.

Евстафий в тот же день передал речи митрополита царю. Царь мрачно и злобно заметил:

— Недолго он у меня поговорит!

Филипп, поняв, что ему нечего ждать единодушия от духовенства, пошел на подвиг один.

Он явился к государю в своей мантии с источниками [39] и в белом клобуке, с крестом на груди, с посохом в руке, величественный и в то же время спокойный. Царь Иван Васильевич встретил его с угрюмым выражением лица, но, пересиливая себя, не сказал ни слова о том, что ему уже все известно. Митрополит сел против царя, сидевшего в большом кресле, опираясь локтем одной руки о стол, а другою держа свой жезл. Митрополит начал тихо и спокойно говорить о том, что каждый облеченный честью высокого сана на земле должен более всего чествовать Бога, даровавшего смертному власть Богоподобную.

— Чествовать Бога смирением, прилич-

ным человеку, — продолжал он, — и незлобием, свойственным Божеству. Властелином истинно именуется тот, кто сам собою обладать умеет, кто страстям не работает, у кого ум державствует, а не тот, кто в самозабвении возмущает собственную державу.

Царь Иван Васильевич, сжимая в руках свой посох, пришел в бешенство. Он понял, что митрополит намекает на опричнину.

— Чернец, что тебе до советов наших царских? — вскричал он, и его глаза засверкали угрозой.

И с горькой иронией, опять овладев собою, спросил:

— Или не знаешь, что меня мои же поглотить хотят?

Филипп уже слышал сотни раз эти жалобы, не придавал им значения и, не отвечая на них, сказал:

— Правда, я чернец. Но по данной мне благодати от Пресвятого и Животворящего Духа и по избранию священного собора и по твоему изволению, я пастырь церкви и заедино с тобою должен иметь попечение о благочестии и мире всего православного христиан-

ства.

Царь, точно уязвленный этими словами, снова запальчиво крикнул:

— Молчи, отче, молчи, повторяю тебе, и только благословляй нас по нашему изволению!

— Наше молчание ведет тебя, государь, к греху и всенародной гибели, — ответил митрополит, — худой кормчий губит весь корабль. Господь заповедал нам души свои полагать за други свои. Если мы последуем воле человеческой, как скажем в день пришествия Господа: «се аз и дети, яже ми еси дал?» Господь говорит во святом Евангелии: «сия есть заповедь, моя, да любите друг друга, яко же аз возлюбил вас; больше сея любви никто же имат, да кто душу свою положит за други своя», и еще: «яко весь закон и пророци в двох заповедях, сих висят: еже возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближняго, яко сам себе», и еще, утверждая учеников: «аще в любви моей пребудете; воистину ученицы мои будете». Таково наше мудрствование, и его мы держим крепко.

В больной душе царя Ивана Васильевича

уживалась масса противоречий. Разгул, зверства и такие поступки, как служение обеден с переряженными опричниками, шли рядом с внешним благочестием вроде отбивания земных поклонов до того, что распухал лоб, или кажущегося уважения священного писания вроде постоянных ссылок на него. Услышав, что митрополит ссылается на священное писание, он сам тотчас же сослался на слова Давида, жалуясь на свою горькую долю.

— Владыко святой, — заговорил он жалобно, — воссташа на мя друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа, и ближний мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, ищущие злая мне.

Филипп был серьезен и непоколебим. Он уже слышал не раз от царя жалобы на бояр и знал цену этим жалобам.

— Государь, — заговорил он, — отличай лукавого от правдивого, принимай добрых советников, а не ласкателей.

Он опять коснулся самого щекотливого вопроса.

— Грешно разделять единство державы. Ты поставлен судить людей в правду, а не

представлять из себя мучителя. Обличи тех, кто неправо говорит перед тобою, и отсеки от себя их, как гнилые члены, а людей своих устрой в соединении. Где любовь нелицемерная, там Бог.

— Не прекословь державе нашей! — крикнул царь, выходя из терпения, и вскочил с места, стуча об пол жезлом. — Не то гнев мой постигнет тебя, или оставь свой сан!

Митрополит тоже поднялся с места и твердо ответил:

— Я не просил тебя о сане, не посылал к тебе ходатаев, никого не подкупал. Зачем сам взял меня из пустыни? Если ты думаешь попирать законы, твори, что хочешь; я не буду слабеть, когда придет время подвига.

Митрополит неспешно вышел от царя. Царь сделал гневно несколько шагов за ним с сжатыми кулаками и, точно очнувшись от помутившегося его рассудок бешенства, остановился в ту же минуту, опираясь о стол и едва переводя дух от душившей его злобы. Кажется, он был готов растерзать святителя и только придумывал способ, как погубить непокорного монаха. Его бесило теперь все в

Филиппе, не одно его мнимое соединение с боярами, не одна его упорная настойчивость, но и та невозмутимая сдержанность, то полное достоинства самообладание, которые составляли такую резкую противоположность с манерами и поведением самого вечно тревожного царя Ивана Васильевича.

ГЛАВА IX

Еще в июле 1566 года в Москву была созвана во второй раз земская дума.

Знатнейшее духовенство, бояре, окольные, казначеи, дьяки, дворяне первой и второй статьи, гости, купцы были созваны обсудить наши дела с Литвою: быть или не быть войне с Литвою, принявшею под свое покровительство ливонцев. Всего собралось триста семьдесят один человек. Тут были между прочим и луцкие помещики, и помещики торопецкие, и представители смоленской области, одним словом все, кого могли близко коснуться военные дела с Литвой. Вечный любимец пышных собраний, торжественных церемоний, обстановки, царь спрашивал собранных земских людей, нужно ли мириться или

воевать с королем Сигизмундом. Для более удобного обсуждения вопроса все созванные были разделены на семь отделов, совещавшихся порознь. Все эти люди собрались в кремлевском государевом дворце, и он сам открыл собрание и задал вопрос:

— Как нам стоять против недруга державы нашей, короля польского, Жигмонта?

Вопрос обсуждался всесторонне, но, в сущности, все было в конце концов, как и следовало ожидать, предоставлено на волю царя. Этот собор не походил уже на первые соборы, где земцы давали самостоятельные ответы и внесли ряд новых постановлений и мер. Из всех ответов теперь был один вывод:

— Мы холопы государевы и на его государево дело готовы.

Некоторые из собравшихся точно выяснили точку зрения, с которой они смотрели на дело. Так, смоленские представители говорили:

— А мы молим о том, чтобы государева рука была высока, а мы люди не служилые, службы не знаем, ведет Бог да государь, не стоим не только за свои животы, а мы головы

свои кладем за государя везде, чтобы государева рука была везде высока.

И, касаясь вопроса о Полоцке, стесненном врагами, они прибавляли:

— А село без земли как быти? Только будет около Полоцка королева-земля, и король около Полоцка города поставит, и дороги отымет, и Полоцк стеснит.

Торопецкие же помещики заявили прямо:

— Мы за одну десятину земли полоцкого и озеричского повету головы положим, чем нам в Полоцке помирать запертым; а мы холопы его государские ныне на конях сидим, и мы за его государское дело с коня порем...

Приговорная грамота собора закрепилась печатями, рукоприкладствами и крестным целованием участников собора. Архиепископы и епископы приложили к грамоте свои руки и подвесили к ней свои печати; архимандриты, игумены и монастырские старцы приложили к ней свои руки, но печатей не подвешивали; бояре, окольникы, приказные люди и дьяки приложили к ней свои руки и целовали крест на грамоте; остальные лица закрепили ее одним крестным целованием.

Царь послал к Сигизмунду послов, так как выборные все же советовали сперва попробовать кончить дело миром, да и сам царь желал этого, зная, как утомлена и истощена войнами земля русская. Переговоры, однако, не привели ни к каким результатам. Царь решился воевать и двинулся сам к Новгороду. Царя сопровождали Пафнутий, Пимен и Феодосий. Пимен принимал и угощал царя в Новгороде с царскою роскошью в своих владычных палатах. Построенный еще в 1432 году иноземными зодчими и новгородскими мастерами владычный двор новгородский поражал своим истинно царским великолепием. Многие палаты и сени были здесь подписаны, то есть украшены иконописью. Одна из палат была так велика, что в ней было тридцать дверей. Во всех палатах множество дорогих икон в камнях и жемчугах и золотых и серебряных сосудов в поставцах говорили о богатстве владычной казны.

Эта поездка царя была недолга, так как царь узнал, что ливонцы хотят сделать нападение на русских с другой стороны, и решил скорее вернуться в Москву, но и в короткий

срок близость таких людей, как Пафнутий и Пимен не могла не отозваться роковым образом на судьбе Филиппа. Ежедневно проскальзывали намеки на Филиппа в разговорах этих духовных лиц с царем. Угодники светской власти, честолюбивые люди, коварные доносчики, они не стеснялись ничем, чтобы возбудить царя против митрополита.

Царь вернулся в Москву мрачным. Здесь еще свирепствовали опричники. Они бегали по городу с топорами и длинными ножами, убивали, насильничали, грабили. Казалось, они хотели умышленно вызвать мятеж, чтобы совершенно залить кровью Москву. Митрополит то и дело видел перед собою плачущих людей, приносивших ему горькие жалобы на притеснителей. Его сердце разрывалось на части при виде совершающегося, но волей-неволей нужно было казаться спокойным и твердым перед паствою, утешать, ободрять, подавать надежду, не надеясь уже ни на что лучшее на земле.

— Друзи мои, молю вас, не сокрушайтесь. Верен Бог! Он не допустит вам быть искушаемыми сверх сил и не даст вам погибнуть до

конца!

Предвидя уже горькое будущее, он пророчески говорил:

— Здесь-то вам и уготованы венцы! Здесь-то и мне предстоит благий подвиг! Вы теперь избранники Божий. Се секира лежит при корени; но не страшитесь, помня, что уже не земные блага, а небесные обещает нам Бог. Я же радуюсь, что могу пострадать за вас, братие и чада, вы — мой ответ перед Господом, вы — венец мой от Господа.

Точно грозовая туча скопился гнев Ивана Васильевича на митрополита. Он уже не мог видеть Филиппа, бегал и скрывался от него. Все попытки Филиппа встретиться и объяснить с царем были напрасны. Царь Иван Васильевич был неуловим. В глазах царя Филипп теперь был простым сообщником бояр, мятежником, достойным казни врагом самодержавия. Духовник царя и опричники теперь, не стесняясь, доносили мнительному царю на митрополита. Его толки с духовенством о необходимости образумить царя, его утешения, обращенные к боярам, его скорбный вид, все ставилось ему в вину. Опрични-

ки уже посмеивались в своем кругу над Филиппом, как над обреченной жертвой. Глумление над жертвами было в ходу с легкой руки самого царя Ивана Васильевича, который не довольствовался простыми казнями, но сопровождал их нередко злой иронией и издевательствами. Разница была только в том, что у царя это иронизированье над павшими было выражением одной из черт характера, а у его злых гениев, угодников и наушников, это было проявлением последней степени наглости, дикости и распущенности, не знавших ничего святого. Царь был часто достоин сожаления, они всегда заслуживали только отвращения.

В середокрестное воскресенье, 21 марта 1568 года, митрополит служил соборне в Успенском соборе. Народу, по обыкновению, набралось много, так как торжественная митрополичья служба всегда привлекала массы богомольцев. Служба уже началась, митрополит стал на своем святительском месте, когда приехал в собор государь. Появление в храме царя произвело некоторое смятение, тем более, что его приход сопровождался замеча-

тельным шумом: он вошел в храм, окруженный своими опричниками, не любившими соблюдать тишины даже в церквях и являвшимися сюда не для молитвы, а для кощунства. Все вошедшие, начиная с самого царя, были в черных рясах и в черных высоких халдейских шлыках [40]. Из-под ряс виднелись яркие, шитые золотом, опущенные соболями кафтаны. На поясах висело оружие, не снимавшееся даже при входе в храм. Филипп видел эту замаскированную, кощунствующую толпу, и в кротком сердце его проснулась невыразимая горечь. Если когда-то, юношей, он глубоко скорбел по поводу единственного нарушения великим князем Василием Ивановичем церковного закона, то теперь ему, старику, было еще более тяжело, когда перед ним происходило поругание святыни тем, кто должен бы был быть ее сберегателем и кого Филиппу, преданному всей душой царской власти, в которой он видел залог единства и спасения русской земли, хотелось бы видеть на недостижимой нравственной высоте. Митрополит устремил с скорбным выражением глаза к алтарю, не обращая внимания на царя,

подошедшего к нему сбоку. Царь нетерпеливо ждал благословения. Три раза он подклонял голову, но взор митрополита был устремлен по-прежнему к алтарю. В храме царила теперь мертвая тишина.

— Святой владыка, — сказал кто-то из бояр, — великий князь Иван Васильевич требует благословения от тебя.

Филипп взглянул недоумевающим взглядом на государя. Казалось, он не узнавал замаскированного царя. Наконец, он громко проговорил:

— Благочестивый, кому ты угождаешь, искажая таким образом свое благословение? Побойся Бога, постыдись своей багряницы. С тех пор, как светит солнце, не было слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали так свою державу.

Царь Иван Васильевич сделал нетерпеливое движение, но Филипп продолжал с горечью:

— Правда царева на суде, по слову писания, а ты лишь неправедные творишь дела твоему народу, когда бы должен быть для него примером благочестия. Сколь ужасно

страждут православные; у татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет; всюду находим милосердие, а в России и к невинным, и к справедливым нет жалости. Мы, государь, здесь приносим жертву бескровную, а за алтарем льется неповинная кровь христианская твоих верных подданных. На скорблю не о тех, которые, проливая невинную кровь, сподобляются доли святых мучеников; о твоей бедной душе я страдаю. Опомнись, хотя Бог и возвысил тебя в этом мире, но и ты перстный [41] человек. Взыщется от рук твоих невинная кровь. Если будут молчать живые души, то камни возопиют под твоими ногами и принесут тебе суд. Государь, говорю как пастырь душ. Бойся Господа единого.

Царь Иван Васильевич дрожал, как в лихорадке, от яростного гнева и стучал жезлом о каменный помост церкви в каком-то отчаянном сознании своего бессилия. В храме царствовала гробовая тишина и только звонко раздавались удары железного наконечника жезла о каменный помост. Что-то зловещее было в этих звуках. Народ в ужасе точно замер. Наконец, раздался крик царя:

— Филипп! Державе нашей смеешь противиться? Посмотрим, велика ли твоя крепость. Доселе я излишне щадил вас, мятежников, отныне буду таким, каким меня нарицаете!

Филипп спокойно возразил:

— Царю благий, напрасно думаешь устрашить меня муками. Я пришлец и посланник на земле, как и все отцы мои. Я буду стоять за истину, хотя бы пришлось принять и лютую смерть.

Какой-то юный клирик, племянник церковного эконома Харлампия, неожиданно начал поносить громко митрополита, крича:

— Крамольник! Изменник царю! За бояр стоит! Ругался не раз на царя!

Но его никто не слушал: в церкви было уже смятение. Опричники, размахивая руками, брянча оружием, шумели вокруг царя, словно стая вспугнутых воронов. Царь не слышал, не понимал ничего, точно охваченный страшным сном. Он в ярости стремительно оставил с ними храм, где продолжалось прерванное на время богослужение.

— Не того еще, государь, дождешься, если миловать будешь мятежников и изменных

людей, — грубо сказал государю Малюта Скуратов. — С корнем надо вырвать все это племя!

— Говорили мы, отец наш государь, — вкрадчиво толковал молодой Басманов, — что извести тебя задумал Филипп с боярами. Народ поднять хочет. Тебя и нас всех, слуг твоих верных, погубит. Не мы одни говорим это, спроси владыку Пимена, спроси Пафнутия, Левкия, своего духовного отца...

— Недаром на Соловках-то Сильвестра чествовал Филипп, — сказал старик Басманов. — Его духа и набрался, одного поля ягоды...

Со всех сторон разом посыпались клеветы и доносы. Царь наслаждался, упивался теперь этими клеветами, служившими как бы оправданием его гневу. Кто и что говорил — ему было все равно, хотелось только слышать обвинение против врага.

Обедня в Успенском соборе кончилась, и народ хлынул к митрополиту принять от него благословение, прильнуть к его руке. Никогда еще не любила толпа так сильно своего владыку, как теперь. Все видели, что он готов

принять даже мученический венец, но вступить грудью за христиан и образумить несчастного царя, запутавшегося, как в сетях, среди козней и доносов злодеев. У несчастных, запуганных людей явились робкие надежды, что теперь дела пойдут лучше, что слова святителя произведут свое действие. Вся Москва только о том и толковала в этот день, что о происшествии в Успенском соборе...

— Ох, что-то теперь будет? — вздыхали люди, уже не надеявшиеся ни на что доброе.

Ответ на этот вопрос не замедлил.

Наутро следующего дня разнесся по Москве слух, что на Лобном месте опять кого-то казнят. Толпа побежала смотреть. Там мучили одного из князей Пронских, старика, ушедшего уже давно в монастырь. С ним вместе терзали еще каких-то никому неизвестных людей. Опричники снова рыскали по улицам, пьяные, развратные, свирепые, оскорбляя, насильничая, убивая граждан. Несколько человек из приближенных к митрополиту служилых людей были схвачены, отведены на пытки, избиты за то, что от них

не добились улик против Филиппа. Самому Филиппу тяжело было оставаться после этого в своих палатах, и он перебрался на житье в Китай-город в Никольскую улицу в монастырь Святого Николая-старого. Но царь не тронул самого Филиппа и снова старался не встречаться с ним. Тем не менее он не забыл обиды. Напротив того, он более ни о чем не думал, как о ней. Ему казалось, что он опять стал жертвой; митрополит теперь выше царя в Москве; царь въехать в Москву не смеет, не натолкнувшись на оскорбление; народ даже, пожалуй, переманит чернец на свою сторону, и тогда конец державе царя. Десятки людей уже перехвачены, пытаны, замучены, а даже очевидных улик против митрополита нет. Подкупил всех, переманил на свою сторону, околдовал. Тревожный, охваченный подозрительностью, жалующийся на свою долю, царь в новом припадке душевного недуга бражничал, топил свое горе в вине, упивался разгулом и казнями.

В июле душевный недуг царя принял снова острые, небывалые размеры. Царские любимцы князь Афанасий Вяземский, Малюта

Скуратов, Василий Грязной с дружиной царя сделали ночью нападение на дома многих знатных людей, дьяков, купцов, одним словом, земцев. Наглецы похватали здесь женщин, славившихся красотой, и вывезли их из города. Как только вошло солнце, выехал из своей Александровой слободы и сам царь Иван Васильевич с целым войском опричников. На первом же ночлеге ему представили украденных женщин. Некоторых из них, как пленниц, он взял себе, других уступил сыну, любимцам и дружине. Затем вся эта орда тронулась в путь вокруг Москвы. Оргии сменялись выжиганием окрестных княжеских и боярских усадеб, казнями, избиением скота, поджогами домов. Девушек ради потехи раздевали, заставляли потом ловить кур и стреляли в них, как в мишени. Натешившись вволю, государь приказал развести опозоренных и полуживых женщин по домам, а сам вернулся в Москву.

Легче ему не стало. Это было накануне дня Св. Апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. В день празднования памяти этих святых в Новодевичьем монастыре обыкно-

венно совершалось торжественное богослужение и бывал крестный ход по широким стенам монастыря. Служил митрополит. Не проспавшиеся после долгих оргий опричники с государем Иваном Васильевичем во главе приехали тоже в монастырь. По окончании службы все тронулись с крестами и иконами из церкви, вошли на стену и пошли в обход. У святых ворот крестный ход обыкновенно останавливался, и здесь читалось Евангелие. Перед началом чтения митрополит обратился к народу, чтобы возгласить:

— Мир всем!

Он заметил, что один из опричников оставался в тафье. Носить этот головной убор, не снимавшийся даже в церкви и введенный в употребление, вероятно, доброзачными юношами-щеголями, было запрещено еще на соборе 1551 года. Митрополит обратился к царю.

— Государь, — начал он, — разве прилично благочестивому держать агарянский закон, во время чтения Евангелия стоять с покрытою головою?

— Как? Что такое? Кто смел? — закричал в

гневе Царь.

— Один из ополчения твоего, из лика сатанинского, — ответил Филипп.

Но опричник уже успел спрятать тафью.

— Кто был в тафье? — крикнул царь, не видя виновного.

— Да ни у кого и не было тафьи! — грубо ответил кто-то из опричников.

— Померещилось владыке, — заметил другой голос.

— Ищет, как бы против твоих верных слуг измену начать, — шептали около царя.

Он вышел из себя от ярости и начал ругаться.

— Лжец! Обманщик! — гремел царский голос при всем народе, и царская рука стучала жезлом о камни. — Я тебя смирю, не станешь ты у меня клеветать!

Царь не стал дальше слушать чтение Евангелия и шумно поспешил с толпой своих клеветов сойти со стены и выехать из монастыря. В его душе клокотала злоба, как никогда, и впервые за последнее время он бесился более всего на то, что у него не хватало смелости прямо убить митрополита. Он сам не знал,

что пугало, что удерживало его от крутых мер. Никогда еще не испытывал он ничего подобного и расправлялся без смущения с теми, кого считал виновными. Он ехал среди своих опричников по дороге к Кремлю и угрюмо слушал их изветы и брань против Филиппа. Ему было досадно, что им казалось так легко согнать с митрополии и убить Филиппа, тогда как он придает этому такое важное значение и словно трусит чего-то. Ему бы, кажется, было легче, если бы и они, подобно ему, понимали всю трудность этой борьбы, говорили бы о том, что скажет народ, видели бы в этом убийстве предлог к мятежу. Но ничего этого они не понимали. То, что пугало его скорбную больную душу, им, заурядным убийцам и палачам, казалось, и может быть, не без основания, очень простым и легким: схватить, убить — вот и все. Что могло быть проще и легче? Душевных противоречий и бурь никогда не знали эти дикие, как звери, люди и только удивлялись, почему поблажает царь Филиппу.

Безмолвствуя, царь доехал до своего дворца у Ризположенских ворот и тотчас же при-

казал позвать своего духовника Евстафия. Этот угодник царя явился, по обыкновению, с низкими поклонами и с зорким наблюдательным взглядом хитрых глаз. Он лучше, чем кто-нибудь, знал душу царя, изучил все его движения, выражение его лица, интонацию его голоса. Царь быстро в сильном гневе начал передавать ему происшедшую историю.

— Давно пора кончить с Филиппом, — сказал Евстафий, качая головою.

— Без тебя знаю, — ответил отрывисто царь Иван Васильевич, недовольный, что и тут он услышал то, что знал и сам, но чего не решался сделать. — Злодеем зовет всенародно, ну и завопиют все, что злодей и точно государь. Вся земщина возопиет, что святого владыку за правду согнали с митрополии да замучили. У него милостивцев много, что его руку держат.

Евстафий чутко уловил злобную иронию в словах царя и переменял тон.

— Правда твоя, государь, — согласился он. — Тяжело наказывать невинного, да и не пригоже царю.

Он вздохнул.

— Да делать-то нечего, когда кругом виноват человек. Не след царю невинных казнить, но еще страшнее виновных оставлять без наказания. Дурная трава из поля вон. Одна паршивая овца все стадо портит. А на владыке много грехов лежит. Стоит суд нарядить — по суду его обвинят в мятежах и измене. Не неповинного гневом своим преследуют, а над виновным справедливый суд учинят.

Царь взглянул на него зорко.

— Нешто не допрашивали, не пытали его близких? — спросил он с усмешкой. — Не хуже Васьки Шибанова за изменника господина каждый головой жертвовать рад и тело на раздробление отдать...

— Да улик не здесь искать надо, — проговорил Евстафий. — Подальше заглянуть следует. В Соловках порыться, там всего найдется. Вот бы нарядить туда хотя владыку Пафнутия да еще кое-кого. Опросить всех. С голыми руками таких дел не делают, государь, чтобы неповинного не губить, греха на душу не брать, а улик против владыки много найдется. Чай, все видели, как Сильвестра чествовал

да в великом береженье держал. Тоже речи его изменные, поди, слышали...

И, усмехаясь, он закончил свое предложение:

— Владыко требовал правды да справедливости, ну, вот на суде и будут правда и справедливость. Снимут перед земщиной с волка овечью шкуру, тогда все и увидят, Царь ли несправедлив или митрополит мятежник.

Царь засмеялся уже злым, но веселым смехом.

— Оно и так. Правды требовал — правду и окажем, — говорил он, чувствуя, что у него гора свалилась с плеч. — Истины служитель! Увидим, истине ли служит или боярам...

К вечеру он собрал к себе духовных лиц. Одни были отъявленными врагами Филиппа, другие не смели пикнуть против решения царя. Он требовал суда над митрополитом, все согласились. Евстафий предлагал людей для следствия. Остановились на епископе Пафнутии, андроновском архимандрите Феодосии, князе Василии Темкине, дьяке Пивове. Им дали военный конвой и снабдили их деньгами. Следователи отправились в Соловецкий мо-

настырь.

Невообразим был переполох в Соловецком монастыре, когда увидали смиренные монахи прибывших посланцев царя и узнали, с какою целью они приехали. Везде тоскливо перешептывались:

— Да в чем винят-то владыку, отца нашего?

— В чем? Ни в чем не винят, а погубить хотят!

— Да кто же против него слово скажет?

— Может, и сказали бы, если бы было что сказать. А то и говорить-то нечего, кроме добра.

Деньги, ласки, угрозы, бесчеловечные истязания, все было пущено в ход следователями для того, чтобы добыть улики против бывшего соловецкого настоятеля. Но что же могли сказать монахи против великого подвижника? Он был чист и ни в чем неповинен. Старцы соловецкие, давно отвыкнувшие от мирских уловок и происков, не умели выдумывать и лгать и говорили только правду, а говорить правду про Филиппа значило восхвалять его. Большинство же из них так горя-

что любили своего бывшего настоятеля, что охотно пожертвовали бы за него жизнью, если бы и знали такие ошибки за ним.

Прибывшие из Москвы следователи начинали приходить в отчаяние от неудачи, видя, что застращивания, наказания и пытки не ведут ни к чему. Они толковали между собою, что им делать и как быть. Придумать ничего не могли. Тогда Пафнутий попробовал последнее средство. Он призвал к себе нового соловецкого игумена Паисия.

— На тебя государь возлагает надежду, — заговорил он ласково старику. — Ты хорошо знаешь Филиппа и лучше других можешь сказать о нем правду. Тоже, я думаю, не раз слыхивал, как он здесь с Сильвестром, сосланным благовещенским попом, царя ругал...

И перебивая сам себя, он заметил:

— А государь тебе епископский сан пожаловать хочет. Тоже давно пора тебе из этой глуши выбраться. В Москве на виду будешь.

Паисий вздыхал, не зная, что сказать.

— Дело-то только такое, — продолжал в раздумьи Пафнутий, — либо в епископы попадешь, либо в пытках голову сложишь. Госу-

дарь доподлинно знает, что тебе многое известно, потому тебя и требует в Москву, а за-прешься — не сдобровать. Сам виноват будешь!

Он барабанил пальцами по столу, нетерпеливо ожидая, что скажет Паисий. Тот продолжал молчать, не зная, что сказать.

— Ты бы тоже и старцам потолковал, кои знают что, — продолжал Пафнутий. — Пусть бы тоже стали свидетельствовать на суде о Филиппе. Да порасскажи им, что добра не ждать тому от царя, кто запирается станет.

— Что говорить-то? — с тоской сказал, наконец, Паисий, чувствуя ужас перед ожидавшей его участью.

— Что говорить? Правду говорить, — коротко сказал Пафнутий, — чтобы вместо епископии на лобное место не идти. Царь только правду и хочет знать. Ну, а станешь запирается либо обелять владыку — в пытках и голову сложить. Филипп-то издавна мятежник. Когда еще бояре замышляли князя Андрея на престол возвести, Колычевы-то перевешаны многие были, а Филипп убежал тогда из Москвы, от виселицы убежал. С той поры и

умышлял зло против царя государя. Государь не попомнил ему его бегство, а он зло в сердце таил. С Сильвестром шептался здесь. Уж одно то сказать: царь Сильвестра сослал сюда за наказание, а он, Филипп, с честью его принял да всячески ублажал его. У всех у вас на глазах было. Известно, мятежник. Тоже, как царь опричнину установил, немало здесь он ругал царя за нее, с Сильвестром-то. Известно, свои люди были: один за князя Андрея прежде стоял, другой за сына Андреева, князя Владимира, стоял. У нас на Москве тоже Филипп-то за бояр стоял. Ты старцам-то внуши. Просты они. Видят, а не понимают. Внуши! Тут одного видел я, Зосимой, кажись, звать, больно вздыхал он, как мы других допрашивали, да толковал, что не упомнишь всего. Трус, видно! Ты ему скажи, чтобы упомнил! В Москве-то не по здешнему допрашивать будут. Пытать станут — света не взвидишь. Ох, тяжко это на старости лет, где покой бы нужен...

Он начал рассказывать, как посадили в Москве на кол Шевырева, как жарили на сковороде князя Щепотева, как секли и разрыва-

ли на части других.

— Эх, отче, тяжело на старости, когда можно бы отдохнуть на епископии, попасть под кнуты, — закончил он с вздохом.

Паисий сидел, опустив на грудь голову. Его охватывал ужас перед ожидавшими его муками. И разве спасет он Филиппа, примет за него муки? Пафнутий, точно угадывая его мысли, проговорил, поднимаясь с места:

— Оно, конечно, государь и так все знает, а только хочет еще вас порасспросить. Как-никак, а в Москву придется вас везти.

Он вышел из келий Паисия и прошел к своим сотоварищам.

— Ну, что, добились чего-нибудь? — спросил он их.

— Чего тут добьешься, — сердито сказал князь Темкин. — В Москве добились бы. Так не везти же весь монастырь туда.

— Зачем весь. Довольно Паисия да двух-трех старцев, — ответил Пафнутий, отирая с лица крупный пот. — Надо переждать денек, авось либо отец Паисий вспомнит, что говаривал Филипп.

Паисий действительно вспомнил внезап-

но многое, Зосима-старец, дрожа, как в лихорадке, тоже припомнил немалое, нашлось и еще несколько старцев, готовых говорить требуемую от них правду. Все они были крайне жалки, дрожали от страха, чуть не плакали, готовясь к справедливому обличению того, о котором трудно было сказать хоть одно дурное слово. Московские посланцы обрадовались, почувствовав, что у них гора свалилась с плеч: они знали, что вернуться в Москву без свидетелей и без улик для них значило то же, что положить под топоры головы. Царь не пощадил бы их, как ослушников его воли и изменников. Они спасали свои головы.

ГЛАВА X

В четверг, 4 ноября 1568 года, в Москве царствовала зловещая тишина. Никогда еще граждан не охватывало такое удрученное настроение, как теперь, и никто тем не менее не осмеливался даже говорить громко о том, что тяготило и смущало всех. Все видели, что в Успенский собор собирается духовенство, едут именитые князья и бояре; все знали, зачем они едут, и только тайно вздыхали да молились, чтобы Бог пронес беду. Беда была велика: царь Иван Васильевич, выслушав все доносы против митрополита Филиппа, собрав все улики против него, решился устроить против него торжественный суд в Успенском соборе. Никто не сомневался, что доносы и улики были наглой ложью, но все в то же время знали, что на суде всей этой лжи придадут значение истины и так или иначе обвинят подсудимого.

Духовенство и бояре с царем Иваном Васильевичем во главе собрались в Успенском соборе и торжественно в полном молчании уселись по местам. Первенствовал на суде новго-

родский владыка Пимен. Никогда еще он не чувствовал себя более сильным и счастливым, чем теперь. Он сознавал, что его враг, незначительный настоятель Соловецкой обители, вдруг сделавшийся московским митрополитом, обречен на гибель, а ему самому открывается место митрополита московского. Он был старшим из всех владык, к нему благоволил теперь царь. Все окружающие тоже смотрели на Пимена, как на преемника Филиппа, и более чем когда-нибудь боялись возвысить голос за последнего. Во времена великого князя Василия Ивановича еще были среди духовенства такие смельчаки, которые подали голос против самого великого князя даже в таком деле, как его развод. Теперь эта пора прошла без возврата, и царь Иван Васильевич знал, что все будут говорить то, чего потребует он, несмотря на то, что среди этой массы людей многие были убеждены в невиновности владыки. Отсутствовали на суде только доносчики и клеветники, так как главные враги Филиппа побоялись на первый раз очной ставки их и митрополита. Его умение влиять на людей было очевидно даже для

них, и он мог смутить доносчиков, особенно Паисия. Зарождался в мелких душах и суеверный страх не чародей ли Филипп, не это ли придает ему смелости?

Его ввели в собор в полном облачении и поставили перед судьями

Обвинители заговорили поочередно, исчисляя его вины. Пимен, Пафнутий, Феодосий, князь Гемкин, все эти лица старались отличиться друг перед другом, обличая митрополита в враждебных замыслах против царя, перебивая друг друга в своем усердии перед царем. И бегство из Москвы во время казней Колычевых, и приветливые прием Сильвестра, и заступничество за земцев, и нападки на опричнину, все ставилось в вину митрополиту. Филипп молчал: ему было не в чем и не для чего оправдываться. Все, что он слышал из уст врагов, было ложью, ложью и только ложью. С колыбели преданный московским самодержавцам, он мог огорчаться поведением царя, недостойным высокого царского сана, но мятежником он не был и не мог быть.

Наконец обвинители смолкли, точно утомились лгать. Тогда митрополит поднял голо-

ву и обратился к царю.

— Государь, — заговорил он ровным голо-
сом, — не думай, что я боюсь тебя, что я боюсь
смерти за правое дело. Мне уже шестьдесят
лет. Я жил от юности честно и беспорочно, не
знав в пустынной жизни ни мятежных стра-
стей, ни мирских козней. Так хочу и душу
мою предать Богу, судье твоему и моему. Луч-
ше мне принять венец невинного мученика,
чем быть митрополитом, безмолвно смотря
на мучительство и беззаконие. Я творю тебе
удобное: вот мой жезл, вот мой белый клобук,
вот моя мантия...

Он начал неторопливо слагать с себя эти
знаки своего сана.

— Я более не митрополит, — сказал он на-
конец. И, обращаясь к духовенству, он приба-
вил:

— А вам, святители, архиепископы, епи-
скопы, архимандриты, игумены, иереи и все
духовные отцы, оставляю повеление: пасите
стадо ваше, памятуя, что за него вы ответчи-
ки перед Богом. Бойтесь убивающих душу
больше, чем убивающих тело. Предаю себя и
душу свою в руки Господа!

Спокойный и невозмутимый, он повернулся к дверям, намереваясь уйти из собора. Царь повелительно крикнул ему:

— Остановись! Хитро ты придумал, чернец, от суда уйти! Не тебе судить самого себя, дожидайся суда других и осуждения!

Он указал Филиппу на сложенные им знаки митрополичьего сана.

— Надевай снова одежду свою да служи обедню в Михайлов день!

Митрополит, не возражая, не колеблясь, надел снова клобук и мантию и взял свой жезл. Его спокойствие приводило царя в еще большую ярость, чем могли бы сделать это всякие возражения. Окружающие перешептывались и доказывали царю, что именно это невозможное спокойствие митрополита и есть явный признак его мятежного духа. Царь зловеще молчал и не говорил ни духовным лицам, ни боярам, что он думает предпринять далее.

Вернувшись во дворец, он призвал к себе своих любимых опричников и начал с ними таинственную беседу. Он делал распоряжение относительно участи митрополита. Среди

этих бесед он неожиданно спросил:

— А что на Москве? Тихо?

— С чего ей не быть тихой? — ответил Малюта Скуратов. — Забились все в норы, словно кроты.

Царь Иван Васильевич подозрительно посмотрел на него.

— За митрополита-то своего, видно, не думают вступаться? — сказал он и вздохнул. — Не раз тоже мятежи затевали. В сиротстве моем, без отца и матери, всякие обиды мне чинили. Бабку мою покойницу, княгиню Анну Глинскую, растерзать хотели, дядю, князя Глинского, в храме Божием убили.

— Что было, то былшем поросло, — проговорил Малюта Скуратов. — Не такие теперь времена, государь. Да и на что твои верные слуги, как не на то, чтобы Москвадохнуть не смела против тебя?

Царь Иван Васильевич усмехнулся злой усмешкой:

— Вот посмотрим, каково Москва любит Филиппа. И прибавил:

— А наготове будьте!

— Мы за тебя, государь, в огонь и в воду! —

гаркнули все. Царь одобрительно кивнул головой, но тревога в подозрительной больной душе не утихла. Хотелось, чтобы скорей настал Михайлов день. Не верилось, что этот день пройдет мирно, и в беспокойном уме уже рисовались картины всеобщей резни, усмирение мятежа. Несмотря на все прежние опыты, все еще казалось, что Москва не вполне усмирена и повергнута к ногам его. Слишком много крамол и мятежей хранила его память, хорошо знакомая с историей московского государства, которое созидалось и превращалось в сильную державу среди долголетней борьбы с уделами, с боярами.

В Михайлов день все в Москве узнали, что митрополит сам будет служить обедню в соборе, и толпы хлынули в Успенский храм. Всех охватила какая-то смутная, радостная надежда, что Бог пронес грозу мимо владыки. Не служил бы он, если бы был осужден.

Началось в соборе облачение митрополита, и, наконец, он в святительских ризах предстал перед алтарем. Внезапно в эту торжественную минуту раздался шум, и в распахнувшиеся двери хлынула толпа вооружен-

ных опричников. Народ в ужасе расступился и очистил им дорогу, пятась от них, как от прокаженных. Впереди всех шел отец молодого Басманова. В руках у него был какой-то свиток. Басманов направился прямо к владыке.

— От государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея России за тобой прислан, — объявил он Филиппу.

Потом обратился к одному из стоявших около него опричников и приказал:

— Читай приговор!

Тот взял из рук Басманова свиток и стал во всеуслышание читать его. Говорилось в грамоте, что приговором суда всего духовенства, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и иереев московский митрополит Филипп за его измены и мятежи лишается своего сана.

В церкви царствовало гробовое молчание среди народа, охваченного ужасом и горем. Громко и внятно читал опричник все возводимые на святителя клеветы: за все то, что приписывалось, его лишали митрополичьего звания. Приговор был прочитан.

Басманов махнул рукою, и по этому знаку опричники с остервенением бросились на Филиппа, как дикие звери на жертву. Они стали срывать с Филиппа митру [42], святительские одежды, бросая их на церковный помост. Кто-то притащил вылинявшую, разодранную, покрытую сотнями заплат монашескую рясу, и начали ее напяливать на владыку, издеваясь над ним. Филипп стоял неподвижно, спокойно, его лицо было светло, взоры обращались то на иконы, то на народ. Он был счастлив сознанием, что принимает за правое дело мученический венец. Кое-где уже слышались вопли и рыдания. Они достигли слуха митрополита. Он как бы очнулся от светлого сна.

— Дети, — заговорил он, обращаясь к пастве, — прискорбно душе моей разлучение с вами. Но успокойтесь. Я радуюсь, что терплю все это за церковь Божию. Настало время вдовства ее, и пастыри, как наемники, извержены будут.

— Молчи, чернец! — кричали опричники, зажимая ему рот руками и колотя его метлами.

Они схватили его за руки и поволокли из храма, наполнившегося стонами толпы. Заметая за несчастным след метлами, его дотащили до выхода. Здесь ждали его дровни. Его повалили на них спиной к лошади и повезли. Храм Успения опустел, богослужение прервалось. Весь народ, бывший здесь, не думал уже о богослужении и молитве, бросился с криками, плачем и воплями за митрополитом. Из домов на пути, где ехали дровни, выбегали люди и увеличивали собою число провожавших Филиппа. Вся эта несметная толпа наполнила воздух плачем. Филипп с любовью смотрел на народ, казалось, был вполне счастлив и благословлял провожавших его на обе стороны.

— Молитесь! Так Богу угодно! Молитесь! — громко говорил он бежавшим около него людям.

Дровни сперва ехали рысцой, потом поехали шагом, так как в узкой Никольской улице уже было трудно проехать среди толпы. Опричники метлами расчищали путь, запруженный народом.

У монастыря Николы-старого, где жил в

последнее время митрополит, его стащили с дровней и поволокли в Богоявленский монастырь, находившийся против Никольского монастыря. Филипп успел еще сказать толпе:

— Дети, что мог, то сделал я. Если бы не для любви вашей, и одного дня на престоле не остался бы. Уповайте на Бога. В терпении вашем стяжите души ваши.

Ворота уже затворились за ним. Толпа осталась на улице, ее разгоняли, ей грозили. Подавленная горем, уже не умевшая стоять за кого бы то ни было, напуганная ужасами разбойничьих набегов опричины, она тихо начала расходиться по домам.

— Владыку везут! Владыку везут! — раздались, чем свет, на другой день крики народа.

И снова чернь, гости, купцы, люди земщины бросились к Богоявленскому монастырю. Еще раз они увидали своего митрополита на тех же дровнях, в той же изодранной, покрытой заплатами рясе, среди тех же вооруженных опричников, грозивших метлами толпе и ругавшихся над владыкой. Его везли в его митрополичьи палаты, где ждали его царь, духовенство, опричники и лжесвидетели.

Проходя по своим бывшим палатам, Филипп увидал знакомое ему лицо. Это был соловецкий старец, игумен Паисий. Филипп понял, зачем он явился сюда. С сожалением взглянул владыка на этого несчастного доносчика, соблазненного обещаниями епископского сана и стоявшего теперь с опущенной головой при виде владыки.

— Да будет благодать Божия на устах твоих, — тихо сказал митрополит несчастному настоятелю-честолюбцу. — Злое сеяние не принесет плода доброго. Что сеет человек, то и пожнет. Это не мое слово — Господне!

Его торопились привести к царю Ивану Васильевичу. Здесь снова посыпались на него обвинения. Теперь уже говорили не одни Пимен, Пафнутий, Феодосий и князь Темкин. Но и лжесвидетели, Паисий, Зосима. Нужно было выдумывать разные небылицы, за неимением действительных прегрешений за Филиппом, и потому обвинения были нелепы и не ограничивались одними указаниями на небывалые мятежи.

— Волшебством да чарами извести государя хотел и людей к себе сманивал! — кричали

доносчики, прибегая к тем же выдумкам, которые погубили Сильвестра и Адашева.

— Убить, сжечь тебя, чернец, надо! — яростно воскликнул царь. — На медленном огне сжечь, по кускам резать.

— Старости его ради, оставь его в заточении кончать грешные дни, — с лицемерным состраданием говорили высшие духовные особы.

— Только молитв ваших ради, владыки, — ответил им царь, — готов я пощадить его.

Филипп молчал на обвинения, не дрогнул при словах о казни, не обрадовался пощаде. Как агнец среди волков, стоял он и думал только о том, чтобы еще раз попытаться образумить государя, в котором он видел высшего представителя земли.

— Государь, — возвысил он голос, — престань от начинания нечестивого. Вспомни прежних царей, предков твоих. Творивших добро мы ублажаем и по смерти, над царствовавшими злом и неправдою и теперь тяготуют проклятия. Государь, вразумись и подражай святым царям. Смерть не побоится сана твоего, и прежде ее немилостивого прише-

ствия принеси плоды добродетели и собери себе сокровище на небесах, потому что сокровище твое в этом мире здесь и останется.

Царь Иван Васильевич даже не ответил ему. Он только метнул на него грозный взгляд и тотчас же дал знак опричникам. Они накинулись на Филиппа, как звери, поволокли его из палат, бросили на дровни и повезли в заточение. С руками, скованными тяжелыми железными кандалами, с деревянными колодками на ногах, в узкой и темной келий Филипп был брошен на связку соломы. Опричники вышли, тяжелый замок глухо щелкнул, и святитель, казалось, был забыт, так как ему не приносили несколько дней даже еды.

Москва была смирна и покорна, но не была владыку.

— Слышала, мать моя, про владыку-то, — шепотом рассказывала какая-то женщина другой.

— Известно, слышала! — со вздохом отвечала та. — Кто не знает. Схватили да погубили вороны.

— А про чудо-то, про чудо-то слышала?

— Нет, а что?

— Святой мученик! Вчера пришли это злодеи в его темницу смрадную, думали, он и душу Господу Богу отдал, а он, святитель наш, стоит, воздев руки к небу, на молитве, а цепи железные да колодки деревянные, распавшись, лежат...

— Да что ты, мать моя, вот чудеса-то! — воскликнула слушательница, крестясь.

К разговаривающим подошла третья женщина и спросила:

— Чего, бабоньки, толкуете? Не о святителе ли нашем?

Женщины осмотрелись кругом и ответили.

— О нем и есть.

— Это про чудо-то? — спросила подошедшая.

— А ты тоже знаешь? — с удивлением спросили они.

— Да кто же не знает? Самому царю доложили его опричники-то, злодеи-то наши. «Чары, говорит, чары сотворил недруг и изменник мой». Да сказывать никому не велел. Медведя приказал посадить голодного к угоду-

нику.

— Ахти! Что ты, мать моя! — воскликнула с ужасом женщина.

Рассказчица успокоила их, шепотом рассказав;

— Сам царь пошел смотреть, хотел увидеть, как съел зверь угодника Божьего. Пришел, а угодник опять на молитве стоит, воздев к небу руки, а медведь свернулся в сторонке и храпит. Царь так и дался диву. «Чары, чары, говорит, творит епископ».

Женщины качали головами и крестились. Эти рассказы уже ходили по всей Москве, передавались из уст в уста. Москва, не решавшаяся ничего сделать для спасения своего владыки, точно вознаградила теперь свою совесть рассказами о его чудесах, признав его уже святым угодником Божиим. Слухи доходили до царя. Он делался все мрачнее и мрачнее и, наконец, велел перевести митрополита в монастырь Николы-старого. Народ тотчас же узнал об этом и по целым дням толпился около монастыря, желая увидеть хоть тень в окне келий, где томился владыка.

— Это он, он вон ходит, мученик наш свя-

той! — говорили со слезами на глазах люди, завидев движущуюся за решетчатым окном тень, и радостно крестились.

— Отче святой, помолись за нас грешных! — раздавались набожные голоса. — Помоги нам, угодник Божий, в скорбях наших, прости согрешения наши!

Царь Иван Васильевич в это время расправлялся с близкими к митрополиту лицами. Митрополичьи клирики и митрополичьи боярские дети подвергнуты пыткам и казнены. Целый ряд лиц из фамилии Колычевых подвергся той же участи. Василий, Тимофей, Иоанн, Георгий, Антон Колычевы пали жертвами мстительности несчастного царя, считавшего нужным истребить всю эту семью крамольников. Сам он в болезненном припадке беспощадного гнева снова неистовствовал, разоряя и сжигая дома опальных людей под Москвою.

Прискакав со своими опричниками в один из таких боярских домов с множеством пристроек, с высокой повалушей [43], он нашел здесь кроме других лиц юного Венедикта Борисовича Колычева, самого любимого из всех

родных Филиппа. Колычев находился в повалуше. Царь отдал приказ связать всех бывших здесь людей, а Колычева привязали руками и ногами к балке в самом верху повалуши. Затем под дом подкатили бочонки с порохом и подожгли их. Едва успели отскакать на своих конях крамольники, как раздался страшный удар, начался треск рушившегося здания, среди клубов дыма и огненных языков пронеслись в воздухе щепы, балки, доски разрушенного здания. Торжествующие крики опричников огласили воздух. Казалось, что неприятели удачно разрушили крепость врагов. Вся ватага поскакала снова к дому, чтобы увидеть поближе муки искалеченных жертв и добить убитых.

— Смотрите, смотрите, — крикнул один из опричников, всматриваясь в пространство. — Что это там за человек?

Он указал на какое-то темное пятно, видневшееся в поле. Все помчались туда. Среди поля сидел юноша, привязанный одной рукой к балке, и молился.

— Да это никак Колычев Венедикт? — сказал кто-то.

— Ого, за ноги, за руки привязали, а он верхом на балке сюда прилетел! Молодец, на хорошем коне проехался!

— Вот они, чары-то Филипповы что значат, — суеверно и трусливо заметил старший Басманов.

— А мы посмотрим, как от меня спасут чары, — проговорил грубо Малюта Скуратов и разом отсек голову молившемуся юноше Колычеву.

Он взял эту голову, из которой еще текла теплая кровь, и повез ее с собою к царю Ивану Васильевичу.

— Вот, государь, колычевская башка, — сказал Малюта Скуратов и швырнул голову к ногам царского коня.

— Чарами митрополита старого чуть не спасся, — шепнул царю с суеверным страхом Басманов. — К балке руками и ногами привязан был, а перенесся невредимым в поле... Правду говорили люди, что старик чародей!

Царь усмехнулся.

— Ну, значит, надо и послать ее к чернецу. Пусть порадуетя!

Голову завязали в кожаный мешок и по-

везли к Филиппу Филипп стоял на молитве, когда загредел засов у его келий и щелкнул замок. Старец обернулся и увидел входящего к нему опричника. Тот насмешливо улыбнулся и подал ему вынутую из мешка голову.

— Вот голова твоего сродника, не помогли ему твои чары, — проговорил он с усмешкой.

Филипп увидел лицо любимого им юноши, с благоговением взял эту окровавленную голову, положил ее перед собою и склонил перед нею колени, тихо творя молитву. Потом он встал и со слезами умиления поцеловал уста голову юноши, проговорив:

— Блаженны, кого избрал и принял Господь, память их из рода в род.

Он перекрестил голову юноши и безмолвно отдал ее снова опричнику. Тот уже не улыбался, а растерянно сунул свою ужасную ношу в мешок и вышел в смущении из келий. Такого спокойствия, такой покорности воле Божией он не ждал встретить.

Царь бесновался. Спокойствие врага, постоянное стремление народа увидеть святителя у окна его келий, неумолкавшие слухи о совершаемых узником чудесах, эта народная

канонизация врага царского святым заживо, все выводило его из себя. Несмотря ни на какие угрозы опричников, народная масса, видимо, уж причисляла Филиппа живым к лику святых мучеников и угодников Божиих, просила его заступничества и молитв. Это было что-то беспрецедентное, и противодействовать этому не было возможности, так как нельзя же было истребить весь народ. Царь приказал увезти бывшего митрополита подальше от Москвы в тверской Отрочь-монастырь.

К Филиппу приставили пристава Степана Кобылина. Выбор был удачен. Это был бессердечный зверь, готовый мучить и тиранить узника.

Был декабрь, но узнику не дали даже сносной теплой одежды. Его потащили в плохих санях, не заботясь даже кормить его. Пристав то и дело издевался над ним и осыпал его ругательствами. Старец едва дышал и уже не думал ни о чем земном, покорно и радостно ожидая близкого часа кончины.

Царь Иван Васильевич, казалось, мог теперь успокоиться: он видел, что вся Москва покорна его воле, что никакие зверства, ника-

кие поругания не выведут ее из покорного оцепенения и не заставят стать на сторону крамольников-бояр. Но одна ли Москва когда-то проявляла строптивость и противилась его воле и воле его предков? Не хотел ли когда-то князь Владимир Андреевич лишиться престола его сына? Не уцелел ли дух непокорности в Новгороде и Пскове? Покончить с этими значило покончить со всеми склонными к неповиновению людьми.

Никогда еще не оказывал столько милостей и такого доверия князю Владимиру Андреевичу царь, как теперь. Он сначала переменял его родовой удел на лучшие города. По-видимому, это была большая милость, но в сущности царь Иван Васильевич рассчитывал на то, что в новом уделе не знали, а значит, и не могли любить князя. Потом царь подарил князю место для дворца в Кремле и вверил ему в Нижнем Новгороде войско для защиты Астрахани. Однако, узнав, что в Костроме покорные царю жители встретили двоюродного его брата с хлебом солью, желая доказать свою преданность всей царской родне, он приказал привезти костромских на-

чальников в Москву и казнил их. Тем не менее к князю Владимиру Андреевичу он продолжал относиться с лаской и так как прошла опасность войны, ласково звал его к себе из Нижнего. Князь Владимир Андреевич двинулся к слободе Александровой с женою и детьми. Он даже и не подозревал, что в это время одним подкупленным по приказу царя поваром сделан уже на него донос: повар, ездивший в Нижний Новгород будто бы за рыбою, купил там отраву и привез ее царю, объявив, что дал ему ее вместе с деньгами князь Владимир Андреевич для отравления царя. Ничего не подозревая, князь Владимир Андреевич приближался к слободе Александровой и остановился в одной из окрестных деревень, Слотине. Он дал знать царю о своем приезде. Вместо ответа в деревню поскакал целый отряд вооруженных опричников. Они окружили деревушку, как неприятельский лагерь, с трубным звуком и гиканьем. Царь был во главе их. Он послал к перепуганному князю Владимиру Андреевичу Василия Грязного и Малюту Скуратова, которые объявили, что царь приехал к князю не как к брату, а

как к врагу.

— На жизнь государеву злоумышлял, — кричал всегда радовавшийся всяким казням Малюта Скуратов. — Повара с зельем к государю подослал, да изловили его.

Князь ужаснулся. У него и в помыслах не было ничего такого.

— Христом Богом клянусь, — стал он оправдываться, — и в помышлении не было! Какой повар? О каком зелье толкуешь?

— Нечего прикидываться! — сказал Малюта Скуратов. — Опоздал немного. Злодей-то во всем повинился.

Приволокли повара.

— Давал тебе зелье князь Владимир Андреевич? — стали допрашивать повара.

— Давал и пятьдесят рублей дал, чтоб царя извести, — смело ответил повар.

— Бога ты не боишься! — воскликнул князь. — Я не видал тебя никогда!

— Не видал бы, не давал бы зелья, — ответил повар, — а то и зелье, и деньги нашли у меня.

Князь Владимир Андреевич, его жена и дети разрыдались. Ничего они не знали, ни в

чем не были виноваты. Это знали не одни они, но и Василий Грязнов, и Малюта Скуратов, и царь. Тем не менее их потащили к царю Ивану Васильевичу. Он встретил их мрачным взглядом, злобно усмехаясь в ответ на их вопли. Они упали перед ним на колени, моля о пощаде себе и своим людям, клялись в невинности и обещали постричься навек в монастырь.

— Ты искал моей жизни и короны, — крикнул царь. — Радовался, что мой смертный час наступал, подкупал людей против моего сына идти. Не удалось тогда, так теперь извести меня задумал. Ты приготовил мне отраву, так пей же ее сам.

Несчастливого князя посадили с женой и дочерью за стол и принесли яд.

— Пей! — приказывал царь.

Князь отказался и обратился к жене.

— Я должен умереть, но не могу быть сам себе убийцею! — проговорил он.

Княгиня Евдокия Романовна из рода Одоевских отерла слезы и твердо сказала мужу:

— Друг мой, ты не сам налагаешь на себя руки. Тебя губит тот, кто дает тебе отраву. Ес-

ли уже умирать, то лучше от руки царя, чем от руки палача. Бог отмстит на страшном суде за невинную кровь.

Эти слова подействовали на князя. Он взял стакан, помолился и выпил яд. То же сделали его жена и дочь, княжна Евдокия Владимировна. Отрава начала действовать. Несчастные страшно страдали. Царь Иван Васильевич, сидя на скамье, наслаждался их муками. В его уме бродили воспоминания о том, как интриговал князь Владимир Андреевич в свою пользу во время его болезни. Попадись в руки князя власть, он всех бы перевел, кто был близок к царю. Теперь за этот грех и платит. Когда ни в чем на этот раз неповинные мученики скончались, он приказал позвать боярынь и служанок княгини Евдокии. Они были горячо преданы умной и доброй госпоже.

— Вот трупы моих злодеев! — проговорил царь. — Слуги вы их, но из милосердия дарую вам жизнь!

Произошло нечто неожиданное. Женщины начали кричать:

— Не нужна нам твоя милость, злодей про-

клятый!

— Терзай нас! Легче нам умереть, чем твою милость принять!

Их раздели донага и расстреляли. Тотчас же был отдан приказ утопить в Шексне когда-то отличавшуюся честолюбием и потом ушедшую в монастырь мать князя Владимира Андреевича, монахиню Евдокию. Заодно утопили и вдову князя Юрия Васильевича, знаменитую своим благочестием и добротой инокиню Александру, которую когда-то царь Иван Васильевич и любил, и уважал. А вместе с этими женщинами утопили какую-то инокиню Марию, тоже знатного рода, и с нею еще двенадцать человек.

Чем больше приносил царь Иван Васильевич кровавых жертв, тем сильнее убеждался он сам, что его все еще окружают изменники и предатели. Не было уже почти никого, кому бы он верил. Он начинал коситься на самих опричников. Смерть ненавистной всем татарки царицы Марии Темрюковны была приписана им отраве. Постоянно помогавший ему в составлении отрав голландский врач Бомелий, занимавшийся в то же время астрологи-

ей, нашептывал ему, что он окружен изменниками, предателями и злодеями. Охваченный страшным душевным недугом подозрительности, царь в отчаянии, дрожа за свою жизнь, уже писал английской королеве Елизавете о том, что он, гонимый своими подданными, хочет бежать в Англию, и королева обещала дать гонимому царю приют у себя в государстве. В это-то страшное время какой-то бродяга с Волыни, потерпевший наказание в Новгороде, написал от имени архиепископа Пимена и знатных новгородцев письмо к Сигизмунду-Августу, спрятал это письмо в Софийской церкви за образ Богородицы, а сам убежал в Москву и донес государю, что новгородцы отдаются Литве. Этого было достаточно для начала страшного новгородского погрома. Тотчас же послали в Новгород искать изменную грамоту, нашли ее по указанию доносчика, и поход на Новгород был решен. Новгородского заступника и ходатая, Филиппа, уже не было около царя Ивана Васильевича. Царь, все опричники, масса боярских детей отправились в путь. Проезжать приходилось по тверским землям, и царь

припомнил, что в былые времена тверское княжество оказывало непокорность московским великим князьям и нередко боролось с Москвою. Это было давно, но царь Иван Васильевич решился расплатиться и за эти давно минувшие исторические события, заливая кровью свой путь по тверской области. Первый город на пути, Клин, подвергся разграблению и убийствам. Затем все двинулись в Тверь. Город окружили войском, а сам царь поместился на отдых в одном из окрестных монастырей. Тотчас же отделился от всей царской свиты Малюта Скуратов и тайно куда-то поехал в сопровождении нескольких спутников. Никто не знал, какое поручение было дано ему царем Иваном Васильевичем. Он держал путь на Отрочь-монастырь.

Со страхом увидели монахи знаменитого своею жестокостью любимца царя, появление которого не сулило добра. Он слез с коня и спросил:

— Где келия бывшего митрополита московского, чернеца Филиппа?

Растерявшиеся монахи повели его через монастырский двор и, открыв низенькую

дверь, подвели опричника к убогой келий. Она едва озарялась лампадным светом, слабо озарявшим ее убогую обстановку и исхудалого старца, стоявшего на коленях на молитве. Трудно было узнать в этом исхудалом человеке прежнего Филиппа. Он казался не живым существом, а какою-то тенью человека. Движение и шум не оторвали его от молитвы.

— Хорошо, ступайте! — сказал монахам опричник, переступая одной ногой порог келий.

Он, стоя в дверях, остался один с Филиппом и окликнул последнего. Тот с трудом поднялся с коленей, держась исхудалою рукой за аналой [44]. Взглянув на пришельца, Филипп узнал его сразу и понял тотчас значение этого посещения. Ни тревоги, ни смущения не выразилось на его старческом, изможденном лице. Он ждал давно этой минуты и радовался ее наступлению. Малюта Скуратов пролез в дверь, сильно согнув свое мощное туловище, подошел к старцу, смиренно кланяясь, и сказал мягким тоном:

— От государя царя и великого князя всея России Ивана Васильевича прислан. По-

даждь, владыко святой, благословение царю
идти на великий Новгород.

Филипп взглянул на него пристальным
взглядом и спокойно промолвил:

— Не кощунствуй! Делай то, зачем при-
слан!

Он обернулся лицом к иконе, снова скло-
нил колени и начал тихо молиться:

— Владыко Господи Вседержителю, прии-
ми с миром дух мой; пошли Ангела мирна от
пресвятыя славы Своея, наставляющаго меня
к трисолнечному Божеству. Да не возбранен
будет мне путь от начальников тьмы с от-
ступными его силами и не посрами меня пе-
ред Ангелами Твоими и лику избранных меня
причти, яко благословен во веки, аминь.

Малюта Скуратов с яростной злобой уже
нашарил в полутемной келии подушку и бро-
сился с нею на великого старца. Он, этот ка-
менносердечный муж, зажал ею уста моляще-
гося, повалил его и придушил, тяжело перево-
дя дух от усталости.

Несколько минут он не двигался с места,
стоя на коленях над задушенным старцем, и
зорко наблюдал, как утихал в этом старче-

ском теле последний трепет жизни. Наконец тело перестало вздрагивать, в груди смолкло последнее биение сердца. В келий слышалось только тяжелое сопение согнувшегося на полу убийцы-злодея. Малюта Скуратов, видя, что дело покончено, поспешно поднялся с пола и, даже не взглянув на святого мученика, выбежал из келии, направляясь прямо к настоятелю монастыря. Тот стоял среди монахов. Все они были охвачены страхом, сбились, как стадо перепуганных овец, в кучу, точно ожидая смерти.

— Вы чего смотрели? — крикнул Малюта Скуратов хриплым голосом. — Келию чернеца так натопили, что дышать нельзя. Будет вам уже от царя за небрежение! Филипп-то, как стоял, так и помер. Служить не умеете! Царь вам покажет. Вам надзирать следовало за ним, а вы его уморили.

Он начал ругаться площадною бранью, потом крикнул:

— Ройте сейчас могилу. Чего стоите, рты разинув? Ну, шевелитесь! Ах вы, окаянные бездельники!

Он с руганью пошел впереди монахов, про-

шел за алтарь соборной монастырской церкви Святой Троицы и остановился.

— Здесь ройте! — крикнул он, указывая на выбранное им место. — Ну, проворней!

Притащили лопаты и заступы. Промерзлая земля едва поддавалась усилиям копавших могилу. Заступы звонко ударяли о твердую заледеневшую массу. Малюта Скуратов торопил:

— Глубже ройте! Обрядите покойника! Некогда мне мешкать с вами! Колоды-то, чай, есть готовые?

Один из старцев ответил, что есть.

— Известно, заживо себе колоды готовите. Ну и ладно. Кладите его в гроб да несите сюда, — скомандовал Малюта Скуратов.

В полной тишине совершалось мрачное дело. Только звонкие удары заступа да лопаты нарушали тишину. Через час могила была вырыта.

Тихо и печально вынесли в гробу тело Филиппа и направились к могиле. Малюта Скуратов нетерпеливо и сумрачно ожидал конца погребения. Вот опустился гроб в промерзлую землю, вот застучали о его крышку крупные

комья этой земли, наполняя глубокую яму. Могила была зарыта. Малюта Скуратов направился к своему коню, вскочил на него и в сопровождении ожидавших его спутников исчез в полумгле вечернего зимнего дня.

В Твери уже лилась кровь. Сперва начали грабить духовенство, ломали и уносили с собой все, что могли. Потом принялись за частных лиц, резали, жгли, топили. Сам царь Иван Васильевич собрал пленных поляков и немцев, содержавшихся в тюрьмах и частных домах в Твери. Их потащили на Волгу, рассекали на части и бросали под лед. Погубили по счету, составленному потом самим царем во дни его тяжкого покаяния, до полуторы тысячи человек. Потом направились на Торжок. Здесь повторилось то же, и также пострадали пленные немцы и татары. Вышний Волочок, Валдай, Яжелбицы сделались тоже жертвой опричников. Грабеж и убийство совершались и по дороге, и по деревням. Опричники хватали встречных, убивали их, как зайцев, ни за что ни про что, ради потехи. В Новгород послали передовой полк, чтобы окружить город. Здесь похватали духовенство, заковали и по-

ставили на правеж, требуя выкупа до приезда царя. То же сделали с знатнейшими жителями и торговыми людьми. Царь приехал в Новгород 6 января 1569 года и тотчас отдал приказание перебить игуменов и монахов, стоявших на правеже. Так прошло 7 января Восьмого января царь дал знать, что приедет к Св. Софий к обедне.

Архиепископ Пимен в назначенный царем для приезда в Новгород день вышел со всем собором, с крестами и иконами на Волховский мост и стал у часовни Чудного креста для встречи государя. Честолюбивый и злой владыка смотрел теперь не так, как тогда, когда он принимал в своих владычных палатах и угощал государя, клеветца на Филиппа и мечтая о митрополии для себя. Не похож он был на того Пимена, который председательствовал на соборе, судившем в Успенском соборе уже обвиненного Филиппа. Испуганный, едва державшийся на ногах, он теперь, сразу постарел и осунулся и мысленно молился только об одном, чтобы остаться целым и не подвергнуться самому участи Филиппа. Наконец он и окружавшее его духовенство завол-

новались, завидев приближавшегося к мосту государя. Царь шел со своим сыном Иваном, окруженный опричниками; по выражению его лица, по торопливой, неверной походке легко было угадать, какая буря бушевала в его больной душе. Увидев архиепископа он даже не приложился ко кресту и, стуча посохом, крикнул:

— Злочестивец, не крест держишь, а оружие! Вонзить его в сердце наше хочешь вместе со своими злыми соумышленниками. Отчину нашу, Великий Новгород, Жигмонту-Августу отдать задумали. Не пастырь ты и сопрестольник Святой Софии, а волк хищный, губитель, изменник нашему царскому венцу и багру досадитель!

Он, резко выкрикивая слова, приказал ему:

— Иди в церковь Святой Софии и служи литургию!

Пимен со всем духовенством, иконами и крестами пошел обратно к храму, чувствуя, что под ним подламываются ноги. Высохшие от внутреннего жара губы бормотали какие-то молитвы, а в голове мелькала одна

мысль: «никто теперь не спасет». Вспомнился ему теперь Михайлов день. В этот день тоже приказали владыке Филиппу служить обедню, а потом...

— Горе мне, горе мне, грешному! — шептал упавший духом старик. — За Филиппа владыку наказует мя Господи!

Однако богослужение на этот раз не прервалось, не нарушилось ничем.

Царь отслушал обедню, потом пошел в великолепные владычные палаты. В столовой палате уже все было готово к обеду. Столы блестели золотом, серебром и хрусталем, дорогими сосудами иноземного изделия. Владыка по старой памяти приготовил обед на славу, надеясь гостеприимством умилоствовать даря. Еще так недавно именно в этой палате царь наедался и напивался, весело беседуя с хозяином и выслушивая его известы на Филиппа. Теперь было не до веселья. Царь, царевич и опричники как-то подозрительно переглядывались между собою и осматривали зоркими глазами украшения стола. Наконец все сели по местам. Готовились обносить блюда с яствами.

Вдруг царь завопил страшным голосом:
— Гей, вы!

Это был условный знак. Все сразу поднялись с мест. В палату ворвались вооруженные люди, схватили могучими руками Пимена с его приближенными, с хохотом и бранью поволокли их, колотя в спину, из палат — и начался повальный, невиданный еще доселе грабеж. Грабили владычные палаты, келий, часовни, а дворецкий Лев Салтыков и духовник царский Евстафий обирали Софийскую церковь. У всех руки и карманы были полны дорогих сосудов, риз от образов, драгоценных крестов. Что нельзя было пограбить, то били и ломали, бросая на пол, топча венецианское стекло. Царь Иван Васильевич и царевич Иван Иванович уже были на городище и совершали суд. Сюда привезли уже ранее захваченных именитых людей, выборных, приказных, торговцев с детьми и женами. Царь приказывал раздевать их донага и, по выражению того времени, терзать неисповедимыми муками, поджигать некоею составною мудростью, огненной, носившею название «поджара». Затем искалеченных и полуобгорелых

людей привязывали к саням и вскачь волокли по замерзшей земле к Волхову. Здесь их бросали с моста. Обнаженным же женщинам связывали руки с ногами, детей навязывали на них и в таком виде бросали их тоже в реку. Некоторые всплывали на поверхность воды, тогда пускались в ход багры и топоры. Царевич Иван Иванович тешился более всех, упиваясь всею этою свалкою.

Пять недель продолжалась эта потеха несчастного царя Ивана Васильевича и его нравственно искалеченного сына, царевича Ивана Ивановича.

Потом началось истребление всего в монастырях, а далее в домах торговцев. Жгли и разрушали все. Иногда приходило желание истребить все живое, и тогда убивалось все — люди, скот, птица. Не было такого монастыря, такой церкви, где не убили бы десяток людей.

В понедельник на второй неделе поста царь приказал собрать оставшихся в живых новгородцев по одному человеку с каждой улицы. Призываемых охватил смертельный ужас. Они знали, на что они шли. Они предстали, как тени, перед разгневанным царем,

зная, что ждет их. Но царь был неузнаваем. Морщины на лбу разгладились, в глазах не было злобы, они смотрели открыто. Произошла какая-то чисто стихийная перемена, какие бывают только в природе, где за страшным ураганом вдруг настает ясный безветренный день. Эти стихийные перемены нередко бывали и в нем, точно временно помраченный рассудок внезапно прояснялся и вступал в свои права. Царь весело взглянул на пришедших новгородцев милостивым оком и спокойно сказал им:

— Мужи новгородские, молитесь всемилостивого, всещедрого, человеколюбивого Бога о нашем благочестивом царском державстве, о детях наших и о всем христолюбивом нашем воинстве, чтоб Господь даровал нам свыше победу и одоление врагов видимых и невидимых. Суди Бог изменнику моему и вашему архиепископу Пимену и его злым советником! На них взыщется кровь, здесь излившаяся. Да умолкнет плач и стенание, да утишатся скорби и горесть! Живите во граде сем и благоденствуйте с благодарностью. Я вам оставлю вместо себя наместника, воеводу мо-

его князя Петра Даниловича Пронского...

Гордого честолюбца архиепископа Пимена посадили на белую кобылу лицом к хвосту, в рваной одежде, дали ему волынку и бубен, окружили скоморохами, плясавшими и игравшими вокруг него на своих инструментах, и стали водить по городу. Царь Иван Васильевич, глядя на него, много смеялся веселым и беспечным смехом и кричал ему вслед:

— Тебе бы, скомороху, пляшущих медведей водить, а не владыкою быть!

КОНЕЦ

Примечания

1

терлик (татар.) — вид долгого кафтана с перехватом и короткими рукавами.

[^^^]

2

перчатые рукавицы — перчатки.

[^^^]

3

кишнец — растение, кориандр.

[^^^]

4

пупыш — выпуклое украшение на золотой и серебряной посуде.

[^^^]

5

домра (или домбра) — разновидность балалайки, используемая скоморохами.

[^^^]

6

накра — бубен или литавры.

[^^^]

7

зерн (или зернь) — игра в кости на деньги (по принципу: чёт-нечёт).

[^^^]

8

тавляя — игра в шашки; игра в кости на расчерченной для этого доске.

[^^^]

9

каптан (или каптана) — карета.

[^^^]

сткляница (или скляница) — стеклянный сосуд различной формы с горлышком.

[^^^]

икос (церк.) — вид церковной песни во славу святого или праздника церкви.

[^^^]

тафта — гладкая тонкая шелковая ткань.

[^^^]

часы (церк.) — первый, третий, шестой и девятый часы от вохода солнца, когда древние христиане сходились на молитву; церковь соединила псалмы, стихи и молитвы первого часа с заутреней, третьего и шестого с литургией, девятого с вечерней.

[^^^]

канон (церк.) — церковная песнь во славу святого или праздника церкви, читаемая или поющаяся на заутренях и вечернях.

[^^^]

торговая казнь — казнь (не смертная), производимая на торговой площади, могла включать в себя телесные наказания (битье кнутом и т. п.), лишение прав состояния и каторгу.

[^^^]

ферезь (или ферязь) — мужское долгое платье с длинными рукавами, без воротника и перехвата.

[^^^]

ПОШЕВНЫЙ — ВЫШИТЫЙ.

[^^^]

потворенный — зд. дурного поведения.

[^^^]

убрус — женский головной платок.

[^^^]

поярковый — шерстяной (поярок — шерсть, руно с молодой овцы, ярки, по первой осени, первой стрижки).

[^^^]

десть — мера, единица измерения бумажного листа (по величине обреза и т. п.).

[^^^]

поводочный — зд. покрытый (паволока, церк. — покров, покрывало из ткани).

[^^^]

червчатый (или червлённый) — багряный.

[^^^]

камка — шелковая ткань.

[^^^]

обежный — см. обжа.

[^^^]

лук — мера земли, равная 6,72 десятин.

[^^^]

обжа — мера земли под пашню; в разных местах обжа была разной.

[^^^]

стихарь (церк.) — нижнее облачение священников. и архиереев и верхнее диаконов при служении.

[^^^]

епитрахиль (церк.) — одно из облачений священников, надеваемое на шею, под ризой.

[^^^]

поручи (церк.) — нарукавники в облачении священослужителей.

[^^^]

орарь (или орарий, церк.) — часть диаконского облачения: перевязь с крестами, по левому плечу.

[^^^]

дробницы (церк.) — чеканная бляха или низанное украшение на облачении и шапке архимандритов.

[^^^]

келарь (церк.) — инок, заведующий монастырскими припасами или вообще светскими делами монастыря.

[^^^]

койма — зд. обвод.

[^^^]

лжица (церк.) — ложечка для раздачи Святого Причастия, Святых Даров.

[^^^]

Тафья (церк.) — шапка; род скуфьи (головного убора белого духовенства).

[^^^]

Исполать (междом., греч.) — хвала, слава.

[^^^]

Сак (греч.) — архиерейское облачение, надеваемое поверх подризника.

[^^^]

источники (церк.) — три струистые полосы на архиерейской мантии, вниз от скрижалей (нагрудника).

[^^^]

ШЛЫК — шапка.

[^^^]

перстный — от персть: пыль, прах, земля, плоть.

[^^^]

митра (церк.) — архиерейская шапка при полном облачении.

[^^^]

повалуша — летняя холодная общая спальня, обычно стоящая во дворе дома.

[^^^]

аналой (церк.) — высокий столик с наклонной столешницей для чтения стоя, положения иконы и т. п.

[^^^]